

Путешествие Американиста

Станислав Кондрашов

2024-02-27

Contents

Есть два разряда путешествий...

А. Твардовский

.... стихии чуждой, запредельной

стремясь хоть каплю зачерпнуть.

А. Фет

На этот раз Штаты начались с Канады. Быть может, с Канады следовало бы начать и этот рассказ, но она лишь транзитом и краешком проскочила через сознание нашего героя, точно так же, как сам он транзитом проскочил по кромке Монреаля, от аэропорта Мирабель до аэропорта Дорвал,— и за притененным окном маршрутного автобуса, как на широком киноэкране, разворачивались цветные картинки красивой поздней осени в Стране кленового листа, вдоль дороги большими спичечными коробками лежали одноэтажные индустриальные строения, а по дороге беззвучно и плавно катили автомобили — все до одного иностранных марок.

Дикторский текст к этому киносюжету обеспечивал молодой голос за спиной, громкий, еще не очнувшийся на земле, еще не переставший преодолевать самолетный гул, ясный и звонкий. Чувствовалось, что обладатель голоса впервые попал за океан. Как малый ребенок вслух называет все проплывающие мимо его коляски предметы, возбужденно открывая новый мир, так и обладатель голоса удивлялся множеству японских машин, догадывался о назначении преграждавших дорогу будок, из

окон которых мужчины и женщины в униформе протягивали руки к водителям, беря деньги или специальные купоны в оплату проезда, восторгался гладкостью и шириной автострады и к случаю, опять же громко и вслух, отзывался о несовершенствах отечественных шоссе.

Герой наш вполглаза смотрел на чужую землю, пробежавшую за окном, и вполуха прислушивался, как сильный ироничный голос молодого соотечественника открывал то, что им давно уже было открыто. Он берег силы, испытывая усталость от долгого полета и нетерпение человека, стремящегося к цели и не желающего отвлекаться на что-либо по пути.

Тот короткий и серый октябрьский день, который для пассажиров автобуса начался ранним утром в аэропорту Шереметьево, дома уже давно потух, а здесь, на восточном краю другого континента, отстающего от Москвы на восемь часов, еще горел и длился. Однако и здесь надвигались вечер и ночь. Он не рассчитывал на прямой рейс до Вашингтона, по знал, что в этой части североамериканского континента самый многолюдный канадский город Монреаль находится в транспортной орбите самого многолюдного американского города Нью-Йорка. Пораньше бы добраться до Нью-Йорка, а оттуда в Вашингтон без ночевки — вот в чем была его цель. Оттуда, знал он, каждый час челноками снуют (челноками и называются) самолеты авиакомпании «Истерн». Правда, в его аэрофлотовском билете и был проставлен рейс Монреаль — Нью-Йорк той же компании «Истерн», но поздний, на семь вечера, грозивший ночевкой в Нью-Йорке, и вот в автобусе, где беззаботный попутчик за спиной делился вслух своими открытиями, наш усталый герой озабоченно мечтал о более раннем рейсе.

Когда автобус подрулил к стеклянным дверям аэровокзала, он постарался одним из первых извлечь из багажного отделения свой желтый старый портфель и новенький шершавочерный чемодан индийского производства с блестящими металлическими буквами Classic V.I.P., что в переводе на русский примерно означало — Классическое изделие для Очень Важных Персон.

Чемодан был тяжелым и колесным — в стиле эпохи длинных аэродромных коридоров, но четыре его колесика следовали отдельно, в портфеле. Их надо было искать, вынимать и прилаживать. И, кроме того, обладатель колесного индийского чемодана стеснялся выглядеть чересчур современным.

Не вынув и не приладив колесиков, покинув попутчиков возле молодой, говорящей по-русски канадки, представляющей Аэрофлот в аэропорту Дорвал, он вручную внес чемодан и

портфель в здание аэровокзала через раздвинувшиеся легкие двери. Он пробежал нервным взглядом уходящее вдаль узкое пространство между стеклянной стеной и бесконечным рядом билетных стоек с фирменными вывесками разных авиакомпаний, и они сразу выплыли в его памяти, которая теперь автоматически восстанавливала когда-то хорошо знакомую, но стертую за ненадобностью реальность. Он искал глазами никелированные тележки для перевозки вещей. Но свободных не было. Тогда, оставив у стены багаж и время от времени оглядываясь он стремительно прошел, почти пробежал по длинному залу, разыскивая нужную тележку в боковых коридорах.

Его интуиция, обретенная когда-то за долгие годы американского житья, ослабла из-за редких посещений заграницы, и он попусту терял драгоценное время. Билетная стойка компании «Истерн» была всего в десяти шагах от дверей, и там без тележки он мог бы узнать, что ее самолеты-челноки чуть ли не ежечасно снуют также между Нью-Йорком и Монреалем. В его билет вписали бы желанный, более ранний, рейс, и он лишний раз подивился бы, как мгновенно и легко проделывается эта пустячная операция. И там же сразу освободился бы он от своего тяжелого чемодана.

Ну что ж, две очаровательно любезные сотрудницы «Истерн» переменили ему рейс, и он в самом деле подивился непринужденной быстроте и легкости, с которой они, как будто даже не без удовольствия, проделывают свою работу. Они даже похлопотали за своего пассажира перед молодым американским таможенником, который находился там же, за их конторкой, и таможенник, как бы заразившись его спешкой, спросил лишь о количестве провозимого спиртного, забыв о мясных продуктах и пропустив тем самым драгоценнейший из запрещенных для ввоза предметов — отечественную вареную и копченую колбасу. Таможенник даже не потребовал раскрыть черный чемодан. И все, казалось, начало складываться наилучшим образом для нашего пассажира, по, увы, кое-какие мгновения были потеряны, и потеря эта не замедлила обнаружиться. До отхода самолета оставалось не более пятнадцати минут, лента багажного транспортера замерла, рабочий, ставший на нее чемоданы и дорожные мешки, развел руками: порядок есть порядок, и он не будет его нарушать — прием багажа закончился.

Оставалось сдать багаж прямо в самолет. Ему подсказали этот выход. Оставалось бегом катить злополучную коляску в направлении тех воздушных ворот, где уже садились в нью-йоркский самолет пассажиры, успевшие все сделать вовремя. И

иаш герой побежал, усталый, немолодой человек, в неизбывной российской надежде на чудо. Побежал, толкая перед собой трехколесную, неловкую в управлении тележку, поправляя сползавший с нее чемодан, придерживая портфель, а также целлофановый (о нем мы забыли упомянуть) пакет — обернутые в розовое бумажное полотенце, в пакете хранились, не уместившись в чемодане и портфеле, три буханки московского черного хлеба, копеечный и, однако, самым дорогой подарок; попадая на стол соотечественников за океаном, черный хлеб обретает необыкновенную ценность причастия к родине. Поглядывая на указатели под потолком, по коридорам, которым не было конца, мимо пестрящих товаром ларьков, бегом толкал он неуклюжую тележку, лавируя среди никуда не торопящихся, легко одетых иностранцев, распахнув пальто, ставшее вдруг толстым и тяжелым, и первые капли пота выступили на его лбу и заструились по лицу и за шею, и ему стало жалко самого себя. Ему в то же время казалось, что с этим страдальческим видом опаздывающего человека он может рассчитывать на сочувствие и понимание всех этих чужих, но вежливых и приличных на вид людей.

Так он продолжал бежать, пока в каком-то зале, залитом ровным искусственным светом, не наткнулся на некую баррикаду. В баррикаде был ряд узких проходов. Проходы стереглись мужчинами, преимущественно средних лет, в темно-синих форменных костюмах.

Это был пост иммиграционной службы, которая в Соединенных Штатах берет на себя контрольно-пропускные функции пограничников. Пост был выдвинут за пределы американской и далеко в глубь канадской территории, как актом экспансии отодвинув и границу между двумя странами. Достоинно удивления и, быть может, возмущения, но в конце концов это их двухстороннее дело, пусть сами разбираются, и, честно говоря, не до критики еще одного проявления американской бесцеремонности было нашему герою в тот момент, когда, выхватив из кармана пиджака и на ходу протягивая темиосинии служебный заграничный паспорт гражданина СССР он подскочил к иммиграционному инспектору, освободив тележку от поклажи у оградительного барьера. Вместе с паспортом он предъявил инспектору свой расхристанный вид, втайне надеясь и его заразить своим нетерпением уставшего и опаздывающего человека.

Сухонький мужчина, примерно пятидесяти лет, с чистым бледным лицом и аккуратным пробором в темных волосах, листал тем временем паспорт молодого бородача в джинсах и

черной спортивной куртке, из тех, видно, молодых иностранных бородачей, которым почему-то не сидится дома. Он поднял голову и мельком глянул на нашего героя. Герой ожидал, но не нашел сочувствия. Расхристанный вид его не произвел на инспектора ни малейшего впечатления. Инспектор коротко сделал жест рукой и произнес несколько слов по-английски. Жест как бы отодвигал нашего соотечественника назад, а слова приказывали ему ждать за красной чертой. Тот не сразу понял буквальный смысл приказа. В красной черте ему даже почудилось некое иносказание. Тогда последовал еще один остерегающий взгляд, еще один короткий отодвигающий жест, повторены были те же слова насчет красной черты, и герой наш слегка попятился, отпихивая ногой чемодан с портфелем. Однако инспектор, не удовлетворяясь этой уступкой, гнул свое: «Ждите за красной линией!» И тогда, глянув себе под ноги, герой понял наконец, что никакого иносказания нет, а есть вполне натуральная красная линия, жирно и отчетливо проведенная по полу. За этой чертой и полагалось ждать очереди к инспектору, не дыша ему в лицо своим возбуждением.

Когда бородатый парень подхватил свою легкую сумку и двинулся дальше легкомысленной походкой человека, путешествующего без командировочных предписаний и даже без виз, сухонький инспектор деловито-вежливо произнес: «Следующий, пожалуйста». И наш человек придвинулся к его стойке со своим паспортом и багажом, вытирая платком лицо, по которому все еще катил пот, выдавая, помимо спешки и волнения, последствия многочасового пребывания в герметически закрытой воздушной машине и даже разницу температур и влажности между двумя отдаленными пунктами двух полушарий Земли.

Инспектор Хейс — имя значилось на металлической полоске, прикрепленной к грудному карману пиджака,— быть может, и видел, но не желал замечать всего этого. Сочувствовать советскому гражданину, даже уставшему и спешащему, не входило в его обязанности. Профессионально пошуршав плотными синевато-красными страницами паспорта, на которых водяными знаками проступали буквы СССР, найдя большую замысловатую печать визы, поставленную в американском посольстве в Москве, и удостоверившись в ее подлинности, инспектор Хейс вытащил из-под своей конторки анкетку неиммигранта, въезжающего в Соединенные Штаты на ограниченный срок. (Для американских иммиграционных властей иностранцы делятся на две главные категории

иммигрантов, которые приезжают, чтобы остаться и стать американцами, и неиммигрантов, которые, побывав в Америке, возвращаются к себе домой.) В этой стране наш герой всегда числился неиммигрантом и хорошо знал эту анкету, поскольку ему приходилось в разные годы по меньшей мере раз пятнадцать заполнять ее в американских аэропортах, и другие мужчины и женщины в форме иммиграционной службы смутными символами всплыли в его сознании, как только он увидел разграфленный белый листочек размером с паспортный и вопросы насчет первого, среднего и последнего имени (что примерно соответствует нашему Ф. И. О.), гражданства и пола, адресов в стране постоянного проживания и в США, вида транспорта, места и даты прибытия в США и т. д.

Белый листочек перечеркивал надежду на чудо, означал опоздание на самолет. И тем не менее листочек пришлось заполнить под скучающе невозмутимым взглядом инспектора Хейса. Кое-где подправив корявости взволнованного почерка своим шариковым карандашом, американец прищелкнул листочек металлической скрепкой к той паспортной странице, где, занимая ее всю, вольготно расположилась американская виза, потом он поставил на анкетку блестящую никелем машинку, хлопнул ладошкой по верху машинки, и на анкетке вышел знакомый четкий штампель «Допущен в США»...

Получив этот допуск и уже без тележки одолев еще метров двести коридора, наш соотечественник добрался наконец до нужных воздушных ворот. Но ворота были уже затворены и за большими стеклами отваливал на его глазах нью-йоркский самолет, дразня своей недоступной близостью, плавно отступая и отворачиваясь от стекла округлым прозрачным носом, в котором сидели на рабочих местах и о чем-то говорили, о чем-то перешучивались, не замечая его, уверенные в себе франтоватые пилоты...

Оставалось ждать следующего рейса. Того самого, что и был выписан прозорливыми аэрофлотовцами в Москве. Рейс отправлялся через три с лишним часа. В комнате ожидания герой наш рухнул на стул из пластмассы угольного цвета. На соседний стул бросил пальто, так чтобы оно прикрывало целлофановый пакет с тремя буханками черного хлеба (перед иностранцами он почему-то стеснялся этого припасенного для соотечественников простого дара), у ног поставил поношенный, по все-таки заграничный, когда-то купленный в Вашингтоне

портфель. Чемодан, виновник опоздания, был тут же сдан в багаж и исчез в таинственных служебных недрах аэропорта. Зал ожидания, или накопитель (на странном техническом языке, не признающем разницы между людьми и неодушевленными предметами), был пуст. Перейдя из состояния суетливого движения к столь же вынужденному полному покою, одинокий транзитник сидел, все еще вытирая платком остывающий лоб. Накопитель потихоньку накапливал мужчин и женщин с дорожной кладью в руках. За окном просторное небо аэродрома тревожно набухало красками заката. Закат напоминал о годах жизни в Нью-Йорке. Их дом стоял на левом берегу Гудзона, и почти каждый вечер на другой стороне реки так же неестественно и свободно загорался прекрасный и тревожный закат, библейской категории, полыхающий мост из дали исчезнувших веков в наш день, стареющий и умирающий на наших глазах, чтобы присоединиться к ушедшему времени. У него не находилось своих слов для описания такого заката, и, чувствуя бессилие перед красотой мира, он по давней привычке заимствовал слова у великих российских поэтов.

Монреальский закат напомнил ему Блока: «...туда манит перстами алыми и дачников волнует зря над запыленными вокзалами недостижимая заря...»

Однако теперь, застряв в дороге, он был слишком взбудоражен, чтобы всласть упиваться закатом и красотой поэтической строки. Оставим его временно там, в состоянии вынужденного покоя. Пусть приходит в себя, свыкаясь с мыслью, что до Вашингтона ему без ночевки так и не добраться. А сами попробуем хладнокровно и бесстрастно разобраться, где и в чем он оплошал в первых своих шагах за границей, несмотря на всю его заявленную нами многоопытность. Оплошности пока невелики и вполне извинительны, но досадны, тем более что их легко можно было бы избежать. Надо ли было суетиться, делать лишние движения и вообще пороть горячку и отрывать от попутчиков, державшихся кучно и веривших в мудрость Аэрофлота и его представителей, даже иностранных, на местах? Надо ли было бежать с тележкой и багажом по коридорам, обливаясь потом на виду у чу. -них, у иностранных людей? И что за глупые надежды питал он в отношении инспектора Хейса?

Конечно, не ждал он, что представитель иммиграционной службы США пропустит вне очереди и без анкеты его,

советского гражданина, пусть даже запыхавшегося и запаздывающего. Но, с другой стороны, разве не рассчитывал он подсознательно, что инспектор войдет в положение? Вот она, глупость несусветная: войдет в положение... Столько лет за границей, а опять запомнил едва ли не главное. И не в том оно, главное, что меняется климат, дома, дороги, машины, одежда и вещи людей и сами люди, что все меняется, даже земное полушарие другое. А в том главное, что пересекаешь ты не только государственную границу, но и границу частных отношений друг с другом, что попадаешь в пределы отношений межгосударственных, то есть не просто между людьми, а между государствами. Нет, уже не сам по себе ты на московской или еще какой улице, у себя в квартире или даже в учреждении, не человек с человеком, а всего лишь частичка, атом в некоем эфире, в атмосфере, которая все время делается и переделывается двумя огромными образованиями, двумя государствами. В спешке и волнении упустил это, видно, наш герой, а инспектор Хейс помнил, и потому пришлось вытирать пот перед американцем. Войдет в положение? Ох, эти вечные поиски исключений из правила: будь, дескать, браток, человеком. Но какой он тебе браток, инспектор Хейс? Какой человек? Он — функция, у себя, за своей полированной конторкой, он самая строгая и неуступчивая функция, оберегающая границу своего государства.

Попробуйте мысленно встать на его место, по его сторону довольно изящной этой конторки, полируемой круглосуточно локтями проходящих граждан и гражданок из разных стран. Попробуйте взглянуть на этот мелкий эпизод его глазами. Что увидим? Нет, не спешащего человека с навязчивой идеей за один удлинённый природой и авиацией день долететь от Москвы до Вашингтона. Увидим встречу Функции с Функцией. Не частного, личного, лишь себя представляющего иностранца из какой-нибудь Испании или Японии увидел перед собой американский чиновник, а гражданина из той страны, где, с его точки зрения,— и с точки зрения тех, кто им руководит, кто его направляет,— вообще нет частных лиц, выезжающих за границу.

С какой стороны ни вникай в суть дела, заключения не избежать: за красной линией, в зале иммиграционной службы США, нахально выдвинувшей свой аванпост в Канаду, произошла встреча двух государств — и двух общественно-политических систем — на уровне их единичных представителей. Функция, выступающая под фамилией Хейс, не могла не нести подозрительность по отношению к любому советскому гражданину, и растерзанный вид данного конкретного гражданина вполне была счесть

инсценировкой, той мякиной, на которой стреляного воробья не проведешь.

Приходилось ли вам, читатель, попадать в положение нашего путешественника? Если приходилось, автор надеется на ваше понимание. В самом деле, разве не задумывались вы, какие поразительные перемены происходят с нами, с каждым из нас в Соединенных Штатах Америки? Ведь они, американцы, смотрят на каждого под другим углом и потому по-другому каждого видят. И мы уже не те, что у себя дома в глазах соотечественников, знающих нас, мы другие — в их американских глазах. В своей стране после немалых лет жизни и работы ты так или иначе состоялся, утвердился, классифицирован, и в этом, быть может, самый главный и дорогой тебе промежуточный итог твоей жизни, и он конечно же остается с тобой, когда ты, отправляясь в заграникомандировку, пересекаешь их границу. Все остается — и все, однако, исчезает, так как для них, в их среде, ты, по меньшей мере, чистая доска, а еще чаще не просто неизвестная, но и автоматически подозреваемая величина. Что бы ты там ни думал, какими бы прекраснодушными ни баловал себя надеждами и рассуждениями, мир действительно четко и жестко разделен по этой черте, и на границе двух государств в наш век автоматически вступает в силу другая система ценностей и соответственно происходит мгновенная автоматическая переоценка личности каждого, пересекающего эту границу.

На эту тему мгновенных превращений, переоценок и вечного чувства чужого мы еще не раз выйдем прямо или косвенно. Не только в момент пересечения границы возникнет она, а пока — не пора ли представить нашего героя п, кстати, наделить его именем? По профессии он — журналист, и, признаться, у автора с ним много общего. Как и автор, его герой занимается тем, что пишет в свою газету о Соединенных Штатах Америки. Це правда ли, странный способ зарабатывать на жизнь? Хотя занятие стало донельзя привычным, этот вопрос — насчет странности — все еще порою приходит ему в голову. Тем не менее преимущественно за это занятие он получает зарплату и гонорар, этим в меру сил обеспечивает свою семью и этим же, то есть писанием об Америке, реализует себя как личность, что, согласитесь, еще более странно. Совсем странно, если учесть, что в последние годы пишет он об Америке, живя в Москве, и вглядывается в чужую жизнь и политику издалека, а

попытки отобразить эту жизнь на бумаге едва ли не целиком поглощают его рабочее время и даже захватывают свободное время, отнимая его от той жизни, что вблизи, что окружает его со всех сторон и зовется своей жизнью.

Узкие места такой странной самореализации личности автор знает не меньше, чем его герой, потому что, признаться, автор сам американист. Но жизнь поздно переиначить, а профессию — переменить, и вот еще в одной попытке описания странной профессии автор отступает от привычного ему первого лица, вводит в повествование лицо третье, отдает ему часть своей биографии, американскую визу, старый портфель, новый чемодан и три буханки черного хлеба, помещает его в маршрутный автобус, бегущий от одного аэропорта к другому по краешку Монреаля, и отправляет для начала на randevу с инспектором Хейсом...

Но тут возникает трудность, которую следовало бы предвидеть. Отделяясь и отдаляясь от автора, герой требует собственного имени. Но выбор имени, вдруг осознал автор, есть и выбор жанра: чего же он сам хочет — преимущественно документального или художественного повествования?

При художественном, с героями типа Иванов, Петров, Сидоров, автор ступал бы на незнакомую ему землю вымысла и должен был обживать и заселять ее, выдумывая п других героев, их обстоятельства и положения и даже судьбы. Что и говорить: в таком случае перед ним открывались бы завидные просторы художественного творчества, причудливые возможности проникновения в жизнь, высшие формы правды. Увы, автор — журналист он не готов к такой творческой свободе. Профессия стала натурой или натура — профессией, не суть важно. Важно, что она подрезала крылья вымысла, отучила парить и приучила держаться и цепляться за факты, ставить задачи скромнее. И хотя на этот раз автор отделяется от самого себя, он в то же время боится слишком далеко отпускать своего героя. Пусть останется тот под рукой, даже и в третьем лице, и пусть даже в имени его звучит профессия и служебная ориентация автора. Даже в имени пусть будет нечто функциональное, некое указание на ту планиду, которая заставляет человека, даже находясь дома, описывать текущие события за границей. Какое же имя ему предложить?

Между прочим, выбор имени — с функциональным намеком — оказался делом непростым. Не меньше десятка вариантов перебрал автор, пока не утвердился окончательно в простейшем — Американист. Американист?! Да, Американист! Без намеков, а прямо быка за рога. И заметьте, читатель, если вы вскинули

брови в удивлении, что слово это не выдуманно и не надумано, взято не из словаря, в который автор в данном случае, поверьте, не заглядывал, а из жизни. Да, из той жизни, которой живет некая малая толика наших соотечественников. Американисты — это наши люди, занимающиеся американцами и Америкой, теоретики и практики. И ничего тут нет удивительного, что в нашем сложном и тревожном веке эти люди профессионально вглядываются в другую супердержаву — и не могут наглядеться, хотя и тошно им бывает иногда от этого долгого напряженного вглядывания.

И вот одного из американистов, журналиста с немалым стажем и грузом воспоминаний, автор направляет в очередную поездку в Америку.

На протяжении последних двадцати с лишним лет Американист не менее полутора десятков раз, как уже упоминалось, заполнял анкетку неиммигранта, и ровно столько же раз в ее правом нижнем углу иммиграционные инспекторы ставили разрешение Admitted to the United States — допущен в Соединенные Штаты. На языке нашего КПП это звучит короче и тверже — въезд. Не менее полутора десятков раз в международных аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона, а также Монреалья и однажды Пуэрто-Рико Американиста впускали в пределы заокеанской державы. Но если брать всю его долгую былую жизнь зарубежного корреспондента, то она делилась на три периода — каирский, нью-йоркский и вашингтонский. В каждом из этих трех пунктов (или корпунктов) Американист по нескольку лет проработал собкором, постоянным корреспондентом своей газеты, прежде чем — после пятнадцатилетнего перерыва — возобновить свою московскую жизнь.

Ни за границей, ни дома дневников он не вел. Характер газетной работы, ставший образом жизни, с утра и до вечера, до позднего выпуска телевизионных новостей держал Американиста в плену и потоке последних мировых событий, и перед сном он не находил сил, выбравшись из потока на берег, обсохнуть и остыть, усесться за стол несуетным летописцем Нестором. Но кое-какой ар- хивишко у него поднакопился. Как каждый пишущий человек, с годами он оброс бумажным хламом. Львиную долю хлама составляли вырезки из американских газет.

Меньше бумаг осталось от трехлетнего каирского периода. Газеты в Египте были, не в пример американским, тощими, страна меньше и как бы локальнее, информация — куда

скуднее, а сам Американист, чуть было не ставший тогда арабистом, моложе и непоседливее, еще не втянулся как профессионал в дело бумагомарания — и бумагособирания.

Вырезки обильного нью-йоркского периода были тематически рассортированы по большим желтым пакетам, некогда глянцеви́тым, а теперь уже выцветшим и обтрепанным. Более поздний вашингтонский период помещался в открытых и лучше сохранившихся, тоже приятно глянцеви́тых папках светло-фиолетового цвета. Когда-то эти папки гляделись еще лучше на специальных держателях в ящиках металлических канцелярских шкафов, и, выдвинув с изящным шорохом и щелканьем нужный ящик, Американист мог в мгновение ока найти любую из них. Но шкафы остались в вашингтонском корпункте, а папки, перекочевав в Москву, навалом лежали в книжных тумбах, сколоченных издательскими столярами.

Он даже и не вспоминал об этих своих пакетах и папках. В тысячах газетных и журнальных вырезок его рукой были подчеркнуты мысли и факты, которые когда-то казались ему важными и интересными, которые касались бесчисленных событий американской жизни,— на осмысление и торопливое газетное отражение этих событий он не жалел серое вещество своего мозга. Но теперь ни вырезки, ни мысли, ни события почти не интересовали его, во всяком случае у него не было времени к ним возвращаться. Как газетчик он работал с сегодняшним днем.

Но он все-таки не избавлялся от бумажного хлама. Человеку жалко не только плодов, по и следов своего труда.

Руки не доходили до этого архива. И не поднимались его выбросить.

Когда же порою по той или иной служебной надобности он перечитывал свои и чужие давние статьи, то с усмешкой думал, что нет более верного способа устареть, чем изо дня в день самозабвенно отдаваться потребности дня и что, с другой стороны, для всех бегущих по-газетному, ноздря в ноздю с временем, единственный способ спастись от этой мстительной истины как раз и состоит в том, чтобы продолжать бежать и бежать не оглядываясь.

Среди пудов бумажных вырезок в хаотичном архиве Американиста хранилось всего лишь несколько фунтов тетрадок и блокнотов, им исписанных, дорожные дневники. Он привозил их обычно из поездок, когда душа наполнялась живыми впечатлениями.

Этими записями он дорожил, как дорожат книжные люди знаниями о жизни, добытыми не из книг или газет, а собственноручно. Его тянуло к этим тетрадкам и блокнотам, он держал их в заветном месте, перечитывал, тоже иронически усмехаясь над собой, но иногда вдруг и гордясь, и в такие минуты вдруг возникало желание подбить какие-то литературные итоги. Вне газеты.

Его терзало опасение, свойственное людям в возрасте свыше пятидесяти лет. Так и уйдешь из этого мира, думал он, не рассказав того, что никто ведь за тебя не расскажет, ради чего, быть может, ты и родился и прожил жизнь именно так, а не иначе. В тетрадках и блокнотах его вдруг обжигали его же собственные, давние и забытые слова, родившиеся в дни сильных потрясений, когда трагически прерывался обыкновенный ход времени и он хоронил мать и отца, неожиданно рано умерших друзей. Это были слова о горечи утраты и всякий раз еще и о том, что дорогие люди ушли не высказавшись. И е в ы- сказанность мучила его в эти дни и сразу же после — их невысказаппость и его собственная. Потрясенный, он как бы вслушивался и вдумывался в их молчание, ставшее вечным, и пытался понять его. В молчании были урок и упрек. Но набегали новые дни, новые будни, и потрясение сходило на нет. До новых потерь, которые заставляли задуматься не о быте, а о бытии, о тайне, смысле и итогах жизни. Время от времени, отрываясь от своих газетных статей и очерков, он силился высказаться, и среди его бумаг покоились и пылились несколько подступов к автобиографической повести.

«За рамой» — называлась одна из таких попыток. В тяжелой стальной раме на стальном столе верстается газетная полоса. Все, что не входит в раму, что не нужно газете, беспощадно отбрасывается, как лишний, ненужный металлический набор, остается за рамой. В молодости проблем не было, все умещалось в раму. А теперь он брался за тему, которая в хронике мировых событий и уголовных происшествий не сходила с газетных страниц, но в сокровенном, философском своем смысле всегда оставалась за рамой,— тему жизни и смерти, или, как точно определил ее один современный писатель, тему жизнесмерти. После пятидесяти, даже в мирное время, жизнь становится жизнесмертью, остающиеся в живых все чаще хоронят своих сверстников и вместе с ними — часть своей жизни, часть за частью, готовясь к неизбежному.

«...По этой площади я хожу тридцать лет — на работу, с работы и во время работы, а также в выходные и праздничные

дни,— писал он, имея в виду знаменитую московскую площадь, на которой располагался внушительный комплекс зданий его газеты.— Скольких их уже нет, давних знакомых, что изо дня в день ходили по этому проезду и этой площади и погибали за угол на эту улицу, и казалось, что там встречаться тут вечно, а теперь нет ни старого душного кинотеатра, ни соседнего старого, фамусовского дома, ни пивного бара по аптеки через площадь, ни шашлычной, в которую можно было попасть прямо из пивного бара, ставшего перед своей кончиной молочным. А знакомые неузнаваемо состарились или ходят по другим улицам и площадям или уехали на годы и годы. Или навсегда исчезли. Да, умерли. А нам пришло время надоедать молодым присказкой: когда мы были молоды... Когда мы были молоды и редакция помещалась в конструктивистском здании из серого бетона с круглыми окнами-иллюминаторами на верхнем этаже, мы были мальчиками на побегушках и нам доставались иногда обязанности похоронной команды — умерших ветеранов, не ведая одышки, приносили мы в конференц-зал на шестом этаже, а потом, после панихиды, после речей, в которые не вслушивались, на молодых и здоровых плечах спускали гроб вниз, к автобусу, по широкой белой мраморной лестнице. В обычные дни по этой лестнице мы прыгали через три-четыре ступеньки, сбегали вприпрыжку, съезжали по перильцам упругими молодыми задами в мятых, полированных, единственных брюках. Были веселы и работали по ночам, и газета выходила глухой ночью, а летом уже и светало, и после дежурств немецкие трофейные кургузые БМВ развозили нас по квартирам...

По квартирам? Оговорка сегодняшнего дня. Даже угла не было в первые недели работы в редакции. Выпускник престижного международного института был бездомным в Москве, ночевал в общежитии на Стремянном переулке, где прожил три года,— был август, каникулы, общежитие пустовало, знакомый комендант пропускал вчерашнего студента, но постельного белья не давал, вот и спал на голом матрасе, грезя о новой жизни, один в комнате на втором этаже, где стояло шестнадцать железных коек в два ряда...

Так вот, жили мы беспечно и нетребовательно, в заграничных командировках нас еще не пускали, но зато мы быстро стали безотказными мастерами на все руки и знатоками всех стран, и почему-то именно в ту пору легко давался жанр передовой статьи. Молодое ощущение бессмертности было в нас, когда в черно-красных гробах мы спускали с верхнего этажа на своих плечах усопших ветеранов. Как быстро пронеслось время! Теперь другим молодым дано ощущение бессмертия,

другому поколению. И странное чувство щемит тебя на той же знакомой площади в теплый день еще одной весны, когда радуешься солнышку и видишь густую, улыбающуюся — и преимущественно молодую — толпу московских солнцепоклонников и в ее гуще, всего лишь седыми и серыми вкраплениями, поколение, которое уходит, и понимаешь, что ты — его часть, что по этой площади мы не просто ходим, но и проходим, и тот, бронзовый, вечный, задумчиво стоящий над толпой, прекрасно сказал и об этом: «Увы! На жизненных браздах мгновенной жатвой поколенья, по тайной воле провиденья, восходят, зреют и падут; другие им вослед идут...»

Так начиналась повесть «За рамой», начиналась, чтобы оборваться на пятой машинописной странице. Дальше не хватило запала, терпения, времени. Побеждало газетное — короче. Газетное — потом. Потом были, конечно, и другие куцые попытки вырваться за раму, но каждой хватало не больше чем на пять — семь страниц, каждая получалась не длиннее газетного куска, выдавая короткое прерывистое дыхание газетчика.

Невысказанность, однако, не отпускала. Газета живет один день и одним днем, и чем больше однодневок рождает газетчик, тем сильнее его тяга к вечным темам. Но наш герой не додумывал этот вопрос до конца. Ибо что такое вечность? Торжественное пустое слово. А жизнь и смерть конкретны, у каждого. И если тебя томит невысказанность, попробуй рассказать о своей жизни и о своей работе, какой бы странной она ни была,— и перестань витать в эмпириях жизнелюбия.

Невысказанность, мучившая Американиста, носила, если разобраться, не метафизический, а деловой, профессиональный характер и была его недосказанностью насчет Америки.

И пока в монреальском аэропорту Дорвал он ждет очередного въезда в Нью-Йорк, прокрутим киноленту его начинающегося путешествия назад до Шереметьева и Москвы, до сборов в дальнюю дорогу.

Как у американистов получаются поездки в Америку? Проще, чем у других. За ними признается право освежать впечатления и знание страны, которой отданы их внимание и интерес и где вместе с президентами, иногда опасно, меняется политика. От обыкновенных смертных Американиста отличала многократная выездная виза в загранпаспорте. Чтобы выехать за границу, при наличии многократки ему в принципе требовалось лишь согласие главного редактора и редколлегии газеты, указание

бухгалтерии о покупке авиабилета и выдаче командировочных в инвалюте, а также, конечно, американская въездная виза.

Когда он был молод, сотрудники редакции работали на шестом этаже старого здания, круглые окна которого глядели на знаменитую площадь. Теперь редакция занимала шесть этажей нового здания, выходявшего длинным монотонным фасадом на знаменитую улицу, и по ковровым дорожкам, устлавшим коридоры, спринтеры-любители как раз могли бы бегать стометровку, финишируя у окна с прекрасным видом на кудряво бронзовую макушку бронзового поэта, которая летом едва выглядывала из пышной зелени.

Обитый темно-коричневыми панелями кабинет главного редактора, отвернувшись от площади, выходил па тесный типографский двор. Пожилой человек с испытующе-властным взглядом прохаживавшийся в его тиши, выслушал предложение о поездке за океан и благословил Американиста словом и жестом, припасенным для торжественных случаев: «Действуй!»

И тот стал действовать, поднявшись для начала па восьмой этаж, в отдел кадров, за американскими анкетами на русском языке, имеющимися про запас в солидной газете. Это были анкеты, подкреплявшие просьбу о визе. Он заполнил два экземпляра под копирку и расписался, как требуется американским посольством, на двух своих фотографиях — снизу вверх по краешку левой лицевой стороны. Анкеты вместе с фотографиями и сопроводителювкой были отправлены в консульское управление МИД СССР, а оттуда — с другой сопроводителювкой — в посольство США па шумной, грохочущей Садовым кольцом улице Чайковского.

Как всякий американист, наш герой с особым чувством проезжал мимо нелепого массивного дома образца пятидесятих годов, возле которого стояли автомобили американских дипломатов, не по-нашему, наискосок приткнутые к обочине и вечно пыльные, грязные, что выдавало тоже не наше, небрежно-привычное, панибратское к ним отношение, висели фотовитрины с вечно улыбающимся американским президентом и звездно-полосатый флаг и ходили вдоль двух арок бдительные милиционеры. Теперь, проезжая мимо, он вспоминал еще и о своих анкетах и фотографиях, которые, казалось ему, как раз в этот миг за этими желтыми стенами небрежно вертели в руках какие-нибудь клерки. Что они говорили при этом? Тоже что-то небрежное, пренебрежительное. Так казалось ему.

По консульскому правилу, действующему в отношении двух стран, ответ на запрос о визе должен поступить в течение трех недель. Всего лишь раз американцы отказали ему в визе, по

по опыту своему и товарищей Американист знал, что раньше конца третьей недели согласие, хоть ты расшибись, не поступит. Наберись терпения, но нервничай и спокойно жди.

И, сидя в Москве, он ждал американской визы и поездки в Соединенные Штаты Америки.

Простейший случай.

Но если в порядке преодоления невысказанности рассказать детали, то и у простейшего случая была своя подоплека. Ничего нет нынче простого в наших отношениях с заокеанской державой.

Подоплека — и предыстория — поездки Американиста состояла вот в чем. Корреспондент одного известного нью-йоркского еженедельника, аккредитованный в Москве, хорошо знающий русский язык и по-американски настырный, неподобающе вел себя при посещении одной советской среднеазиатской республики, граничащей с Афганистаном, а при посещении другой нашей республики однажды выдал себя за советского журналиста, заместителя редактора областной газеты. Компетентным органам не нравилось его поведение и способ собирания информации. Корреспондента выдворили из Советского Союза.

Коллега Американиста, другой американист, работавший корреспондентом той же советской газеты в Вашингтоне, не знал выдворенного американца и в своих поездках по Соединенным Штатам не пытался прикидываться заместителем редактора какой-нибудь луизианской или северодакотской газеты. Но разве есть место нормальной логике тогда, когда отношения между двумя государствами ненормальны? На шахматной доске межгосударственных отношений произошел размен фигур. В отместку за высылку американского корреспондента из Москвы коллегу Американиста лишили аккредитации в Вашингтоне.

Коллега не искал этой бури и не ведал, что судьба его переменилась без его участия и не по его воле. В то время, когда на доске совершился упомянутый размен, коллега безмятежно блаженствовал среди небесной и морской лазури где-то на подступах к родной стране, между Грецией и Турцией или даже Турцией и Румынией, плывя в свой летний отпуск на борту советского теплохода, для которого с большим трудом и хлопотами, подняв и это дело па высокий межгосударственный уровень, выхлопе тали право разового захода в американский порт Балтимор, неподалеку от Вашингтона, чтобы забрать советских дипломатов и других сотрудников с семьями п багажом.

Нет, ничего нет простого в наших отношениях с американцами и почти ничего личного, ибо не личности общаются, а государства. Даже личности общаются через государства.

Коллега был главным и самым деятельным корреспондентом газеты в Соединенных Штатах. Заслуженный им отпуск был испорчен. Предпринятые им попытки на несколько дней вернуться в Вашингтон, чтобы вывезти бумаги и имущество, не увенчались успехом — наше государство не сочло уместным одалживаться у американского.

Эта малая, не попавшая в газеты история разыгралась летом, а между тем постепенно надвигалась осень и вместе с осенью, по политическому календарю,— выборы в американский конгресс.

Нет, это не были выборы президента, громко отдающиеся на всех направлениях внутренней и внешней политики. Это были скромные промежуточные выборы в конгресс, чисто американский ритуал, который почти не влияет на внешнюю политику и по существу ничего не может изменить в советско-американских отношениях. Но и за ним у нас принято следить, и его принято освещать.

Тогда-то и возник Американист в тиши редакторского кабинета и был напутствован торжественным, властным жестом: «Действуй!»

Он предложил временно заполнить образовавшуюся брешь, вычислив, что при этом одалживаться у американцев не придется. В Москве уже сидел взамен выдворенного новый, быстро присланный — и пущенный нашими властями — представитель нью-йоркского еженедельника. И если мы дали визу ему, то они не смогут отказать нашему. Летом, в случае с коллегой, было око за око. Осенью получался баш на баш. Круглый, как Земля, принцип взаимности поворачивался солнечной стороной.

Расчет Американиста оказался верным — они не отказали, они дали визу. Как он и предполагал, в последний момент, в последние рабочие часы последнего рабочего дня недели. Тянули бы и дольше, по суббота и воскресенье — нерабочие дни, а вылетал он, как было указано в анкете, в понедельник — в понедельник утром. Получив присланный из американского посольства паспорт, он вглядывался в визу. Под штемпелем визы было приписано от руки: временное замещение корреспондента.

Так сдвинулись государственные шестерни, перекрыв дорогу одному корреспонденту и открыв другому.

Для них, для шестерен, это было безличное и, во всяком случае, ничтожное дело. А для нашего героя и его семьи не было в те дни события важнее. В своей семье, в стенах своей московской квартиры Американист был не ничтожный винтик межгосударственных отношений, а главный человек, собирающийся в заграничную поездку, что являлось событием в общепринятом знакомом и, однако, каждый раз необычным. Верная спутница жизни, любящая жена страдает от предстоящей — на целых полтора месяца — разлуки и стирает, чистит, гладит и, аккуратно стопками сложив на кровати рубашки, белье и носки, спрашивает у мужа, сколько и чего берет он в дорогу.

В дорогу! Когда-то это звучало ликующим трубным гласом. Как это прекрасно: и самому встряхнуться, и как бы встряхнуть мир — и вот по-новому, с новыми людьми и свежими сильными впечатлениями мелькает он перед глазами. Как прекрасно не засиживаться. Увы, пора романтизма осталась позади вместе с молодостью. Проза дорожных сборов обступала теперь Американиста и давила тем сильнее, чем ближе был час отлета. Все эти мелочи: старый чемодан, когда-то по случаю купленный там, за океаном, явно отслужил свое, побитый в разных багажных отсеках при международных и межконтинентальных перемещениях, и надо искать новый. И приличный! — с которым было бы не стыдно показаться. Ручные часы, как назло, забарахлили и тоже нуждаются в замене. Да и сам, признаться стыдно, пообносился, ни одного приличного костюма. А где найти новый — для заграничной? Где ты, молодость без оглядок на других, железная койка в пустом летнем общежитии и счастливое ощущение бесконечности жизни? Теперь он считался человеком с положением и должен был соответствовать ему. И помнить, что одно представление о соответствии у нас и другое в Америке, куда снова летит.

Когда он шел к главному редактору со своим предложением, он думал о себе как о работнике, который летит туда, чтобы делать привычное дело — писать корреспонденции в свою газету. А лететь приходится со всеми представлениями о соответствии и несоответствии, со всеми потрохами и нуждами, не только работнику, но и отцу и мужу, с дополнительными нагрузками главы семьи, кормильца и снабженца. Этой презренной матери почему-то дружно сторонятся и журналисты наши, и даже братья-писатели в изображении своих путешествий на буржуазный Запад. Но скажите, коллеги, положите руку на сердце, кто презрел ее не только на бумаге, но и в жизни? Пусть бросит тот камень в нашего героя. Скажите, кто не захватывал с собой, собираясь за границу, некий листочек, исписанный тем или иным убористым или, напротив, размашистым почерком,

наподобие того, что, стесняясь и робея, вручили Американисту его дочь и сын в последний вечер перед его отлетом? Это был составленный и утвержденный на домашнем совете сводный список приоритетов, перечень того, кому что и какого размера. На первом месте значилось в нем магическое слово джинсы. Джинсы требовались всем, кроме жены, которая никогда и ничего не требовала и не просила. Джинсы сопровождали и преследовали 'Американиста во всех его командировках последних лет, с тех пор как неведомыми путями накатила на нас эта всевластная и долговременная мода. А что делать? Как отказать дорогим и близким? Как? — если именно в этом популярном секторе потребительского спроса, давно и многократно дав обещания исправить, освоить и наладить, все еще буксовала отечественная легкая промышленность.

О царство тысячи мелочей! О быт, ты давишь на психику и смущаешь наших людей на их тернистом пути к удобствам и моде! Высокое и низкое, смешное и грустное смешалось в доме и голове Американиста перед новым расставанием с родной землей.

И вот на кухне в окружении домочадцев как-то буднично и потерянно истекает последний вечер. II вот наступает последняя перед разлукой ночь. Чемодан, подвернувшийся в ГУМе колесный индийский «классик», почти полностью собран измучившейся и все еще продолжающей что-то стирать и гладить женой! Рубашки, белье, носки и старый, придиричиво осмотренный (нового не нашли) костюм, водка и баночки с зернистой икрой, мыло и мочалка, консервы и запрещенная к ввозу в Америку (где наша не пропадала!) колбаса. Черный хлеб купят утром, в домовой булочной. Портфель набит книгами и бумагами. Чего еще не хватает Американисту, уже удалившемуся на покой в свою маленькую комнату и плотно закрывшему за собой дверь.

Самого человека труднее собрать в дорогу, чем его чемодан или портфель.

Не хватает спокойствия духа. В душе его бушует незримая буря страстей. Когда он шел к главному редактору, то думал: засиделся! Теперь понимает: ах, как он стал тяжел на подъем! Тяжел на подъем... Пророческое выражение родилось задолго до того, как люди научились подниматься в воздух. Ах, как трудно сдается этот еще один отрыв от земли, и не оттого, что боишься самолета, а оттого, что земля — родная, своя. Как тягостно думать ему сейчас, что опять придется приживаться на

чужой земле, восстанавливать все забытые рефлекс поведения в чужой среде, где для каждого встречного и поперечного он будет чужестранцем, а для многих — подозрительным красным из Советского Союза!

Звуки на кухне давно умолкли, оглушительно громко отсморкался перед сном сын, а он никак не может заснуть. Не действует и чашка успокоительной настойки, приготовленной женой по какому-то рецепту древней по какому-то рецепту древней тибетской медицины. Сам не свой, сам себе чужой, лежит он под одеялом на своей кровати, недвижимый, как мертвец, и дух, его собственный дух трепещет над ним в темноте, и каждой секундой внутреннего оцепенения, напряженной своей полудремы ощущает - уезжаю . О чем мечтает он в этот ночной одинокий час? Ни за что не догадаетесь. В мечте своей, уже завершив командировку, благополучно перемахнув через нее и распрощавшись с границей, он- цел и невредим - - возвращается в Москву и вскоре после аэропорта и встречи с родными направляется за город, по белой пустой зимней дороге, на дачную квартиру от редакции, и там, по-субботному попарившись и пообедав с другом, сидит он в своей мечте за столом, глядя в окно, на мертво блестящие снега, на скупой и холодный зимний закат.

И в ночь перед отъездом обычное возвращение из обычной заграничной командировки мыслится ему патетическим возвращением блудного сына. Не было раньше этой бессонной ночной тоски. Не было, не помнит он ее. Не тяжел, а легкий был он на подъем, да и в Москве бывал лишь в отпуске, а если и томило тогда в такой же предотъездный день, то не находилось ни места, ни времени отдаться проклятому томлению, и день-то последний складывался по-другому, приходили молодые, веселые друзья, пили, ели, шумели, произносили легкомысленные тосты, и, подвыпив, он проваливался в сон, раб тела, забывший о душе и полагающийся на будильник. А когда простодушные родственники или знакомые, из тех россиян, что не ездят и не живут по границам, жалеючи, спрашивали, как же это ты, горемычный, живешь там целыми долгими годами и домой лишь в отпуск заявляешься, тяжело небось,— Американист объяснял, как на пальцах считал, легко и привычно: лишь на первых-же порах, в первые-де месяц- два тяжело, а потом привыкаешь, приходит второе дыхание, иссякнет второе, так есть и третье. Ничего не попишешь — работа. Этим словом — работа — покрывалось и списывалось все, и сердобольные знакомые прекращали расспросы, как будто и впрямь поняли, что это такое, первое и второе дыхание, и специфика работы вдали от дома. А ведь и в самом деле, не обманывал он, были

они, эти дыхания, и не было этой тоски. Откуда же она взялась?

Лежа в темноте с закрытыми глазами, свободный от всех подробностей вещественного мира, он непривычно ощущал одну свою душу, и в этот особый миг душа вся была переполнена и напряжена мистической, пугающей своей стихийной силой связью с родной землей, родной средой, народом, в котором родился и жил — и терялся, как капля в море. Как это сказал рано ушедший, чистый и грустный поэт: «С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь...»

Он покидал родной обжитой мир и уже зябко ежился на холодных сквозняках международных перекрестков, тростинка на ветру яростного, ядерного века.

Утро вечера мудренее избавляет нас от ночных тревог и кошмаров. Поздний октябрьский свет рассеивает и тьму и тоску. В движении ей нет места. В редакционной черной «Волге», с женой и сыном на заднем сиденье, Американист едет в Шереметьево. Жена всегда провожает и встречает его. Все молчат, боясь и обыкновенных, и торжественных слов. Он сидит рядом с шофером и чувствует, как они, притихшие сзади, уже отдаляются от него.

В аэропорту все образуется без очередей и первой, быстро и хорошо. Сын-как вымахал! - берет на себя тяжелый чемодан, и таможенник великодушно пропускает его до стойки оформления билетов. Американист прощается с женой, и сын наклоняется к отцу, подставляя румяную щеку. Три буханки хлеба удастся уберечь от багажных весов. Пограничник с юным лицом под зеленой фуражкой острыми глазами сверяет физиономию в натуре с фотографией на паспорте и, удостоверившись в сходстве, хлопает печатью — «Вылет». «Ил-62» уходит в небо почти по расписанию, и через пять минут в иллюминаторы празднично вливается голубая надоблачная высь с ослепительным солнцем, не подозревающим, как соскучились по нему на земле, прикрытой тяжелым пологом осени.

К тому же среди попутчиков, летящих за океан, девять наших ученых, и возглавляет делегацию бывший однокурсник, давний товарищ Американиста, заместитель директора того научного института, где американистов больше всего. Теперь он доктор наук, без пяти минут членкор, по ученые степени не лишили его живости чувств и ума. Все в его группе — гражданские, невоенные люди, за исключением отставного генерала с лысым сильным черепом, и все, однако, занимаются вопросами войны

и мира и представляют самую практически важную отрасль советской американистики — военно-политическую. Они уверенно чувствуют себя в диковинной стихии концепций и доктрин ракетно-ядерного века, разного там «гибкого реагирования» и «взаимного гарантированного уничтожения», контрсилы и упреждающего удара, ракет межконтинентальных и средней дальности, моноблочных и с разделяющимися головными частями индивидуального наведения и т. д. и т. п.

Неученый практик, Американист относится к их знаниям с почтением и долей скептицизма, сомневаясь в возможности рационализации апокалипсиса.

Ученые летели в Соединенные Штаты по приглашению американских коллег: встретиться и поговорить друг с другом на жаргоне посвященных, непонятном обыкновенному человеку, который, не мудрствуя лукаво, ждет простою и четкого ответа на свой простой и главный вопрос: пронесет или не пронесет? Они летели зондировать почву, знакомиться с новыми концепциями и именами - и держать открытым этот полуофициальный канал диалога и связи, когда официальные перекрыты. Самое опасное — не слышать и не видеть другую сторону. Глухота и слепота питают подозрения, и тогда на другой стороне мерещатся уже не люди, не разумные существа с их спасительным инстинктом самосохранения, а фанатики и чудовища, готовые к самоуничтожению ради уничтожения ненавистного противника.

Девять дозорных ракетно-ядерного века направлялись за океан, и возглавлял их живой и молодой человек, остававшийся для Американиста Аликом из институтских аудиторий и коридоров их совместной молодости.

Когда самолет набрал высоту и вокруг засияла пронизанная солнцем голубизна, стало совсем хорошо. В воздухе всегда наступало успокоение. Знакомы ли вам эти своеобразные прелести фатализма, эти часы ожидания и безделья в самолете, летящем преимущественно над океаном из одного полушария в другое? Тебя везут, более того — тебя кормят и поят, за тобой ухаживают. Это как краткое возвращение в детство. Ни о чем не надо беспокоиться, и так бы летел и летел, доверяясь родительской заботе невидимых в своей кабине летчиков и милых стюардесс и саму судьбу свою как бы поставив на автопилот. На десять часов — до Монреаля с его пересадкой и волнениями.

Первый раз, еще не предполагая, что станет американистом,

он попал в Соединенные Штаты двадцать с лишним лет назад. Добирался тоже на перекладных — нашим «Ту-104» до Парижа и оттуда в Нью-Йорк «Боингом- 707» французской авиакомпании «Эр Франс».

К тому времени Аэрофлот уже проложил маршруты в западноевропейские столицы, но американцы, как всегда, отставали и мешкали в отношениях с нами, тянули с прямым воздушным сообщением. Из Москвы в Нью-Йорк и обратно добирались тогда с остановками, пересадками и даже ночевками в Париже, Брюсселе, Лондоне, Копенгагене, Риме. Никто, однако, не жаловался. Совсем наоборот. Всех это устраивало. Кому не хочется лишний раз глянуть на седые камни старушки Европы? Да и воздушный пассажир был в те годы еще сравнительно редкой, почитаемой и любовно опекаемой особью — за счет авиакомпании его устраивали в гостиницу с полным пансионом и еще, случалось, давали деньги на такси.

Но Аэрофлот, попятное дело, стремился зарабатывать валюту и, как всякая растущая международная авиакомпания, прорывался на Североамериканский континент. Канадцы и тогда были благоразумнее американцев и охотнее шли на сотрудничество. С Канады началось освоение Северной Америки Аэрофлотом. Уже в начале 1967 года Американист впервые попробовал новый маршрут с канадского конца, без посадки, в Москву из Монреаля. В гигантском турбовинтовом «Ту-114» набралось тогда всего семнадцать пассажиров; еще не доведенный до мирового стандарта, самолет брнужал и дребезжал, ночью в салонах скакала температура, но зато были там, на удивление, купе типа железнодорожных, с диванчиками по бокам и столиком посредине, и, вытянувшись на одном таком диванчике, то сбрасывая лишнее от жары одеяло, то накрываясь от холода одеялом вторым, Американист испытывал блаженное состояние человека, оказавшегося дома, на родной территории, еще не покинув Северной Америки.

В конце концов и американцы признали Аэрофлот — куда денешься? С 1968 года в Нью-Йорк стали ходить наши новенькие, только что поступившие в эксплуатацию «Ил-62», в Москву — «Боинги-707» американской авиакомпании «Пай Америкой». А потом на горизонте занялась заря разрядки. С 1972 года рейсовые самолеты Аэрофлота увидели и в Вашингтоне. Тогда Американист уже работал корреспондентом в американской столице и часто ездил с товарищами в аэропорт имени Джона Фостера Даллеса. В этом красивом пустынном аэропорту, названном в честь покойного государственного

секретаря, глашатая стратегии «отбрасывания» коммунизма, он встречал и провожал знакомых и незнакомых соотечественников; в те годы спасения не было от делегаций, прибывавших во исполнение сорока с лишним советско-американских соглашений об обмене и сотрудничестве в самых разных областях, которые, казалось тогда, соткали прочную, не поддающуюся разрыву ткань разрядки.

За Аэрофлотом подтянулся Морфлот. Прекрасным июньским утром 1973 года, оказавшись на катере американской береговой службы, Американист встречал на подходе к нью-йоркскому порту «Михаила Лермонтова», на свежем ветру взбирался на борт по шаткому шторм трапу. Сияя белоснежными палубами, советский пассажирский теплоход, первый за послевоенные десятилетия, празднично входил в Гудзон. Открывалась линия Ленинград — Нью-Йорк. Красные катера пожарной охраны по обычаю салютовали ослепительно сверкавшими на солнце тугими струями воды из своих водометных пушек, и сорокапятиметровая мощная бронзовая женщина, Статуя Свободы, рукой с факелом осеняла нового гостя гавани. Среди пассажиров был больной человек с лицом, на котором лежала печать особой судьбы и необычного знания и видения мира. Композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович, не переносивший воздушных путешествий, прибыл теплоходом в Нью-Йорк и проследовал поездом в Чикаго, где ждала его степень почетного доктора наук в одном из тамошних университетов...

Дернешь за любую нитку и — клубок воспоминаний. Но кому они интересны, кроме тех, кто все это наблюдал из года в год и вместе переживал надежды и разочарования? Давно закрыли американцы морскую линию Ленинград — Нью-Йорк. Не только «Михаила Лермонтова» не встретишь больше на Гудзоне, и «Максима Горького», несколько лет подряд работавшего на круизах по Карибскому морю.

Ничего нет простого в наших отношениях с американцами, все упирается в политику, и в начале восьмидесятых годов эта истина снова коснулась воздушного сообщения между двумя странами. Президент Картер под предлогом Афганистана закрыл для Аэрофлота Нью-Йорк, президент Рейган под предлогом Польши — Вашингтон. Почти на нет сошли делегации, зачистившие было за океан, и сорок с лишним советско-американских соглашений об обмене.

Как будто в машине времени отбросило нас назад, и самолет, как пятнадцать лет назад, шел в Монреаль, а не Вашингтон, и пассажиров снова ждали пересадки. Хотя Американист, не поспевая за отброшенным назад временем, все еще надеялся,

как бывало, за один день добраться от советской столицы до американской.

Они летели и летели — над покрытой облаками родной землей, и над первым снегом на горах норвежских фиордов, и еще пять часов над Атлантическим океаном, пока не поплыла внизу заснеженная белая твердь Ньюфаундленда.

Земля! Океан с его ледяными водами, о которых лучше не думать, преодолело мощное усилие ровно гудящих реактивных двигателей. Ярко-желтые спасательные жилеты, которые не без кокетства демонстрировали стюардессы в заоблачном показе мод, уже, слава богу, не понадобятся со своими свисточками и фонариками для освещения пучины. Заснеженная твердь внизу как-то странно успокаивала.

С другой стороны, вместе с видом лежащей внизу земли вернулись и земные заботы. После воздушных медитаций наступал час действия.

Вспыхнули сигнальные табло, и в плавно снижающемся, будто планирующем, самолете наш путешественник, спрятав в портфель розовые пластиковые тапочки и традиционный набор открыток с видами Москвы, выданный пассажиру первого класса, все стремительнее приближался к поверхности другого континента, чтобы встретиться и слиться там с самим собою, с тем человеком, которого автор, сочтя необходимыми кое-какие разъяснения, оставил скучать в монреальском аэропорту Дорвал в ожидании нью-йоркского самолета.

Но он уже не скучал. В некотором роде он уже приступил к исполнению своих профессиональных обязанностей. После долгого периода заочного наблюдения и описания Америки из Москвы он не без азарта предавался теперь свежим очным наблюдениям.

Зал ожидания авиакомпании «Истери», с ее угольного цвета, удобно штампованными стульями, широкими окнами на летное поле и свободными выходами в длинные коридоры аэровокзала, к другим накопителям других компаний, уже заполняли пассажиры. И это были в основном конечно же граждане США. Американист безошибочно узнавал их по яркости и пестроте одежд, по свободным позам, которые на первый взгляд кажутся развязными, по их, опять же внешне небрежному, поведению без оглядки на других. Знаменитый американский писатель однажды сказал Американисту, что наметанный глаз всегда

отличит американца даже по чисто внешним признакам, что американского негра даже в Африке не спутать с африканским негром, что американца японского происхождения так или иначе не спрячешь среди японцев в Японии, а в Европе, хоть ты специально маскируй американца, нечто неуловимое, но характерное тут же выдаст его. Это верное наблюдение, и Американист любил оттачивать глаз, научившись выделять американцев (меньше — американок) среди других иностранцев, даже не слыша их особого говора, только по осанке, походке, манерам. Приходилось ли вам задумываться над тем, что каждый человек несет на себе особую национальную печать, что даже в повадках своих, во внешних своих приметах он отражает исторически сложившиеся черты своего народа? Ту среду, в которой живет.

Три часа ожидания в монреальском аэропорту стали для Американиста еще одним введением в Америку, прологом нечаянным, но не лишенным смысла. С азартом натуралиста он опять входил в мир американцев. Из-за того, что он долго не наблюдал их, именно национальные, а не индивидуальные черты прежде всего бросались в глаза. И вместе с тем по той же причине чуть ли не каждый из первых нескольких десятков американцев воспринимался им как тип. Индивидуализм в природе этой нации, ее сильная характерная черта. В аэропорту Дорвал едва ли не каждый американец, на свежий взгляд Американиста, рисовал и лепил себя, желая в отличие от нас выделиться из массы, а не стусеваться, не слиться с ней.

И он опять думал о капле и о море и о том, что все мы необычайно зависимы от среды, и что у нас, во всем Союзе, среди всех двухсот семидесяти миллионов не найти, пожалуй, и одного, который мог бы выглядеть и вести себя так же, как любой из этих случайных американцев, и что даже переимчивым, охочим до всего заграничного молодым людям не под силу стать каплями чужого моря, и что даже самый талантливый и пластичный наш актер не может добиться абсолютной похожести, играя роль любого американца.

Вот мужчина средних лет с толстой сигарой во рту, не по сезону легко одетый, в кремового цвета пиджаке с блестящими желтыми пуговицами на всех карманах и в песочного цвета брюках, из-под которых выглядывают светло-желтые расшитые ковбойские сапожки,— чем не тип провинциального южанина, на какое-то время попавшего на канадский Север?

Вот высокий блондин с крупным волевым лицом раскрыл

ковровый чемоданчик-дипломат, уместил его на левой ноге, которую чисто по-американски уложил лодыжкой па колено правой, и как ни в чем не бывало, будто один в своем офисе, углубился в чтение деловых бумаг,— тип сравнительно молодого бизнесмена. По что- то такое выдает его, что- то сомнительное есть в его уверенности, отнюдь не все отвечает образу преуспевающего бизнесмена. Что-то такое заставляет предположить, что па лестнице успеха блондин пока спотыкается.

Человек с рыжеватой бородкой на бледном бескровном лице, нестриженные волосы выползают из-под черной твердой старомодной шляпы, длиннополое черное пальто, белая рубашка без галстука застегнута на верхнюю пуговицу. Тут и гадать нечего, принадлежность к группе выделена одеждой — еврей из религиозной секты хасидов, оккупирующих ювелирные магазины так называемого «Бриллиантового ряда» на Сорок пятой стрит между Пятой и Шестой авеню Нью-Йорка.

В углу особняком трое молодых людей, и самый богатырски картинный из них — могучий, широкогрудый парень с черной бородой, он через голову стянул толстый свитер, обнажив лямки комбинезонных штанов, и в мини-баре у входа, открывшемся, когда пассажиров поднабралось, покупал банки пива «бадвайзер» и треугольные сэндвичи с сыром и ветчиной, запечатанные в прозрачный целлофан. Тип нынешнего студента, похожего па рабочего.

И так далее.

И еще был тип свежеиспеченного иммигранта, всего лишь кандидата в граждане США, латиноамериканца по обличью, с широким простоватым лицом и черными глянцевыми волосами. Он сидел в углу на краешке стула, сторонясь других, потерянный человек, одиночка, родную среду покинул, а новую среду, новое лицо н индивидуальность еще не приобрел. Приобретет ли? Он был в самом начале нового, манящего и страшного пути и робко поглядывал на остальных, готовый, по первому требованию, заискивающе признать свою неполноценность и, однако, мечтающий перевоплотиться и стать таким, как остальные.

И вдруг в это собрание транзитников вошли две наши пожилые колхозницы. Они прилетели в Монреаль тем же самолетом, что и Американист, и он заметил их еще в автобусе — нельзя было не заметить таких необычных для международного рейса пассажиров. Скорее всего с Украины, а летели, наверное, куда-нибудь в район Чикаго, к славянам, осевшим по кромке

американских Великих озер, по приглашению каких-нибудь родственников погостить в Америке. У них были большие рабочие руки, обветренные лица и приземистые фигуры тружениц, людей от земли. Не то что заграничную, по и свою землю они вряд ли видели за пределами райцентра, по на международный перекресток в монреальском аэропорту вошли степенно, без стеснительных оглядок на пеструю компанию и разместились в самом центре. Кургузые зимние пальто, толстые шерстяные платки и короткие сапожки на полных икрах являли собой аптимоду и, быть может, даже антивкус, зато вели они себя как люди, неподвластные моде и считающие, что, в конце концов, на вкус и цвет товарищей нет.

Но, видно, Американист забыл эту народную мудрость, растерял ее, даже дома занимаясь за границей. Его смутила неожиданная демонстрация продукции отечественной легкой промышленности. Укол стыда — и укор совести. Не вида бы колхозниц ему стыдиться, а своего, пусть произвольного, стыда. Придя с канадской девчушкой — сотрудницей Аэрофлота, две женщины не нуждались в его помощи. И все-таки он, укоряла его совесть, должен был подойти к ним, перекинуться словечком, и всем людям па транзитном пятачке между двумя заокеанскими странами дать понять, что, да, мы — соотечественники, люди одной земли и одного народа.

Он подошел к другим соотечественникам, когда в накопитель с дорожными сумками и портфелями, в пальто нараспашку, вошла со своим молодежавым ироничным предводителем паша ученая делегация, которая продолжала стремиться в Нью-Йорк: отставной генерал с внушительным черепом, известный социолог с бородкой и еще один, толстый и умный, этакий Пьер Безухов па Бородинском поле ядерного века, и все, разумеется, доктора паук, и самый молодой из докторов, смущающийся раннего равенства со старшими, и уже знакомый нам публицист...

Они вошли напористо и кучно. В кучности и была их сила. Они передвигались, держась друг друга, несокрушимой капсулой маленького коллектива, вызванного к жизни особыми обстоятельствами заграничной поездки, в духовной оболочке своего микромира. В Нью-Йорке их встречали американцы, принимающая сторона. Она отвечала за все и была заинтересована в том, чтобы оставить у гостей наилучшее впечатление. Принимающая сторона рассчитывала на ответное приглашение в Советский Союз и знала, что такое взаимность, баш на баш или око за око. Американист завидовал этой кучности, спасительной защитной силе коллектива, перемещающегося в чужой среде.

У него, одинокого корреспондента, не было ни американской принимающей стороны, ни программы пребывания. Он надеялся на помощь коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне, но ему предстояло самому отвечать за свой быт, самому организовывать поездки и встречи с американцами. И работать тоже предстояло в одиночку.

В первые американские годы он всегда путешествовал по Америке вместе с другими корреспондентами, и это было хорошо — в автомобиле мчаться по автострадам — хайвеям — от одного утвержденного в маршруте пункта к другому, и товарищ сидел за рулем, а ты рядом, сверяясь с дорожной картой. Или наоборот: ты за рулем, а он — навигатор. Как прекрасно чувствовать, передвигаясь в чужой среде, локоть друга — в самолетном кресле, в железнодорожном купе; однажды по рельсам они вдвоем прокатились через всю Америку — от Нью-Йорка через Чикаго до Сиэтла. Вечером в отеле смотреть вместе телевизионные новости и обмениваться впечатлениями дня, а с утра стандартная яичница и кофе — и вместе в дорогу. Прекрасно! Но потом он стал ездить и летать один. Приоритет все-таки отдавался работе. Друзья-попутчики отнимали время у того, что исподволь становилось профессией, у Америки и американцев. Дружеское общение сокращало дорожные записи в блокнотах. Ради чистоты опыта, называемого собственным восприятием страны и ее народа, он все чаще жертвовал прелестями дружеской компании, продолжая, однако, завидовать тем, кто передвигался в коллективе.

...Закат давно догорел. Лишь темнота и фонари гляделись в окна, когда вдруг прямо к окну приблизился пос долгожданного самолета. Из одной двери быстро выполз хвост прилетевших, в другую столь же быстро втянулся хвост ожидавших. Американист очутился в обстановке летающей Америки, в самолете, где на креслах были не одноцветные, как у нас, а пестрые чехлы, где по-другому выдвигался столик из ручки кресла, по-другому захлопывались багажные отделения наверху,— он закинул туда пальто и три буханки хлеба.

Самолет выруливал на взлет. Стоя перед закрытой пилотской кабиной с микрофоном в руке, самоуверенный, как конферансье, стюард хорошо поставленным голосом извинялся за опоздание, едва он успел сесть на откидное сиденье, как самолет свечой взмыл в темное небо, и с мелодичными звоночками мгновенно погасли запретительные табло, и, ни минуты не мешкая, стюард с двумя стюардессами в пестреньких уютно-домашних пакидочках бросились разносить прохладительные и

горячительные напитки и крошечные пакетики с миндальными орешками. Зазвучал радиобаритон, представившийся «вашим капитаном». С рабочего кресла капитан напрямую обратился к пассажирам, снова извинился за опоздание, предупредил, что в районе Нью-Йорка свирепствуют порывистые ветры с дождем, немножко потрясет, и заверил, что оснований для беспокойства тем не менее нет.

Пришлось, однако, побеспокоиться. Снова включившись, баритон капитана сообщил, что обстановка, к сожалению, ухудшилась, самолеты садятся и взлетают с опозданием и нью-йоркские диспетчеры велят на полчаса задержаться в воздухе в тридцати — сорока милях от аэропорта Ла Гардиа.

Американское небо встретило их неласково, в его темных пространствах, ожидая разрешения на посадку, кружились карусели сотрясаемых порывами ветра самолетов. В пассажирском салоне погасили свет. Двигатели ревели громче и натужнее, как будто сзади, ухватившись за хвост мощной рукой гиганта, кто-то не пускал самолет. Сильно потряхивало.

Наконец капитан сообщил, что идут на посадку. Прорвались сквозь молочно-белесую тьму. За треплющимся тюлем разорванных облаков являлась и гасла и снова являлась феерия нью-йоркских огней, и вот она открылась в своей беспредельности, светящаяся, мигающая ночная земля, пульсирующие огнями бегущих машин автострады. Американист не успевал опознавать их — и все ближе и ближе к огням домов, к автомашинам на дорогах, и самолет, ударяемый порывами ветра, покачивая крыльями, тяжело плюхнулся на залитую водой посадочную полосу, по которой били струп ливневого дождя, и пассажиров закачало в креслах от резкого торможения.

Успокоившийся Американист разъяснил публицисту, впервые попавшему за океан: «Вот тебе наглядная иллюстрация к американскому характеру, к той его черте, которую надо бы знать и учитывать, — раскованное в, более того, рискованное отношение к ситуациям, и наш взгляд, критическим. У них они умеются в пределы нормы».

Иногда его спрашивали, любит ли он Америку. Спрашивали, ожидая утвердительного ответа, и это ожидание было каким-то образом связано с тем, что он писал об Америке. А для него это был странный вопрос, которым сам он никогда не задавался. Он старался описывать страну, с которой связала его работа и жизнь, так, как понимал ее, видел и чувствовал, по возможности точно, но при чем тут любовь? Как можно любить

какую-то страну, кроме своей, родной, данной от рождения и до смерти? Кроме той, что вместе с матерью произвела тебя на свет таким, каков ты есть? В ее землю уходят корни твоего родословного древа, на ее небо глядели твои предки и должны глядеть потомки, и ничего нет сладостнее родного языка. Разных людей любить можно, но разные страны?

Конечно, помимо любви к матери есть и любовь к женщине, которая, вспыхнув, озаряет жизнь и в лучшие ее мгновения дает редкое верховное ощущение полноты бытия. Но и таких мгновений не было у него на чужбине, не испытывал он там полноты бытия.

Если бы, однако, Американиста спросили, уважает ли он Соединенные Штаты Америки и американский народ, он бы ответил: да. Сознвая, что и тут однозначный ответ отдает, с точки зрения профессионала, ненужной эмоциональностью, категоричностью, сглаживает кое-какие острые углы. Лучше всего подошло бы другое слово — считаться. Америка и американцы — крупная величина, с которой нельзя не считаться.

После напряжения штормовой посадки пассажиры еще не успели подняться с кресел и самолет еще не подрулил к аэровокзалу «Истерн», а у нашего Американиста, жадно глядевшего в омываемое дождем окно, уже возродилось первичное из американских, и прежде всего нью-йоркских, ощущений — густоты и напора движения. При штормовой погоде садились с включенными прожекторами одни самолеты, другие в длинной очереди гуськом тянулись друг за другом на взлетную полосу, помаргивая навигационными огнями. Сквозь пелену дождя оранжево светились большие вывески не менее десятка авиакомпаний. И пассажиров, поспешно подключая к этому темпу, выпустили из самолета в сутолоку аэровокзала, где знакомые встречали знакомых, а незнакомые — незнакомых, держа в руках листки картона с именами и фамилиями, где сразу же какой-то американец двинулся навстречу нашей науке, а Американист увидел Андрея, молодого корреспондента-правдиста, и понял, что Андрей встречает именно его. Обретя эту точку опоры, он почувствовал себя как все — уверенно-небрежной частичкой того напряженного и хаотичного движения, которое опознал еще в воздухе, в огнях, светящихся за тюлевыми занавесками облаков и дождя, и которое повелительно подхватило его на земле.

А ведь Ла Гардиа, где они приземлились, — лишь младший брат международного аэропорта имени Джона Кеннеди. Воздушные и земные карусели соседнего гигантского аэрокомплекса крутились неподалеку, в каких-то пятнадцати минутах

автомобильной езды...

По пешеходным переходам через шоссе, по которым бежали машины, такси и автобусы с прилетевшими, улетавшими, встречавшими и провожавшими людьми, молодой коллега, избоченившись, тащил черный чемодан Американиста на парковку. Это была одна из многих парковок, где под навесом стояли сотни автомашин. Они сели в заваленный газетами и журналами корреспондентский «крайслер», расплатились у выезда с парковки и сразу же заблудились средн развилоч, развязоч, поворотов и ответвлений па территории аэропорта Ла Гардиа. Еще теплилась надежда попасть тут же, в Ла Гардиа, па последний «челнок» до Вашингтона, и, плутая в автодорожных дебрях, они искали тот аэровокзал, откуда отправляются воздушные «челноки», и продолжался дождь с ветром, и теплая испарина проступала на ветровом стекле, п ее, будто взмахами ресниц, бесшумно и плавно очищали дворники. Когда они нашли нужное здание, там не было ни машин, ни людей. Лишь негр в блестящем черном дождевике и форменной фуражке дежурил под навесом у обочины. Он сообщил, что вечерние рейсы отменены из-за непогоды.

Андрей по-товарищески предложил переночевать на своей нью-йоркской квартире.

Выбравшись из дорожных хитросплетений Ла Гардиа, они попали на широкий Гранд сентрал парквей, который влажно лоснился в свете вечерних фонарей и фар, неся по четыре ряда автомашин в обе стороны.

Аэропорты находятся в Куинсе, одном из пяти нью-йоркских городских районов, а они ехали в Манхэттен. В Манхоттен из Куинса ведут несколько мостов и тоннель под Ист-Ривер. Андрей предложил прибывшему выбор, и тот выбрал Трайборо, и, когда они очутились на горбатой спине старого моста, через сетку дождя перед ними встала и засверкала в ночи неровная линия ман-хаттенских небоскребов. Фантастическое видение мрачного города под мрачным небом.

Именно на мосту Трайборо — на Трехрайонном мосту, соединяющем Куинс с Бронксом и Манхэттеном, Американист привык и любил (тут подойдет и это слово) встречаться с этим городом и про себя говорить ему: «Здравствуй!» И фантастическая панорама, помаячив перед их глазами, сгинула, потому что они свернули вправо и вниз и вынырнули к будкам, где собирают плату за проезд по мосту. Они остановились возле одной из будок перед красным сигналом светофора на низеньком столбике, и Американист вспомнил то движение, которым Андрей привычно

опустил стекло в машине и привычно протянул человеку в будке долларовые бумажки, и с удивлением узнал, что за въезд в Манхэттен по мосту Трайборо берут уже полтора доллара, а не четвертак, как пятнадцать лет назад. Красный свет светофора сменился на разрешающий зеленый, они тронулись, и он подумал, что время идет медленно, но неотвратимо и что много воды утекло внизу, под бетонными покрытиями моста, воды времени и просто грязной воды из Гарлем-Ривер и Ист-Ривер с тех пор, как он впервые въехал в Нью-Йорк по этому мосту.

Он не мог быть равнодушным к этому городу где когда-то прожил более двух тысяч дней.

Теперь он въезжал в вечерний Манхэттен транзитником, чтобы переночевать и утром вылететь в Вашингтон. Друзья, с которыми когда-то он жил в этом городе, переместились в Москву, а для иных уже кончился и ход и бег времени. Андрей, сидевший за рулем, был в том возрасте, в котором они здесь когда-то начинали, и шел по жизни с другим поколением. Улыбчивый, почтительный к старшему, он расспрашивал о московских новостях, и Американист отвечал, по в памяти его тем временем тревожными ночными слайдами вспыхивали, сливаясь с натурой, снимки давно знакомых мест. Оставив мост Трайборо позади, они мчались теперь по автостраде имени Франклина Делано Рузвельта, проложенной вдоль Ист-Ривер: такой она и бывала осенними будничными вечерами — убогая освещенность и мало машин и тот же их шорох и шуршание. Они свернули на Девяносто седьмую и потом на Йорк-авеню. Андрей жил па Ист-Сайд, где правдисты селились с семидесятых годов. А корреспонденты той газеты, где работал Американист, все еще оставались верны району Вест-Сайд и квартире, которую именно он впервые арендовал двадцать лет назад. Там он п предпочел бы заночевать, окунувшись в воспоминания, но Виктор, корреспондент его газеты, был в отпуске, где-то в Белоруссии.

Наконец «крайслер» нырнул в подземный гараж и встал возле будочки дежурного, в которой, склонившись над своей гаражной бухгалтерией, сидел одинокий ночной негр. Американист всматривался и даже внюхивался в этот нью-йоркский подземный паркинг, один из сотен и тысяч, где вот так же и днем и ночью дежурят негры и «латиносы» и где постоянные клиенты, преимущественно из жильцов дома, под которым и находится автостоянка, платят помесечно (порядка двухсот долларов), а непостоянные — по часам или суткам. Без видимой охоты негр оторвался от своих подсчетов и вышел к Андрею, одному из постоянных клиентов, и Американист

сразу вспомнил точно такую же типичную грубоватость и неприветливость других нью-йоркских негров, зарабатывающих хлеб в загазованных подземельях, обслугой при обеспеченных белых людях и их автомашинах.

Оставив «крайслер» на попечение негра, они двинулись с вещами к подземному входу в дом, который находился тут же, в гараже. Дверь дома была, конечно, заперта, а ключ, полагающийся каждому жильцу, Андрей не взял с собой. Запертая подземная дверь многоэтажного дома свидетельствовала о двух противоборствующих ипостасях нью-йоркской жизни — распространенной преступности и не менее распространенных мерах защиты и предосторожности. И кстати, не только для удобства в нью-йоркских домах существует внутренняя телефонная связь. Телефон оказался рядом. Андрей позвонил Наташе, жене.

Минут пять они ждали Наташу - в пустом вечернем гараже, выходящем на пустую вечернюю улицу. Но этих минут было достаточно, чтобы Американист не без тайного волнения классифицировал еще одно знакомое ощущение — холодок всеамериканской уличной, гаражной, парковочной, лифтовой вечерней тревоги. Тревога немедля явилась к нему у запертой двери в безлюдном подземелье. Тайком и как бы невзначай он подносил правую руку к груди, что-то проверяя в левом кармане пиджака. Откроет его секрет. Зашпиленный на булавку, в кармане серого твидового пиджака покоился довольно-таки толстый конверт с зелеными долларовыми бумажками.

Сотрудникам нашего уважаемого и высокочтимого Внешторгбанка, надо думать, приходится читать и слышать о разгуле преступности за океаном. Но доходит ли до них во всей его зябкой осязаемости холодок американской тревоги перед преступниками и преступностью? Наверное, нет. Иначе знали бы они, что в наш просвещенный век за океаном не носят при себе толстые конверты с наличными. Человек с наличностью - это драгоценная, легкая добыча уголовников, которыми кишмякишит Новый Свет. Во избежание таких искушений давно придуманы разные кредитные карточки, безопасные банковские или дорожные чеки, которыми обычно и снабжают наших путешественников. Но на этот раз Внешторгбанк почему-то выпустил Американиста в Новый Свет подопытным кроликом с подотчетной наличной валютой.

Еще и потому он так спешил в Вашингтон, что там был конец нечаянным опасностям и от толстого конверта он мог избавиться в хорошо ему известном филиале банка Ригз Нэшил на Коннектикут-авеню, открыв так называемый регулярный

счет и получив взамен зеленых бумажек ненужную грабителям чековую книжку.

И вот, не достигнув этой цели, он стоял с молодым коллегой у запертой двери в подземном гараже, украдкой проверяя карман и украдкой же озираясь: не вынырнет ли из-за этих колонн, из-за этих уснувших на ночь машин какой-нибудь головорез или наркоман, какой-нибудь чокнутый, американский «чайник». Мало ли кого сводит с ума этот город?..

Однако одной тревогой дело и обошлось. Никто не посягнул в тот миг на казенные деньги Американиста, ни одного уголовного не случилось рядом. Быть может, лишь потому, что даже дикое воображение уголовного уже не допускает, что в наше время в Америке еще возят деньги таким рискованным ветхозаветным способом.

Запертая дверь открылась. Очаровательная Наташа излучала молодость и домашний уют. Благополучно поднялись в лифте, подхватив па первом этаже взлохмаченного, но вполне добропорядочного американского юношу, никто не совершил па них нападение и в коридоре, пока шли до квартирной двери (по-ньюйоркски окрашенной в черный цвет, сразу всплыло у Американиста). И вскоре втроем они сидели за столом, ужинали и оживленно разговаривали, хотя Американисту отчаянно хотелось спать (как-никак в Москве был уже седьмой час утра), и при этом поглядывали на экран телевизора, который и снабжал их свежей — и безопасной — уголовной хроникой.

Слово было то же — телевизор. Но внешний вид и технические возможности этого телевизора были несколько иные — он управлялся посредством легкого, умещающегося в ладони прибора дистанционного контроля и помимо десятка обычных каналов имел еще и приставку, в которой каналы обозначались не цифрами, а буквами, и там были, кажется, все буквы английского алфавита.

Опущенные жалюзи на окнах отъединяли квартиру-корпункт Андрея и Наташи от узкого двора-колодца, образованного стенами соседних высоких домов. Приоткрыв их, можно было увидеть, как во дворе-колодце через другие опущенные жалюзи тускло светились большие окна других квартир. Эти вечно закрытые окна как бы перестали выполнять свою изначальную роль окна в мир. У жителей, переставших смотреть друг на друга из окон, отгородившихся друг от друга, было зато другое общее окно, через которое они и глядели в мир,— пестрое, бойкое п быстрое, многоцветное окно их телевизоров.

Передавались поздние новости. Андрей и Наташа знали всех ведущих, изо дня в день плыли в потоке нью-йоркской и американской жизни, ее свежих событий. В этом, собственно, и состояла работа Андрея — плыть, озираться, выбирать и описывать для нашего читателя. Она была так знакома Американисту. Так же когда-то и он был в этом американском потоке, но давно покинул его, и наш поток нес его теперь, а потоки были таки» разные, что смешными и легковесными казались ему п первый вечер бойкие телевизионные леди и джентльмены, их сумасшедшая скороговорка, рожденная баснословной стоимостью раскупаемого на коммерческую рекламу телевизионного времени, их пушистые фатоватые прически, их очевидная самовлюбленность, яркие крикливые одежды и манеры, в которых холодным и настороженным взглядом он видел не привлекательную непринужденность, а развязность.

В первые часы, осуждая, он сурово мерил американскую жизнь суровыми мерками нашей аскетичной жизни.

Он поглядывал не только па экран, ио и на молодых и веселых своих соотечественников, со всех сторон окруженных чужой жизнью, и ему было боязно за них, потому что он глядел на них из своего возраста, из своего опыта, теми глазами, которыми, думал он, и они будут со временем смотреть на поколение, идущее им вслед. Им еще не было знакомо ощущение, которое теперь не покидало его —ощущение условности нашей заграничной жизни. Оно появилось при втором его, вашингтонском, сиденье в Америке и остро давало о себе знать при нынешних коротких посещениях заграницы. Это было ощущение потерянного времени. Чужая, заграничная жизнь— это та жизнь, которая для тебя не может быть настоящей. Но понимаешь это не сразу. Пока он, замороженный, плыл в потоке чужой жизни, настоящая, своя жизнь тоже уплывала куда-то, уплывала вместе с его друзьями и близкими, вместе с той средой, которая была всего дороже, вместе с дорогими понятиями, взглядами, представлениями пятидесятих и шестидесятих годов. Он поначалу не задумывался и не догадывался об этом. А когда вернулся, когда догадался, бросился было искать, куда все уплыли. Тщетно. Теперь ближайший друг, который был, казалось, дан, как брат, на всю жизнь, звонил Американисту лишь для того, чтобы справиться, куда подевался новый его друг, найденный в те годы, когда Американист был в Америке. Был лишь один способ обрести потерянное — ничего не терять, все время плыть вместе. Тот дом, который ты когда-то покинул,

остался во времени, которое ушло, и, когда оно уходило, ты был в другом месте и потому не ушел оттуда вместе с ушедшим временем. И надо было платить обострившимся чувством одиночества и спастись от него лишь с соотечественниками той же судьбы, с международниками.

Вот о чем он мог бы сказать па правах старшего своим молодым товарищам, приютившим его в Нью-Йорке. Но ничего такого он им не сказал. На все свое время. И есть такие уроки жизни, которые дает извлечь лишь зрелый возраст, от которых молодым надо беречься. Ведь они были в другом, в счастливом возрасте. В том времени, которое знает лишь самое себя. Их хватало па все, они умели работать и веселиться, их друзья были молоды и полны жизни. Наташа и Андрей, блестя глазами, рассказывали, как славно они отметили накануне тридцатипятилетие одного советского нью-йоркца.

По мягкому, толстому, приятно пружинящему под ногами ковру, которым затянута пол в светлом холле первого этажа, Американист прошел в арендную контору Айрин-хауз. Многоэтажный дом назывался именем Айрин, Ирины, первой жены его первого владельца. В арендную контору, или renting office, обращались те, кто хотел снять квартиру в Айрин-хаузе. Когда-то с этого и началось тут житье Американиста с семьей, но на этот раз он пришел по другому поводу и в проходной комнате у входа, в узком пространстве между двух письменных столов, едва не столкнулся с энергично двигавшейся в противоположном направлении своей старой знакомой, домоуправительницей миссис Лекокк, деловой дамой в том возрасте, когда о возрасте женщин уже не принято говорить. На миссис Лекокк был тот превосходно сшитый розового цвета костюм, которому нечего уже подчеркивать или скрадывать.

Миссис Лекокк, едва не столкнувшись с Американистом, остановилась и мгновенно узнала человека из Москвы. Этот человек, как и другие люди из Москвы, исправно вносил каждый месяц квартирную плату п пять лет прожил в Айрин-хаузе с женой и сыном — в прекрасном и к тому же хорошо содержащемся семнадцатипятиэтажном доме с несколькими сотнями трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, которые в Америке соответственно называются двухспальными и трехспальными; кондиционированный воздух, охлаждаемый летом и обогреваемый зимой, огромные, до полу, раздвижные окна в гостиных, которые по большей части выходили па идиллически покойный дачный поселок Сомерсет, и кроме

того, три этажа подземного платного гаража и два бассейна и теннисные корты на крыше.

Они поздоровались, изобразив на лицах улыбки старых добрых знакомых, обрадовавшихся новой встрече, и у миссис Леккок улыбка получилась лучше, потому что она постоянно жила в стране функциональных улыбок.

— Как вы себя чувствуете? Как ваша жена? — опередила миссис Леккок Американиста, еще раз улыбнувшись и слегка потрянув тщательно уложенными крашеными волосами льняного цвета.

Американист ответил, что и он о'кэй, и жена его — ол раит.

— А как поживают ваши дети? — продолжила вопросы миссис Леккок, интересуясь, очевидно, делами сына Американиста, жившего с ними в Айрин-хаузе, и дочери, которая старшекласницей, а затем и студенткой с ними не жила, но приезжала на каникулы. И он ответил, что с детьми тоже все в порядке, обмен любезностями не предполагает деталей, и он не рассказал о серьезной неожиданной болезни старшей дочери, тем более что она в Вашингтон не приезжала. Неучтиво отнимать время у такого занятого человека, как миссис Леккок.

Еще несколько раз в интонациях вопросительных и утвердительных повторили они популярное словосочетание ол раит.

Ожидая окончания ритуального разговора, стояла рядом еще одна сотрудница арендной конторы, пожилая грузная миссис Бернстайн с усталой и несколько грустной улыбкой — ей когда-то и вручались в начале каждого месяца чеки в оплату — вперед! — квартиры 1208. У миссис Бернстайн был, видимо, какой-то свой вопрос к домоуправительнице.

Вошла еще одна посетительница и, поздоровавшись, встала рядом с миссис Леккок. Незапланированный американо-советский обмен любезностями, происходивший в узком пространстве между письменных столов, физически застопорил какие-то дела, которые миссис Леккок должна была решать со своими сотрудницами и клиентами. Американист заметил признаки нетерпения в ее холодно-светлых, слегка выпуклых глазах, да и сам не имел желания затягивать пустой разговор.

Но многократно повторенное заклинание all right не во всем верно отражало состояние жизненных дел а том малом круге советских людей, которые когда-то жили в Айрин-хаузе и которых знала миссис Леккок. В этом круге зияла пустота, случилась одна непоправимая утрата.

Советским первооткрывателем Айрин-хауза был Борис Стрельников.

Тогда после двух-трех лет Москвы он снова приехал работать в Америку, но не в Нью-Йорк, а в Вашингтон,— уже с первой проседью в кудрях, старше и красивее, популярнее и застенчивее других советских корреспондентов. Его юные фронтовые годы, его бедная молодость, о которой он любил рассказывать, как посторонний, весело и печально, отходили все дальше. Он научился ценить уют, любил Юлю и детей, и вот нашел Айрин-хауз на окраине Вашингтона и сиял в нем квартиру в канун 1968 года, когда новый дом был еще не полностью заселен и никаких других многоэтажек не было поблизости на Уиллард-авеню и Фрейдшип-Хайтс. Айрин-хауз один нависал тогда над одноэтажной идиллией Сомерсета, заслонив от солнца самые ближние его дома и как бы бросая тень на их будущее.

Юля с детьми еще не прилетела, и Борис жил один. После веселой встречи Нового, 1968, года, так далеко уплывшего теперь, Американист по приглашению Бориса ночевал в его пустой и еще не обжитой квартире и в первое утро января проснулся, чтобы на всю жизнь запомнить звенящую тишину и белый девственный снег за окном. Его до слез умилило воркование протекавшего внизу ручья,— ожесточившись за шесть лет жизни в Нью-Йорке, он и думать забыл, что есть другая, покойная, тихая и уютная Америка.

Потом и сам он с семьей пять лет прожил в Айрин, но первое знакомство осталось в памяти свежо, отдельно, не слившись с множественными последующими впечатлениями. Борис работал рядом, они были из соперничающих газет, но умели ладить; не сосчитать, сколько вместе сидели за столом и вместе ездили. И хотя в дружбе их были отливы, периоды охлаждения и отдалениям этот дом чуть в стороне от Висконсип-авеню, в полукилометре за городской чертой Вашингтона навсегда остался связан с воспоминаниями о Борисе. Обмениваясь любезными словами с миссис Лекокк, Американист понимал, что изменит памяти покойного друга и первого советского жильца Айрин-хауза, если не сообщит ей, что к Борису никак уже не подойдет оптимистическое *all right*. И он сказал, что мистер Стрельников — помните его? — скончался. И понимая, что миссис Лекокк ждут дела и надо закругляться, с извинением поглядывая на миссис Бернстайн и незнакомую посетительницу, торопливо рассказал, что через несколько лет после возвращения из Соединенных Штатов Борис снова отправился от своей газеты за границу, в Англию. И что однажды возвращаясь поездом в Лондон после короткой командировки в Москву, испытал *heart attack* — сердечный удар (он не мог вспомнить слово «инфаркт» по-английски). Он мог бы рассказать, что Бориса сняли с поезда на железнодорожной

станции белорусского города Орша, по миссис Лекокк не слышала об Орше и вряд ли слышала о Белоруссии, было бы просто глупо перегружать ее такими подробностями.

— Ах, да,— с вежливым сочувствием отозвалась ла сообщение миссис Лекокк.— Слава богу, что это случилось так мгновенно, легкая смерть.

— Нет, не мгновенно, он проболел несколько недель,— пытался уточнить Американист, опять же из уважения к памяти покойного, и сам в эту минуту пытался представить, как помирал Борис, в сущности, одиноким, в дороге, вдали от Москвы и друзей (где они были?!), но миссис Лекокк не нуждалась в этих уточнениях.

Так кем же был для нее Борис? Всего лишь квартиросъемщиком, исправно, как и все русские, платившим свою ежемесячную квартирную плату и раз в год, на рождество, дарившим ей русские сувениры — баночки икры, которая заставляет американцев в восторге всплескивать руками.

А кем, скажите, мог он для нее быть? И разве так же холодно любезно не мог встретить сообщение о смерти Бориса какой-нибудь человек в Москве, шапочный знакомый, которому ничего не скажет ни его имя, ни его судьба? Да, мог бы. И все-таки встреча с миссис Лекокк подкрепила полюбившуюся Американисту мысль о условности нашей заграничной жизни, даже такой многолетней, как у Бориса. «Нет, не пустили мы корней у них в сердце,— подумал он.— А они — в нашем. Все наши контакты — от и до. Функциональные. Даже живя рядом, мы не проникаем друг в друга, а раз так, то легко и отдаляться, и ожесточаться друг на друга. И того легче - не нуждаться друг в друге»

А пришел он в арендную контору с одним практическим делом — и с длинными желтыми листами типографски отпечатанных анкет. Эти анкеты с финансовыми данными о жильце, о людях, которые готовы были за него поручиться, о его счете в банке заполнялись обычно при аренде квартиры. Они были одновременно и контрактом, который жилец подписывал с владельцем дома. Американист не понимал, зачем ему дважды присылали эти анкеты после того, как он, добравшись до Вашингтона, временно поселился в Айрин-хаузе, в пустующей квартире номер 1208. Он не собирался арендовать ее заново. Она уже была арендована его коллегой, оставшимся в Москве после истории с корреспондентом нью-йоркского еженедельника, и срок действия контракта не истек. Но после второго напоминания Американист явился в штаб-квартиру

миссис Лекокк — с незаполненными анкетами и не желая связывать себя какими-либо обязательствами. В обязательствах, однако, не оказалось нужды. Ему охотно разрешили прожить в квартире полтора месяца, попросив лишь указать в анкете, когда он собирается съехать. Ему объяснили, почему по нынешним временам необходима эта формальность: вдруг жилец, не известивший в анкете о своих намерениях, съедет по истечении срока аренды, не поставив об этом в известность персонал Айрин-хауза и заставив его теряться в догадках, что с ним, где он, почему не показывается. Теперь к анкете, заодно объяснили ему, прилагается и фотография жильца. Для возможного опознания. Какого еще опознания?! А вот какого. Умерла в одной квартире недавно одинокая старая женщина, и люди миссис Лекокк, не имея ее фотографии, не сразу могли с точностью опознать умершую.

Анкетные нововведения подкрепляли старый вывод: в Америке не существует наших проблем с жилищной пропиской, да, впрочем, нет и самой прописки как таковой, но зато есть свои проблемы, связанные с человеческим одиночеством, разделенностью, потерянной. Была глубокая ночь и тишина, и в комнате, где он все еще сидел за письменным столом, вчитываясь в свои листочки и что-то черкая в них, единственным звуком было раздражавшее его, необъяснимое жужжание люминесцентной настольной лампы. Время от времени, не стерпев, он пробовал прихлопнуть жужжание, как надоедливую муху, и с силой ударял кулаком по тяжелой подставке лампы. Звук обрывался, по потом возобновлялся вновь. И наконец трель ожидавшегося им телефонного звонка резко и сильно разрешила ночную тишину.

Он быстро схватил трубку, как всегда хватал ее, опасаясь, что ночной звонок разбудит жильцов соседней квартиры, хотя никогда никого не слышал там, за стеной. Голос операторши с международной телефонной станции где-то под Нью-Йорком произнес его фамилию по-английски с ударением на другом слоге, отчего она прозвучала чужой и торжественной, и сообщил, что его вызывает Москва. В трубке слышались приглушенные звуки межконтинентальных радиосфер, отдаленный шорох и гул, и на этом мощном таинственном фоне раздался звонкий голос московской телефонистки. Голос ее не был так профессионально поставлен, как у американки, но зато она произнесла его фамилию по-русски и сообщила, что его вызывает газета. И, завершая эстафету женских голосов, его по имени-отчеству назвала редакционная стенографистка Оля, сидя за плотно закрытой, тяжелой дверью одной из телефонных будочек на третьем этаже родного газетного

здания. «Что мы сегодня будем делать?» — спросила она. И он ответил что и, придвинув листочки, начал диктовать подготовленную корреспонденцию, произнося не только слова, но и запятые, точки и другие знаки препинания, по буквам, чтобы не перепутали, давая имена и названия. При этом он с удовлетворением убедился, что старый навык не пропал, и одновременно испытывал чувство, тоже старое, неловкости от того, что передававшийся им текст не мог заинтересовать Олю, не имел, в сущности, никакого отношения к той жизни, которой она жила, к тем житейским новостям и толкам, о которых она, попивая чай, будет разговаривать с другими стенографистками, как только пройдет утренний час пик, собкоры и спецкоры передадут свои материалы и выдастся свободная минута.

Между тем к его поездке этот текст имел самое прямое отношение, оправдывая его перемещение за океан, все остальные впечатления были посторонними, побочными, неозахватываемыми и, более того, ненужными для газеты.

Он передавал свою первую корреспонденцию о приближавшихся выборах.

Вновь прибывшего человека Вашингтон встречает все еще теплой осенью и, как всегда, суматохой новостей, — диктовал он.

Все вперемешку. Вызывая волны паники и ужаса, по всей стране агенты ФБР ловят и не могут поймать маньяков новой, даже здесь еще неведомой разновидности — подсыпавших смертельные яды в лекарства и продукты, лежащие на открытых столах магазинов. Маячит на телеэкране — в тюремной рубашке — автомобильный магнат Джон де Лорин — передаю по буквам'. Дмитрий Елена, отдельно Леонид Ольга Руслан Иван Николай — Де Лорин, вчера еще слывший воплощением американской предприимчивости и удачливости, а сегодня злоумышленник, обвиняемый в продаже рекордной партии наркотиков...

Как осенние листья на тротуарах, летают сенсации по страницам газет и в теленовостях. Все вперемешку, и все вприпрыжку, в судорожном здешнем темпе...

Так начал он, завлекая читателя деталями и тут же обрывая их и экономя место, зная, что пора переходить к чистой политике.

...Но в этом калейдоскопе, где причудливо перемешано частное и общее, быт и политика, одно событие привлекает общее внимание. Во вторник, 2 ноября, состоятся так называемые промежуточные выборы. По конституции США они проходят в промежутке между выборами президентскими. Два года

истекло с тех пор, как был избран президентом консервативный республиканец Рональд Рейган. И ровно два года осталось до следующих президентских выборов. А пока избираются все четыреста тридцать пять членов палаты представителей конгресса США, тридцать три из ста сенаторов и тридцать шесть из пятидесяти губернаторов штатов.

Таким образом, никто пока не покушается на Белый дом. Но именно к обитателю и политике Белого дома опять привлечено наибольшее внимание. Промежуточные выборы — это промежуточные итоги президентства. Оттого, как подведет их избиратель, будет во многом зависеть дальнейшее развитие событий и станет ли президент баллотироваться в 1984 году на второй срок...

Как, несомненно, догадался читатель, Американист, заночевав в Нью-Йорке, благополучно добрался до Вашингтона и уже прожил там несколько дней. Он успел избавиться от подотчетной долларовой наличности, открыв регулярный счет в отделении банка Ригз Нэшнл на Висконсин-авеню, в десяти минутах ходьбы от Айрин-хауза. Толстый конверт в левом кармане пиджака перестал причинять ему сердечное беспокойство. Буханки черного хлеба были розданы вашингтонским москвичам и приняты с благодарностью. Баночки с икрой и водка еще оставались для подарков американцам.

Американиста встретил в аэропорту, привез в Айрин, отвез в банк и всячески дружески опекал Саша, второй вашингтонский корреспондент его газеты, одаренный и деятельный журналист, живший с женой и двумя сыновьями тоже в Айрин. Вечера Американист проводил у старых закадычных друзей — Коли с Ритой, живших неподалеку, в доме Елизаветы — Элизабет-хаузе. Коля был из тех, кто в Америке собаку съел, и за плечами у него было, пожалуй, не меньше полутора десятков лет корреспондентской жизни в этой стране. Он трижды был корреспондентом в Нью-Йорке, а в Вашингтон его привела та корреспондентская чередка, которая началась с покойного Бориса. В Москве Американист жил в одном доме с Колей, но в Вашингтоне их общение было интенсивнее — еще и потому, что одиночный командированный нуждался в помощи Коли и, того больше, Риты.

Но больше всего времени уходило у него на свежие американские газеты и журналы. Он вчитывался в них, пропитывался новостями и атмосферой и с ходу, сразу же передал свою первую корреспонденцию — выборы были уже на носу.

Среди газетных вырезок и кипы свежих журналов лежала на его письменном столе и большая, называемая университетской, тетрадь размером, как указывалось на обложке, восемь на десять дюймов. Он уже вынимал ее в самолете, записывая свои стратосферные медитации.

Тетрадь была давней. Открывал он ее теперь с особым чувством еще и потому, что на первой странице его подросток-сын, тогда еще не бросивший рисование, оставил странный для мальчишки рисунок карандашом: клубящиеся столбы двух смерчей, соединившие небо и море, какое-то скрупулезно выписанное око, бесстрастно глядящее сверху, то ли кит, то ли батискаф, показавшийся из пучины округлым горбом, и старомодные карманные часы в самом центре рисунка. Арабские цифры на циферблате показывали десять минут пятого, а свой рисунок мальчишка назвал «Отсчет Вечности».

В университетской тетради соседствовали разные записи. Иногда он как бы советовал себе, что надо записывать:

«Писать па до о том, как возвращающимися ощущениями, как слепой пальцами, пытаешься ощупать прошлое. Видишь и не видишь его. И в этой квартире, где жил с женой и сыном и куда они вряд ли когда-нибудь снова попадут, вряд ли хоть на какое-то время вернутся, за этим обеденным столом, где когда-то сидели вместе, пугаешься — как будто их вообще нет».

В гостиной стояли теперь новые диван и кресла антикварного вида, на стенах висела мрачно-выразительная грузинская графика, новым был и цветной телевизор, свидетельствуя о быстро возрастающих потребностях телевизионного века. Но в кабинете все осталось по-прежнему, и Американист садился за свой большой и удобный письменный стол, отодвинув в сторону тяжелое коричневое кресло с высокой, откидывающейся спинкой, которое он тоже когда-то покупал, и придвинув другое, легкое и более удобное. Те же были старые металлические шкафы с выдвигающимися ящиками, но он не трогал их — в их ящиках хранились теперь газетные и журнальные вырезки, собранные коллегой за пять лет его вашингтонской работы, не трогал из какого-то суеверия п стул у двери в кабинет, на котором, аккуратно сложенные, лежали поношенные рабочие джинсы, дожидаясь возвращения хозяина, оставшегося в Москве.

Спал на старой кровати, у которой была своя история — они купили ее за бесценок одиннадцать лет назад у одинокой миллионерши, занимавшей в Айрин-хаузе квартиру с роскошными

коврами, шелковыми обоями и дорогими зеркалами. Эта богатая квартира на четвертом этаже Айрин стала первой квартирой Американиста в Вашингтоне, рождая зависть других корреспондентов и их жен, но противным вашингтонским летом там было душно от влажных испарений больших, красивых деревьев, заглядывавших в окно. Дети русской провинции, они и в Америке сохраняли с женой пристрастие к свежему воздуху и не прятались от деревьев закрытыми окнами, в искусственной прохладе эр-кондишн. Здоровье — прежде всего. Этим кредо жена Американиста не поступилась ради роскоши. После испытании первого вашингтонского лета перезаключили арендное соглашение и поднялись на двенадцатый этаж, над влажно дышащими деревьями, распростившись с обстановкой сладкой жизни среди ковров и зеркал к восторгу какой-то английской четы, которой досталась старая квартира. По кровать миллионерши перекочевала с ними и, временно вернувшись в Айрин, Американист спал на этой американской кровати, вполне допуская, что никогда в жизни не будет у него такого великолепнейшего двойного матраца.

Или он не спал, даже на прекраснейшем матраце, и, лежа в темноте, слушал тишину. Тишина перестала быть звенящей, как в тот первый раз в квартире Бориса. Правда, ночью слышалось сонное бормотание ручейка под окном, но и его то и дело перебивали другие, неромантические ночные звуки — визг автомобильных тормозов, крик полицейских сирен, доносившихся время от времени с Висконсин-авеню и Ривер-роуд.

Окест поднялись новые привлекательные громады жилых домов, преимущественно кондоминиумов. Квартиры в них стоили многие десятки тысяч долларов, и покупали их одинокие пожилые люди, расставшиеся с взрослыми детьми и желающие избежать также хлопот и лишних расходов, связанных с содержанием собственного дома. К старости те, кто может, освобождаются от бремени самых разных забот.

В семь утра раздавался звук глухого шлепка: мальчишка — разносчик газет, катя свою коляску по длинному коридору, бросал у двери увесистый номер «Вашингтон пост». Это было своеобразной побудкой. Американист, один в квартире, босиком подходил к двери, осторожно приоткрывал ее, просунув голую руку в коридор, втаскивал толстую кипу газетной бумаги. Аршинные заголовки на первой полосе взрывали покой и тишину утра.

Где и с кем был наш герой, когда, наскоро позавтракав половинкой грейпфрута, яйцом всмятку и сосисками «майер»

(стопроцентная говядина!), опускал в кружку с крутым кипятком пакетик чая «липтон» и удалялся в кабинет вместо со свежей газетой? Он был, как и полагается газетному корреспонденту, с событиями дня и их героями.

А между тем за окном его кабинета шла жизнь, в своем натуральном темпе, расстилала свой пышный ковер прекрасная теплая осень. Сомерсет как бы утопал в осеннем многоцветном лесу. Отрываясь от газет и журналов, от коричневого поля своего письменного стола, Американист видел за окном не Америку политическую, имперскую, амбициозную, кричащую о себе на весь мир, а совсем другую Америку — спокойную и уютную, да еще среди осенней пасторали.

Вдруг однажды задул сильный ветер, погнав облака по высокому похолодевшему небу. Потом зарядили дожди. Пышный многоцветный ковер осени повылез. Сквозь изрядно поредевшую листву за окном проступили, ближе придвинулись коттеджи преимущественно из белого эрзац-камня и с серой черепицей крыш. Они были знакомы, но, вглядываясь в них, он должен был признаться: знакомы только на вид. В немногих из них побывал он за свои вашингтонские годы и лишь со стороны, любя гулять по Сомерсету днем и вечером, наблюдал, как обитатели домов приезжают и уезжают в своих автомобилях, прогуливают собак, стригут газоны ярко окрашенными стрекочущими машинками или осенью, как сейчас, сгребают опавшие листья в черные полиэтиленовые мешки.

Он скорее угадывал, чем знал, как проходит их будничное существование, лишь предполагал, что, стоит пусть даже мимолетно погрузиться в другую жизнь, и тебе откроется бездна ее непохожести с нашей — иного темпа, иной работы и отдыха, иных отношений между людьми, иных понятий, стандартов, требований, законов, налогов, семейных бюджетов и семейных ссор, иного отношения к собственности, недвижимости, иного непостижимого нами практического знания об акциях в разных фондах и корпорациях, кредитах, дивидендах, счетах в банках и т. д. и т. п. Как и повсюду, люди тут рождались и умирали, растили детей, страдали и радовались, но все это протекало по-другому, и за степами аккуратных уютных домиков, где в глубинах комнат при взгляде с улицы слабо мерцал телеэкран, бушевали при ином, повышенном давлении страсти индивидуалистов и собственников, идущие от извечного, от изначального в человеческой природе, но у нас смягченные самим устройством общества, а у них усиливаемые.

«Почем он, фунт здешнего лиха?» — спрашивал себя Американист. И мог ответить достаточно точно, хотя американское лихо тоже

бывает разным. Мог ответить не хуже иного американца, потому что знал их страну. И все-таки он был лишь наблюдателем, а не участником чужой жизни, не испытывал ее на своей шкуре, и потому возможности его проникновения в нее были объективно и субъективно ограничены. Чтобы проникнуть в другую жизнь, надо жить ею.

Не находя собственных определений, он по привычке обращался к поэзии. Привлекал образ, созданный Афанасием Фетом,— стрельчатой ласточки над вечереющим прудом. «Вот понеслась и зачертила и страшно, чтобы гладь стекла стихией чуждой не схватила молниевидного крыла...» Дальше шли ключевые строчки. «Не так ли я, сосуд скудельный, дерзаю на запретный путь, стихии чуждой, запредельной стремясь хоть каплю зачерпнуть?»

Не так ли я... Поэта мучила тайна и красота мира, невозможность в полной мере постигнуть, выразить и тем самым воссоздать ее. У журналиста были утилитарные задачи. Зато строка Фета наполнялась прямо-таки буквальным значением — «стихии чуждой, запредельной (закордонной, заграничной) стремясь хоть каплю зачерпнуть».

Капли чуждой стихии, как и прежде, зачерпывались из быта и политики. В ближайший супермаркет фирмы «Джайапт» он ходил пешком, так как в первые дни еще не располагал необходимыми документами, дающими право пользоваться автомашиной корпункта. Возвращался из супермаркета по-американски — в обнимку с фирменным двойным бумажным мешком,— в Америке не пользуются авоськами и хозяйственными сумками. В бумажный мешок кассир на выходе ловко и плотно укладывал весь его холостяцкий рацион: консервные банки супов «кэмбелл», упаковки крупных яиц «первой категории» и сосисок «майер», грейпфруты, чай «липтон» и сахар «домино», фирменные картонки с молоком, запечатанный в полиэтилен, заранее нарезанный, пресный и безвкусный хлеб. Цены сильно подскочили, но понятие дефицита по-прежнему отсутствовало. За исключением, разумеется, стойкого дефицита зеленых долларовых бумажек, от него по-прежнему страдали многие миллионы.

Что касается стихии политики, то не капли, а пригоршни он черпал в газетах, журналах, на телеэкране — и в личных встречах с коллегами-американцами.

Как человек частный, он навещал «Джайант», прогуливался вечерами по пустынному Сомерсету и по Висконсин-авеню, ходил в Элизабет-хауз, где на столе у Коли с Ритой, хранящих

верность российским обычаям, всегда была картошечка, селедочка и то, что к ним обычно прилагается. Эта его будничная заграничная жизнь существовала лишь для него одного и в какой-то степени для его родных, с которыми, скупясь на слова, он сухо разговаривал порой по телефону и по которым в иные минуты исступленно скучал.

И он же, живя в Айрин, выступал как человек общественный, писавший для миллионов читателей своей газеты, и в массе своей они видели в нем человека для всех, лишенного индивидуальных черт, винтик в большом механизме общего дела, называемого освещением и разоблачением американской жизни и политики.

В своей ипостаси общественного лица, газетчика он долгие годы встречался и встречался с общественными лицами — американцами, прежде всего с журналистами, предпочитая известных, умных и знающих, тех, чье мнение имело вес, помогало оценить политическую обстановку и, кроме того, поддержать у Американиста уважение к самому себе. Не хотел он даром есть инвалютный хлеб из супермаркета «Джайант».

Выходец из гущи простого народа, из медвежьего нижегородского угла, Американист не расстался с психикой предков и долг свой, даже выражая летящей фетовской строкой, понимал тяжело и тугодумно. В заграничной командировке все время принадлежало редакции, и должно было быть отдано делу. Совесть без промедления принималась за него, когда получалось иначе. Но невозможно отдавать работе все двадцать четыре часа — даже за границей. Работа, работа! Черт возьми, человек должен не только работать, но и со вкусом жить. Умения жить не было — ни дома, ни за границей. Постигая себя, вслушиваясь в себя — это занятие тоже пришло с годами, — он как бы слышал далекое, упорное эхо, идущее от безвестных крепостных предков.

Втайне Американист завидовал тем, кто умел легко жить и непринужденно нести бремя долга, и такие свойства он отмечал у своих американских собеседников.

В Джорджтаун, старый респектабельный район Вашингтона, его вез пожилой негр-таксист. В словах таксиста, в его невозможном выговоре плескалась стихия, из которой даже капли не даются чужим. Когда Американист попробовал, для себя, изложить слова негра анемичным газетным языком, выходило, что на предстоящих выборах голосовать негр не будет, так как считает их пустым делом, что экономические новшества президента ему не нравятся, а надежды свои он возлагает на демократов, которые, дай бог, укрепят в конгрессе

свои позиции и все выправят.

Американист сошел на углу Висконсин-авеню и Пистрит, чтобы пройтись пешком. Он любил Джорджтаун и разделял тягу американцев к старым, внешне неказистым домам, которые они умеют обживать, сочетая все сияющие, стерильно чистые современные удобства с патриархальным уютом маленьких окошечек с занавесочками и высоких и пухлых бабушкиных кроватей под балдахинами. Дорогие дома притворялись скромными, и, шагая по ковру желтых осенних листьев на кирпичных тротуарчиках старой джорджтаунской улицы, посреди которой сохранили даже давно бездействующие трамвайные пути, он думал, что хорошо, наверное, жить и работать в какой-нибудь светелке, глядящей оконцами в покойный задний дворик, где весной цветет магнолия и «собачье дерево», или, по-нашему, кизил.

Один из домов принадлежал широко известному обозревателю Дню К., печатающему свою «колонку» в сотнях американских газет. Его статьи в переводе на русский язык частенько попадали в тот вестник ТАСС, который Американист ежедневно читал у себя в редакции. Он лично был знаком с Джо, но заочно, через его продукцию, куда лучше.

Хозяин встретил его у двери. Из крохотной прихожей, где висели картины жены-художницы, через гостиную первого этажа, обставленную покойной старой мебелью, они прошли в полуподвал. Там была кухня и непарадная столовая. Из окна под потолком в полуподвал сочился рассеянный дневной свет.

В отличие от журналистов, состоящих в штате газет и журналов, Джо работал дома, и дома же он устраивал свои деловые ленчи, в которых пище уделялось внимания меньше, чем разговору. Тем не менее из кухни появилась средних лет женщина латиноамериканской внешности и с именем древнеримской богини — Аврора. Она подала бефстроганов с рисом и грибами, а также нарезанные продолговатыми кусочками сельдерей и морковь. Джо предложил гостю бокал белого вина.

Ему было под шестьдесят, но он следил за собой, не поддавался возрасту. Худой, чернявый, с легкой походкой и изящными жестами маленьких рук, он говорил примерно так же, как писал свои емкие и умные статьи. Начиная фразу, ораторски возносил правую руку с палочкой расщепленного зеленого сельдерей, целя его в густую острую подливу, заканчивая — опускал сельдерей, макал и отправлял себе в рот. Сидя напротив тщедушного на вид, одетого в легкий темный костюм хозяина, гость тяготился своей массивностью, тяжестью

зимнего твидового пиджака, а также неповоротливостью своего английского языка, на котором он, к тому же, еще не успел разговориться. Эх, лучше быть хозяином, принимать гостя у себя дома, и пусть лучше он говорит на твоём родном языке. Но Американист не мог так же изящно говорить и одновременно изящно есть, как Джо.

Совокупный тираж газет, в которых печатался Джо, исчислялся многими миллионами. Его продукция пользовалась хорошим спросом, и издательская компания, распространяющая по контракту его статьи, наверняка платила ему каждый год шестизначную сумму. Джо входил в первую пятерку известнейших американских обозревателей и уже не одно десятилетие работал в напряженном ритме, выдавая две одинакового размера (не больше трех страниц) статьи в неделю.

Всеми своими нервными окончаниями он был подключен к сложному политическому организму Вашингтона, в котором взаимодействовали и противодействовали люди и учреждения, вырабатывая решения, касающиеся разных штатов, городов, избирательных округов, всей страны и всего мира, потому что политическая элита Вашингтона так или иначе видит Америку в самом центре мира и не оставляет своих попыток навязать миру развитие по-американски.

Инсайдеры и аутсайдеры то и дело меняются местами в этом городе. Каждый президент расставляет на ключевых постах своих людей; из вчерашних аутсайдеров они становятся сегодняшними инсайдерами. К тому же после выборов всегда большей или меньшей степени обновляется состав сенаторов и конгрессменов. Чтобы удержаться на гребне успеха, Джо должен был постоянно оставаться инсайдером, пластично вписываться в любую меняющуюся ситуацию, в любой новый расклад сил (с той же непринужденностью, с которой поднимались и опускались его руки с кусочком сельдерея), устанавливая связи с новыми людьми у кормила власти и предусмотрительно не теряя связи с вчерашними калифами на час — кто знает, вдруг их час повторится завтра? Проницательности ума или искусности пера мало. Положение такого журналиста зависит от качества доступных ему источников информации, от его близости к первоисточникам. В своих комментариях Джо источники не называл — правило доверительности соблюдалось свято, — но, судя по всему, их было много — в Белом доме, на Капитолии, в госдепартаменте, Пентагоне, среди политических групп и лиц, действующих за кулисами, и т. д. и т. п.

В жестком мире политики, с ее ходами, маневрами и интригами, требуется особый характер, талант, призвание, чтобы, не срываясь, балансировать на канате и выносить нервные перегрузки с невозмутимой миной на лице, сохраняя грацию и непринужденность. На вид всего лишь отшельник в уединении своего джорджтаунского жилища, всего лишь свободный литератор, наделенный даром быстро укладывать свои интересные и своевременные мысли и наблюдения в три странички — не больше, Джо артистически плавал в этой стихии, которая ему давно стала родной и из которой Американист мечтал зачерпнуть всего лишь капли, имел свою собственную дипломатию и вел свои войны и заключал перемирия, совершал свои тайные сделки по обмену и торговле влиянием. Он-то был участником, а не просто наблюдателем. И, в отличие от советских корреспондентов, которые в Вашингтоне не могли не быть чужеродным телом и объектом недоверия и подозрительности, свою главную информацию инсайдер Джо конечно же получал не из газет (он сам поставлял ее в газеты), а из первых рук. И знал больше, чем предлагал читателю, и при всей внешней размашистой свободе суждений чуял и ведал предел возможного и, когда нужно, наступал на горло собственной песне и репутации, затушевывая свое критическое отношение к администрации Рональда Рейгана, дозируя хулу и похвалу фронтальная атака привела бы к разрыву отношений с сегодняшней властью, к отключению от источников информации — и жизнеобеспечения, к падению спроса на товар, предлагаемый Джо, и со временем к пересмотру контракта.

Шестизначные суммы даже известным обозревателям платят не за красивые глаза или даже слова.

Но вернемся в уютный полуподвал, куда сочтется с улицы свет осеннего дня и где сидят двое братьев по одной и той же профессии, которая называется одинаково у нас и у них, но по-разному понимается и практикуется. О чем говорили они за едой, приготовленной служанкой Авророй, молча ждавшей распоряжений на кухне? Всего лишь ритуал общения. Не без некоторой, впрочем, пользы для обеих сторон. Испытующе поглядывая на гостя из Москвы и не исключая скрытого мотива в его посещении (ничего случайного не бывает в посещениях «этих советских»), Джо не сказал ничего, что он уже не написал и не опубликовал или вот-вот не опубликует, хотя доверительный тон его слов как бы открывал советскому собеседнику истинную Америку со всеми тайными пружинами ее политики. В обмен он ждал хотя бы крошечку новой информации из Москвы.

Гость был признателен хозяину за трезвую оценку положения — трезвую, на его взгляд, еще и потому, что она во многом подкрепляла его собственную оценку, составленную по газетам. В порядке обмена, невольно подражая небрежно-доверительной интонации Джо, Американист сообщил кое-какие из московских новостей, из очевидностей. И Джо остался доволен. Ведь своими нервными окончаниями он был подключен к Вашингтону, а не Москве, и в некоторых из московских «дважды два» и в самом деле содержался для него элемент новизны, они давали ему возможность перепроверить собственные сведения, оценки и предположения.

На предстоявших выборах Джо, как и многие из его коллег, как и последние опросы общественного мнения, предсказывал приобретения демократов и кое-какие потери республиканцев — партии президента. Он посоветовал Американисту присмотреться к некоторым демократам- победителям вот с какой любопытной стороны: была ли за ними поддержка руководства профсоюзного объединения АФТ-КПП? Такая поддержка — показатель высокой степени антисоветизма, отметил Джо, и этим советом, не без скрытого ехидства, напомнил своему собеседнику, что профсоюзные лидеры, вожаки организованной части американского рабочего класса, любому дадут фору по части антикоммунизма. Ехидство Джо было лишним. Выделяя эту азбучную истину, он обнаружил собственный пробел, недооценку наших знаний об Америке.

К внешней политике промежуточные выборы прямого отношения не имеют, указывал Джо. Главное, что определяет настроения масс, — не внешнеполитические заботы, а тяжелое положение в экономике. В стране глубокая депрессия. Но Рейгану она сходит с рук. «Каким- то чудом», — с раздражением и тайным восхищением отметил Джо. Чудо частично объясняется тем, что у демократов, соперников президента, нет альтернативы, которая переманила бы избирателя на их сторону. И еще нечто вроде чуда — Рейгану везет. В политике не все объяснишь логическими категориями. Джо сожалел, что Рейгану везет и, однако, смирялся перед этим везением, сожалел или не сожалел, а факта не отменить. Рейгану везет в том смысле, развивал свою мысль Джо, что никто на него — ощутимо — не давит. В стране недовольства хоть отбавляй, но организованной оппозиции нет. И также во внешней политике, сказал он. Смотрите сами. В Западной Германии у власти теперь Коль и консерваторы, а они идут путем Рейгана. Во Франции социалист Миттеран, но отношения и с ним складываются совсем недурно. С Пекином? Да, есть кое-какой конфликт из-за Тайваня, но и это не меняет сути дела, настоящего давления нет и из

Пекина. Остается Советский Союз. Отношения из рук вон плохи, но и тут пока не прослеживается ничего такого, что принудило бы Рейгана сейчас же изменить свой жесткий курс, тем более что западноевропейские союзники поддерживают его в вопросе евrorакет, а недовольных фермеров Среднего Запада он ублажил и привлек на свою сторону, отменив, как и обещал перед выборами, эмбарго на продажу зерна Советскому Союзу, введенное Картером.

Такой пасьянс раскладывал Джо, одновременно переходя от нарезанного сельдерея и морковки к галетам с треугольниками мягкого и нежного сыра бри и уже заказывая Авроре черный кофе для себя и с молоком — для своего гостя.

Между тем гость решил прощупать реакцию Джо па одну из своих любимых критических мыслей. Америка, с ее быстро меняющимися президентами, которые отвергают договоры (типа ОСВ-2), выработанные при их предшественниках в итоге долгих американо-советских усилий, с ее политикой воинственного имперского экстремизма, будоражит и болезненно лихорадит всю международную жизнь, примерно так развивал свою мысль Американист. Америка становится своего рода аномалией, нарушающей ту необходимую последовательность и преемственность в развитии глобальной обстановки, без которых обстановке невозможно стать нормальной. А при Рейгане эта черта американского поведения усугубилась. Вы как бы не считаете себя частью мира, а ведь он один на всех, общий, жаловался гость, по привычке обращением «вы» объединяя Джо с официальной Америкой, к которой обозревателю был критически настроен. Напротив, весь мир Америка считает своим приложением, своим продолжением, и этот самонадеянный, упорствующий в заблуждениях имперский эгоцентризм к добру не приведет, дорого обходится всему миру и, не дай бог, обойдется еще дороже.

В своем обличительном запале Американист хотел обрести поддержку знающего умного американца, искал с ним общую почву логики и здравого смысла.

И Джо, отправляя в рот галету с кусочком бри, ответил, что готов согласиться с этой мыслью, с этой критикой. Верно! Но ведь все сходит Рейгану с рук, добавил он прагматически, как человек, считающийся с фактами больше, чем с абстрактными истинами. Сходит, и потому президент продолжает вести себя таким же вызывающим образом. Нравоучениями и призывами к логике, дал понять Джо, в межгосударственных отношениях редко кого проймешь и мало чего добьешься. Потому что есть еще и такое понятие, как сила, а она — пока не натолкнется на должный

отпор — придерживается своей собственной логики — логики силы и выводит ее из самое себя.

Они пили кофе и закруглялись. Американист сказал, что хотел бы повстречаться с типичными рейгановцами, прочувствовать их, понять их психику, их мотивы. Что движет их антисоветизмом? Страх? Ненависть?

Джо исключил страх. Джо не принимал топорную философию рейгановцев, но и для него обидным было предположение, что его соотечественники, современные цезари, супермены, сильные мира сего, могут испытывать страх — это чувство слабых и обездоленных. Нет, не страх видел Джо в отношении рейгановцев к Советскому Союзу и ко всему советскому, а непримиримость, враждебность.

Главное упирается в очень простое, подчеркнул он,— в частную инициативу, в систему собственности.

Так вашингтонский прагматик добавил вдруг чисто марксистские краски в импрессионистское полотно своего анализа. Новоиспеченные богачи, калифорнийские миллионеры в первом поколении, они пробились к деньгам, успеху и власти благодаря американскому капитализму, американской системе частной собственности и ничего, кроме вражды, не испытывают к обществу, которое эту систему отвергает. Примерно так ответил Джо, который и сам, конечно, был почти миллионером или уже миллионером. Они оттуда, с Дальнего Запада, отмежевался он от этих захвативших Вашингтон людей. Их нельзя считать частью прежней структуры власти, «восточного истэблшмента», традиционно правившего Соединенными Штатами. У них отсутствует широта взгляда, более или менее типичная для многоопытных людей с Восточного побережья, нет терпимости, качества потомственных богачей.

Администрация Рейгана с ее консерватизмом, подытожил Джо, останется в истории как еще один американский эксперимент. Как еще одна, если хотите, болезнь, которой пришлось переболеть.

Он опустил на стол пустую чашку и поглядел на собеседника и поверх собеседника на льющее свет оконце под потолком, дав понять, что деловой обед подошел к концу, а его рабочий день — с разными заботами и обязанностями — еще далеко не кончен. И поднес салфетку к губам жестом, который мог ничего не означать, по в котором Американист мог прочесть и следующее: я ведь тоже не последний здесь человек, тоже

из правящей элиты, и вот видите,— сижу и говорю с вами, и хотя с вашим образом жизни, само собой, никогда не соглашусь, выступаю в международных отношениях за начало разума, за терпимость, или, по-вашему, мирное сосуществование, в мире нет абсолютного добра или абсолютного зла, а раз все относительно, то надо прилаживаться друг к другу, и понимать друг друга, и разговаривать друг с другом, что я и делаю, пригласив вас к себе в дом.

Гость встал из-за стола, поблагодарил хозяина, попрощался с ним и вышел на улицу в теплый и солнечный день. День покорял, день властвовал, не разъединяя, а объединяя людей. Тут не могло быть двух мнений: день был прекрасным.

В городском автобусе он ехал по Висконсин-авеню, возвращаясь к себе в Чеве-Чейс, и мимо тянулся типичнейший пейзаж американских городских магистралей — магазины, рестораны, бензозаправочные станции, кинотеатры, филиалы банков и страховых компаний. Опять знакомые места. Но здесь он редко ходил пешком и еще реже ездил автобусом, все за рулем «шевроле», потом «олдсмобила», а за рулем не вглядишься и не оглянешься, чтобы получше разглядеть, и все пять с лишним вашингтонских лет как бы промелькнули за окном автомашины, а он все сидел за рулем, и этот городской пейзаж вдоль Висконсин-авеню плохо отпечатался в памяти и не вызывал сильного отклика.

Автобус был порядком заполнен, и ему досталось место на заднем сиденье. Негритянское, подумал он. Два десятка лет назад на Юге США только задние места отводились в автобусах чернокожим, и Мартин Лютер Кинг взламывал многолетнюю систему сегрегации автобусными бойкотами и другими массовыми ненасильственными действиями. Сообщениями об этих действиях пестрели американские газеты, когда он впервые приехал в Нью-Йорк. Молоденькая — белая — девушка с прелестным чистым профилем сидела неподалеку от него на боковом диванчике автобуса. Ее еще не было на свете, когда в рождество 1961 года, арендовав автомобиль в Чаттануге, они прокатились по штатам Теннесси и Алабама вместе с Володей, нью-йоркским корреспондентом ТАСС. В маленьких городах они подъезжали к автобусным вокзалам и видели то, что уже кануло в Лету,— только через заднюю дверь садились чернокожие американцы в междугородные автобусы компании «Грейхаунд» (с изображением распластавшейся в беге борзой па дюралевых боках), а двери туалетов и фонтанчики с питьевой водой на вокзалах и в аэропортах тогда были еще снабжены надписями: «Для белых» и «Для цветных».

День был прекрасен, и беседа с Джо вроде бы удалась, и девушка на боковом сиденье радовала глаз свежестью и прелестью молодости. Под солнечными лучами на верхней ее губе и на щеке светился золотистый пушок, и рядом, наклонившись, стоял молодой, безусый и так очевидно влюбленный паренек. Первая любовь. Какова она, первая любовь, по-американски? В прекрасный теплый осенний день ответ был так же ясен, как влюбленность на лице смущавшегося паренька. Первая любовь? Как у нас. У всех по-разному. И у всех похоже...

Когда автобус останавливался, над дверью вспыхивала зеленая лампочка, и пассажиры входили и выходили. Друг для друга они были просто люди, а для Американиста — американцы, и в автобусе, негром сидя на заднем сиденье, он не мог избежать знакомого чувства постороннего. Городской автобус тоже был каплей чуждой запредельной стихии. Он зачерпывал и ее. И с автобуса тоже можно было начать рассуждения на тему, которая все время занимала его, — мы и они. У этого их автобуса ход был более плавный и мощный, чем у наших, и более удобно расположены кресла в салоне, плотнее и мягче закрывались двери и лучше был обзор из окоп, но проезд стоил не пять копеек, а семьдесят пять центов, цена пачки сигарет, что сразу вывело Американиста на следующий вопрос: что же важнее — более удобный автобус или более низкая плата за проезд? Вопрос не такой простой. Привычно рассуждать по поводу асимметрии в ядерных вооружениях двух стран — у них больше ракет подводного базирования, у нас — наземного, па их превосходство в ядерной авиации мы отвечаем ракетами средней дальности и т. д. Но ведь «асимметрия» пронизывает и другие проявления разных систем, и другие стороны жизни. В идеале важен п более удобный автобус, и более низкая цена, но легко так ответить, а как достигнуть — не на словах, а в жизни. Важны, конечно, — и еще как важны! — и эти проплывающие за окном магазины, заваленные товарами. И бензозаправки с просторными подъездными площадками п классным сервисом. И великолепные дома наподобие Айрин-хауза с трехэтажным гаражом под землей и бассейнами для плавания в поднебесье.

Как бы перенять этот сервис, это качество, ио чтобы квартиры были по-нашему дешевые пли заработки по-американски высокие — и, главное, без врожденных пороков капитализма, без крысиных гонок, в которых преуспевают сильные и гибнут слабые. Ура обилию товаров, но долой потребительскую вакханалию, которая уродует и опустошает людей в тех жестоких состязаниях жизни, где победителями опять же выходят корыстные и злые.

С другой стороны, думал он, сколько раз было сказано и повторено: только силой примера может победить социализм. Не сила оружия, а сила примера — вот наш путь, отвечающий и нашему великому идеалу, и интересам трудовых людей. Важна действенная сила примера, и разговор можно вернуть к тому же автобусу: какого американца можем мы перетянуть на свою сторону своим автобусом — даже за пятикопеечный билет, если он хуже качеством и донельзя переполнен?

Позвольте, скажет читатель, зачем ломиться в открытую дверь изрядно надоевшим разговором о наших недостатках и недоделках — и зачем их переманивать и соблазнять? Пусть себе живут, как им нравится. Вы правы, читатель. Но все связано в этом мире, разделенном пропастью двух систем. Все связано даже тогда, когда мы не хотим этой связи и открещиваемся от нее. Наши недостатки и недоделки, наше отставание в мире вещей, изъяны нашего быта рождают по ту сторону психологию превосходства, а она в свою очередь работает на наших ненавистников и дает им аргументацию против нас.

Простую, но коренную, марксистскую мысль высказал немарксист Джо, получающий свое шестизначное содержание за искусную защиту современного капитализма: рейгановцы питают к нам вражду и органическую неприязнь, потому что мы отрицаем их святая святых — систему частной инициативы, частной собственности на орудия и средства производства. Не забываем ли мы порой, что именно из этого первоначального семени произросли их вражда и непримиримость? Они ненавидят нас, потому что своей революцией мы отвергли их образ жизни у себя и своим существованием, с которым они ничего не могут поделаться, как бы угрожаем их собственному образу жизни. Ненависть всего сильнее у нуворишей, у тех, кто из грязи прыгнул в князи, уверовав и доказав на практике, что Американская Мечта о миллионах и успехе все еще осуществима, что бедный, скромный достатком человек все еще может разбогатеть и подняться не вместе с другими, а в одиночку, по законам индивидуализма, эгоизма, частной инициативы. Это их классовая ненависть возводится в квадрат, когда сочетается с невежеством, самой прочной броней, спасающей от сложностей мира.

Семя, из которого произросла психология собственника, дало известный лозунг, в самой крайней форме выражающий и вражду, и даже готовность принять на себя муки термоядерного апокалипсиса: *better dead than red*. Лучше быть мертвым, чем красным.

Танцуя от автобуса, как от печки, пойдем дальше. Если сила

примера в той или иной области не работает на нас, она работает против. Если мы отстаем в мире магазинов, вещей и быта, наши противники и в мире межгосударственных отношений не хотят признавать нас за равных. Советско-американское военное равновесие, стратегический паритет мы считаем историческим достижением последних лет. А американские ультраконсерваторы — своим недосмотром, временным поражением, требующим реванша, несправедливостью, которую нужно скорее устранить. Все новыми и новыми раундами гонки вооружений они, по существу, рассчитывают убить двух зайцев — восстановить превосходство Америки в ракетно- ядерных делах и измотать нас экономически.

Исторически выход известен, прост и чрезвычайно труден: работать, работать и еще раз работать. Лучше их. Держа порох сухим. Выигрывать раунды материального и духовного соревнования социализма с капитализмом. Ради процветания нашего народа и ради примера всему миру. Не силой оружия, а силой примера...

Вот о чем примерно думал Американист, снова напав на вечную тему: мы и они — и продвигаясь в комфортабельном американском автобусе из Джорджтауна в Чеве-Чейс. При этом он не забывал поглядывать на юную девушку с влюбленным пареньком и переносился мысленно в свою молодость, в свою первую ослепительную любовь в далеком заводском поселке, в далекий первый послевоенный год. Как он ждал тогда свиданий, и красивее его девушки никого не было в целом мире, и он еще не мог представить, как долга жизнь и как причудливо она им распорядится.

В качестве типичного рейгановца Джо рекомендовал Чарльза Уика, личного друга президента и директора Информационного агентства США, верховного распорядителя «Голоса Америки» и ста с лишним американских пропагандистских центров на всех долготах и широтах земли. Лучшей кандидатуры не придумать — главный официальный рупор.

С мистером Уиком Джо был на короткой ноге и обещал похлопотать за Американиста.

История, однако, затянулась. Сначала Уика не было в Вашингтоне. Когда он вернулся, когда до него удалось дозвониться, голос в трубке заклокотал нечиновничьими эмоциями. Мистер Уик сразу же бросился в контрпропагандистскую атаку, обвинив Американиста в том, что американские корреспонденты в Москве не имеют допуска к советским официальным лицам.

Казалось, что он чего-то недопонял и что-то перепутал. Американист не ведал этим допуском и был озабочен проблемой противоположного свойства — именно в Вашингтоне советских журналистов не хотели принимать высокопоставленные американские лица. И эту озабоченность он излил в телефонную трубку в ответ на клокотание с другого конца провода.

— А я, что же, не высокопоставленное лицо?! — взвился мистер Уик.

— Совсем напротив,— успокоил Американист президентского дружка.— Я потому и прошу о встрече, что вы — очень важная персона.

Телефонные страсти на этом не кончились. Уик пригрозил тут же, немедля выяснить, какого сорта «красный» добивается встречи с ним. Это походило на грубоватую шутку, но оказалось бесцеремонной откровенностью. Не вешая трубки, Уик и в самом деле начал что-то у кого-то выяснять по каким-то селекторам американской правительственной связи. Неужели наводит справки в недрах ФБР? Это было бы, пожалуй, удачей — какой журналист не хочет хотя бы по телефону познакомиться со своим невидимым куратором из Федерального бюро расследований. Но нет, Уик соединил Американиста с другой важной персоной, помощником госсекретаря Бэр- том, который ведал отношениями с Советским Союзом. В голосе мистера Бэрта звучало недоумение: какого черта его вдруг отрывают от дел и против желания включают неожиданным персонажем в какую-то комедию? Вслух он, однако, этого не сказал — может быть, у президентского приятеля в числе прочих было и право на бесцеремонность. Вслух Бэрт ответил, что с точки зрения госдепартамента возражений против встречи нет.

И вот в назначенный день и час Американист явился в стандартно-внушительное здание на Пенсильвания-авеню, в пяти шагах от Белого дома, и произвел примерно тот переполох, какой вызывает внезапный прорыв противника на надежно охраняемую территорию. В приемную, где он, сидя на диване, листал фирменные пропагандистские журнальчики в ожидании вызова к мистеру Уику, один за другим как бы невзначай заглядывали любопытствующие клерки. Такое повышенное внимание, может быть, и льстило его самолюбию, но вызова к Уику, шефу рейгановской пропаганды, он не дождался. Минут через десять подошел один из клерков и со смущенным видом сообщил, что мистер Уик, к сожалению, занят на Капитолийском холме, о чем пытались, но не смогли вовремя предупредить гостя.

Американист ушел несолоно хлебавши, но не потеряв надежды, ожидая обещанного свидания в другой день и час. Не тут-то было. В тот же вечер, в шестом часу, едва кончился вашингтонский рабочий день, как ему позвонил помощник мистера Уика и сообщил, что встреча не состоится. Вообще. Отменялась. Такого еще не случалось в американской практике Американиста. Без извинений и объяснений. От ворот поворот.

Может быть, запросив подробную характеристику, мистер Уик просто-напросто передумал. Может, главный вашингтонский пропагандист, воспользовавшись случаем, решил свести какие-то свои счеты, выразить какое-то неудовольствие, послать некий «сигнал Москве», шибко преувеличив значение журналиста и не зная, что такие сигналы в Москве не проходят. Или побоялся попасть на зуб советскому журналисту? Сам решил задеть, уколоть, обидеть?

Так или иначе в отказе от встречи смысла было, пожалуй, больше, чем в самой встрече.

Ненавидеть — не видеть. По звучанию эти слова стоят рядом. По смыслу перекликаются. Не видя, легче ненавидеть. Не видя и не зная. Почему бы не допустить, что мистер Уик изо всех сил в чистоте хранил свою ненависть и берег ее, не подвергая испытанию на прочность встречами с заочно, прочно и свято ненавидимыми людьми. Увидя — ненавидеть труднее.

Не увидев мистера Уика, задетый и оскорбленный Американист охотно его возненавидел. Теперь он верил самым нелестным характеристикам, всему, что работало па возникавший из газет и рассказов образ хлыщеватого, самоуверенного и дремучего техасского мещанина. Типичный нувориш, склотивший миллионы на вульгарной дешевке шоу-бизнеса с примесью, как говорят, порно. Фат и любитель сладкой жизни. Самовлюбленный Нарцисс. В поездки берет с собой парикмахера и по нескольку раз на дню меняет наряды. Невежествен легендарно. Американская фортуна, как вульгарная герл из бурлеска, вдруг повернулась к нему лицом, и вот вам. главный официальный рупор Америки.

Примерно так представлял теперь Американист Чарльза Уика. И так мстил ему, заочно ненавидя.

Это любовь не поддается искусственному насаждению, а ненависть можно разводить целыми плантациями.

Оглядываясь назад на свои первые годы в Соединенных Штатах, он думал, что тогда наши отношения были легче и проще. Он понимал, что в такой оценке был субъективный момент:

молодой человек, приехал впервые, принимал все как есть, и сравнивать ему было не с чем. С тех пор, уже на его памяти, две наши страны прошли полосу надежд, за которой наступила полоса разочарований. Тогда, в начале шестидесятых, льды «холодной войны» были привычно крепкими, о контроле над вооружениями писали меньше, наши корреспонденты в Нью-Йорке и Вашингтоне больше освещали вьетнамскую войну, антивоенное движение и борьбу американских негров за равенство, да и термоядерные горы были совсем не те, низкорослые Карпаты в сравнении с Гималаями начала восьмидесятых годов. Не было тогда миллиона накопленных Хиросим — и такого ожесточения, и такого отчаяния. И сам он, на своем уровне, не чувствовал этого.

А сейчас, казалось, что-то испортилось даже в обязательности и корректности американцев, в самой манере их общения с советскими людьми. Как корреспондент, он знал кое-какие проторенные тропы и пользовался ими, облегчая свою работу, по теперь обнаруживал, что и они заросли.

Одной такой бывшей тропой Американист пришел на угол Четырнадцатой и Эф-стрит, к знаменитому Нэшнл Пресс билдинг, тринадцатипятиэтажному массивному зданию с рестораном и баром на последнем этаже,— там испокон веку помещались вашингтонские бюро многих американских газет, а также газет и информационных агентств из десятков стран мира, неравнодушного к деланию политики в США. Давно гнездовали там и тассовцы, арендуя несколько комнат. Теперь они переехали на другой этаж, и помещение походило на укрепленный бастион. Во всяком случае входная дверь в тассовское бюро, одна из множества в длинном общем коридоре, была теперь вечно на замке, и в ответ на стук чей-то невидимый глаз, скрывающийся за непроницаемо посвечивающим глазком, пристрасно разглядывал посетителя, определяя по виду — свой или не свой и если не свой, то с какими намерениями.

Наши газетные корреспонденты, одиночки, всегда работали в квартирах, которые снимали в американских жилых домах, и были там в безопасности. А ТАСС, имея по десятку и больше сотрудников, держал бюро в деловом центре города, и с некоторых пор это увеличило риск, физическую опасность. Вашингтонскую тассовскую дверь наглухо заперли десять с лишним лет назад. В первых натисках на едва рожденную и развивавшуюся разрядку активисты из Лиги защиты евреев начали тогда эти новые времена, совершая в Нью-Йорке и Вашингтоне нападения на ТАСС, Аэрофлот и другие советские учреждения. Власти не преследовали и не наказывали их,

налеты продолжались — и пришлось защищаться баррикадами дверей. Теперь тассовцы жаловались и на уколы и шпильки официальных учреждений. В их работу входило посещение и освещение пресс-конференций и брифингов в Белом доме, госдепартаменте, конгрессе, но и это занятие перестало быть рутинным и полностью безопасным, где-то их третировали, куда-то порой не пускали, ставили под сомнение их полномочия, хотя все они были должным образом аккредитованы при Вашингтонских центрах власти и располагали должными пропусками с цветными фотографиями.

В коридорных лабиринтах Нэшнл Пресс билдинг среди всего прочего помещался и Центр иностранной прессы, одно из ответвлений того развесистого древа, которое называлось Информационным агентством США и возглавлялось, как мы уже знаем, Чарльзом Уиком, личным другом президента и личным недругом Американиста, бесцеремонно показавшим ему, как изменились времена.

По идее, центр должен был помогать иностранным корреспондентам в Вашингтоне и заодно по возможности направлять их работу в нужном властям русле. Нашего человека в их русло свернуть, конечно, не удавалось, но к помощи центра он иногда прибегал.

В Нью-Йорке, в таком же центре, занимавшемся иностранными корреспондентами и расположенном неподалеку от штаб-квартиры ООН, командовал в свое время Билл Стрикер. Выходец из Австрии, ставший американским дипломатом, он хранил благодарную память военных лет и всегда готов был помочь. Перед каждой очередной поездкой по Соединенным Штатам Американист, бывало, запасался у него полезной официальной бумагой, которая, напоминая ему о мандатах наших революционных лет, торжественно адресовалась «всем, кого касается» — всем... всем... всем... Всех Билл Стрикер уведомлял, что предъявитель мандата — советский корреспондент и советский гражданин (будьте бдительны!), п тем не менее просил оказывать ему содействие в исполнении журналистских обязанностей. Десятки раз на деле была проверена полезность стриковской бумаги, и теплые чувства к человеку, подписывавшему ее, остались на всю жизнь.

В Вашингтоне начала семидесятых годов Американист познакомился с коротеньким и толстеньким мистером Баба, американцем из латиноамериканцев, который в те годы сидел в Нэшнл Пресс билдинг, возглавляя Центр иностранной прессы задолго до эпохи Чарльза Уика. К помощи мистера Бабы прибегали реже. Манда- ' том была тогда сама разрядка, в ту пору у многих американцев и так находилось то или иное дело, тот или иной

интерес к Советскому Союзу. Но в Центр иностранной прессы Американист изредка наведывался, и его сотрудников всегда отличали корректный профессионализм и желание помочь иностранцам, пишущим о США.

И вот по старым следам он пришел в то же здание, но в новые комнаты с новой мебелью, и от незнакомого бородатого Тома Свенсона узнал, что и Стрикер, и Баба — на пенсии. Сравнительно молодой бородач представлял новую генерацию, заложившую в свою память не те годы большой — и горячей — войны, когда мы были вместе, а те годы, когда мы были порознь в «холодной войне». От него самого веяло холодом, и он удивился, по отнюдь не обрадовался появлению на своей ведомственной территории советского журналиста. С явным непониманием выслушал он рассказ Американиста о добрых старых временах, когда Билл Стрикер выдавал мандат «всем-всем-всем» и вдобавок помогал телефонными звонками в добровольные организации по приему иностранных гостей в разных городах. Том Свенсон не застал этих старых времен, почти крамольных и по меньшей мере мягкотелых. Мандаты советским корреспондентам? О нет, в повестке дня стояла бдительность. Никакой программы для Сан-Франциско и Лос-Анджелеса Американисту не подготовили. Он думал поглядеть на консерваторов в их родных калифорнийских кущах, но в Центре иностранной прессы от него отделались пустыми обещаниями и телефонными номерами, которые не откликнулись. Новая Америка, замкнувшись в своей неприязни и ненависти, избегала общения с «красным».

Все-таки одного рейгановца, из госдепартамента, можно сказать, раздобыл Саша, и вдвоем они приехали на беседу с тридцатилетним, красивым и симпатичным американцем, который дал им почувствовать свое кредо: что хорошо для его Америки, то хорошо для всего мира. В его Америке его родной брат славился как один из пентагоновских боссов с репутацией ястреба и обширной программой возвращения былого безраздельного американского господства на морях и океанах. А сам тридцатилетний работал в в правительственном Агентстве по контролю над вооружениями и разоружению (так оно называется в должности пресс-советника.

Он принял их в своем кабинете, лоснясь чистотой и здоровьем молодого человека из богатой семьи, охотно улыбаясь мягкой улыбкой, открывавшей большие, удивительно белые и здоровые зубы. Улыбка, этот знак приветливости воспитанного человека, была почти виноватой. Глядя на улыбку, думалось, что он еще

не поднаторел и не ожесточился в идеологических баталиях, что двух пришедших к нему советских журналистов ему не хочется обижать, лично против них он ничего не имеет. Но правдой-маткой ради вежливости он тоже не желал поступаться.

И он резал ее, правду-матку американского консерватора начала восьмидесятых годов XX века. Хотя она по так уж и отличалась от консервативной правды-матки прежних лет. Пресс-советник винил нас в том, что до сих пор мы продолжаем стремиться к мировому господству. Он забывал о том, что его президент грозил выбросить социализм на свалку истории, но помнил о наших заявлениях, что дни капитализма сочтены, из чего делал тот же вывод: большевики хотят мирового господства.

Он также предъявил старый список: «революция» 1956 года в Венгрии, «берлинская стена» 1961 года, «оккупация» Чехословакии в 1968 году, добавив Афганистан и военное положение в Польше. В его интерпретации картина событий выглядела чрезвычайно упрощенной: не было никакой политической борьбы в этих странах и вокруг них, интриг, происков и атак контрреволюционных элементов, подстрекаемых его Америкой, а была лишь одна злобная рука Москвы. Из свежих примеров он взял Никарагуа: да, Сомоса не украшал «свободный мир», и мы его, не к нашей чести, поддерживали, рассуждал он, но разве можно смириться с эволюцией сандинистской революции в сторону от демократии (как ее, демократию, представляют в его Америке), с господством радикалов, отстранением умеренных элементов от руля управления и так далее. И снова ни слова не сказал красивый молодой человек с извинительной улыбкой о том, что его империализм янки, демонстрируя свой нрав и не записанное в международном праве право сильного, не хочет терпеть революционную Никарагуа, как и любую другую, неугодную и непокорную ему страну в Центральной Америке, вооружает, обучает и натравливает контрреволюционеров — сомосовцев, действующих на территории Гондураса, усиливает морально-политическое и военное давление на сандинистов, громоздя препятствия на пути их революции, вынуждая их па меры самозащиты, порою крутые и жесткие.

Что хорошо для его Америки, не может быть плохо для никарагуанцев,— и тут это было источником, из которого он черпал свою убежденность. Более того, если учесть их гораздо более низкий жизненный уровень, для никарагуанцев американские порядки будут даже лучше и благотворнее, чем для американцев.

Нет, этот молодой человек не был открытием. Перед Американистом сидел человек с мышлением тех, кто влезал в свое время во вьетнамскую трясину, посылал туда сначала тысячи, а в конце до полумиллиона солдат и не знал, как оттуда выбраться. Знакомый тип американского империалиста-идеалиста, спешащего облагодетельствовать весь мир. Именно облагодетельствовать. Молодого человека обижало предположение, что он и ему подобные воспитанные люди хотят навязывать кому-либо американский образ жизни, и конечно же у него под рукой было доказательство: посмотрите, к нам идут, плывут, летят — беженцы на лодках из Вьетнама, мексиканцы, тайком перебирающиеся на заработки через пограничную Рио-Гранде, из Европы, Азии, Африки — все стремятся в Америку, чтобы стать американцами и жить, как американцы. Вот оно: что хорошо для Америки, хорошо для всего мира. И разве не может такая Америка сама позаботиться о любом уголке мира, объявить его жизненно важным для своих интересов — ведь ее интересы никогда не могут противоречить интересам народа или народов, населяющих этот уголок, а, напротив, выражают их самым дальновидным и высшим образом.

И поскольку все намерения Соединенных Штатов бескорыстны, а все действия благородны и пронизаны заботой о мире, свободе и демократии, ее баллистические ракеты с ядерными боеголовками, будь то наземного или морского базирования, межконтинентальные или средней дальности, не могут представлять угрозы для Советского Союза, а стратегические бомбардировщики, по численности в три раза превосходящие советские, — это безобидные устаревшие тихоходы, о которых и говорить-то смешно, особенно вам с вашей превосходной противовоздушной обороной... Вот о чем говорил пресс-советник Агентства по контролю над вооружениями и разоружению.

Но даже ему нечем было крыть, когда возник вопрос о непоследовательности американской внешней политики. Каждый новый хозяин Белого дома воображает себя богом, заново творящим мир, и в результате с их стороны здание американо-советских отношений не строится этаж за этажом, а разрушается сменяющимися президентами, потому что каждый начинает с демонтажа уже возведенного, а если и строит потом, то с нуля с фундамента.

— Советско-американские отношения? — переспросил Строб.— Ужасные — и, увы, надолго. В нынешнем Вашингтоне, нравится вам или нет, существует настоящая враждебность к Советскому Союзу.

Строб — дипломатический корреспондент популярного общественно-

политического еженедельника. В первую пятерку американских обозревателей пока не входит, но, как знать, может, и войдет, избавившись от нынешней своей, почти научной основательности и начав писать короче, острее и злее. Но и так он многого добился, работает вовсю и по-американски торопится жить.

Американист познакомился с ним лет десять назад, когда одной сенсационной публикацией Строб сразу же громко заявил о себе как перспективный советолог. Потом он с головой ушел в тему американо-советских переговоров об ограничении и сокращении ядерных вооружений, важнейшую тему — на годы и десятилетия,— которую, как шутят разоружение, можно передавать даже и по наследству.

Последний раз Американист видел Строба в зале московского ресторана «Прага». Его еженедельник специально арендовал большой самолет, чтобы отправить в кругосветное турне несколько десятков воротил большого бизнеса, руководителей виднейших американских корпораций и банков. И бизнесменам полезно, и журналу — реклама и связи. Это было, как выразился Строб, путешествие типа: завтрак в Кувейте, обед в Каире, ужин в Варшаве. Молниеносное, для чрезвычайно занятых людей. Они не могли миновать Москвы, и в московском ресторане, где американцы — организаторы турне устроили ужин в честь своего прибытия, пригласив советских деловых людей, худой и быстрый Строб в дорожном помятом вельветовом костюме помогал знатным путешественникам...

Вашингтонская контора еженедельника стратегически удобно расположена в пяти минутах ходьбы от Белого дома. Кабинетик Строба мал и скромн. На стенах прикреплены кнопками фотографии мировых лидеров и знаменитостей. Все они с хозяином кабинета — память, и опять же реклама, и свидетельство того, что журналист не теряет времени даром, исколесив весь мир.

Строб учился в Йельском университете, затем по специальной стипендии в Англии, в Оксфорде. Предметом нынешнего специалиста по вооружениям была русская литература, поэзия Тютчева и Маяковского. Диплом писал о раннем творчестве Маяковского и когда-то, как московский студент филфака пли Литинститута, наизусть декламировал «Облако в штанах».

Сейчас это забылось. Как многие американцы и англичане, избалованные распространенностью их родного языка, Строб подрастерял свой русский.

Они сидели в ресторане гавайско-полинезий «Кэпитол и, в

экзотических сумерках подвала отеля «Кэпитол Хилтон» и говорили не о поэзии, а о политике. отношение ужасные, повторил Строб, но надо сохранять надежду. Да и Рейган не посмеет бесповоротно испортить их. Это подорвало бы его репутацию, а следовательно, и политическое будущее. Каким бы он ни был, любой американский президент хочет почетного места в истории, а его не добьешься, доведя до опасной грани отношения с другой ядерной державой.

Дипломатический корреспондент частенько навещал Советский Союз, был знаком с рядом наших ответственных работников в международной области и дорожил этими знакомствами — как и Джо, он нуждался в хороших источниках информации, от них в известной степени зависели его вес и влияние в собственном журнале. В репортажах и очерках, которые он публиковал после поездок в Москву, ему хотелось бы создать живую, движущуюся и острую, не лишенную элементов сенсации картину советской политической жизни. Удавалось не всегда. И теперь, рассчитывая на понимание профессионала, он жаловался Американисту, что советские собеседники ему, американцу, говорят примерно одно и то же и что это единодушие не помогает живости его московских впечатлений, что ему не хватает интересных деталей и подробностей о формировании советской внешней политики и о советской жизни вообще, что вредит не только ему, но и нам, утверждал он, так как делает пресной его журнальную продукцию.

В Вашингтоне на Шестнадцатой улице живет и работает единственный в своем роде человек, который среди временных или постоянных жителей американской столицы едва ли не острее всех чувствует неустойчивую и капризную кривую американско-советских отношений. Человек этот не американец, а советский человек - Анатолий Федорович Добрынин¹. Работает он Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в США. Более двух десятков лет. Бессменно. И живет в особняке посольства на Шестнадцатой улице, откуда рукой подать до Белого дома, где он бывал неоднократно и по самым разным поводам.

Свои верительные грамоты А. Ф. Добрынин вручил президенту США в 1962 году. Президентом был тогда Джон Ф. Кеннеди. Самому молодому в истории американскому президенту не было и пятидесяти лет (он так и не дожил до этой вехи), а советскому послу едва перевалило за сорок. Давно уже посол ездит по Вашингтону в черном «кадиллаке» с запоминающимся дипломатическим номером—1. Он теперь дуайен, старший пэ стажу пребывания из послов примерно ста пятидесяти стран, аккредитованных в американской столице. Когда отмечали

двадцатилетие посольской работы Анатолия Федоровича, в Москве заглянули ради любопытства в обширные мидовские архивы. И удостоверились, что не хранят они ни одного подобного случая за десятилетия советской и всю историю русской дипломатии, кроме одного случая, относящегося к XVIII веку.

Москвич, ставший вашингтонским старожилом, представлял нашу страну при шести президентах Соединенных Штатов Америки

1Описание относится к ноябрю 1982 г. В марте 1986 г. на XXVII съезде партии А. Ф. Добрынин был избран ЦК КПСС. (Примеч. автора.)

и имел дело с семью государственными секретарями, с полудюжиной помощников президента по национальной безопасности. А других американских министров, сенаторов, конгрессменов, промышленников, банкиров, деятелей культуры и так далее не сосчитать.

Американист порою отчаянно завидовал послу, которому сам собой, самотеком истории шел в руки богатейший, уникальнейший материал — и пропадал этот материал, не попадал на глаза обыкновенному читателю, широкой публике. Ах, если бы у посла был досуг — и охота и возможность — писать книги, мемуары! Какую картину в лицах и важных эпизодах текущей истории можно было бы создать, исполненную скрытого и явного драматизма, притяжения и отталкивания двух общественных систем и национальных психологий, и все это на фоне небывалых реалий ядерного века, в драматических ситуациях, порожденных им. Характеры и личности, меткие словечки, в которых и юмор, и накал исторических минут, и сцены, сцены, сцепы двух десятилетий, включая и те, когда балансировали на грани, как, к примеру, в октябре 1962 года, при том же Кеннеди, в дни «карибского ракетного кризиса».

Особой прочности должен быть человек, чтобы все эти годы пропускать через себя и выдерживать высоковольтное напряжение международной жизни. Одним богатырским ростом посла и былинной его фамилией тут явно не обойтись.

С давних пор Американист наблюдал посла со своей корреспондентской вышки, при взлетах и падениях советско-американских отношений и знал, что, внешне простой и демократичный, он дипломат до мозга костей. Из своего кладезя знаний, опыта,

мыслей вынимает лишь то, чем хочет поделиться. А свое перо, живое и пронзительное, отдает тому единственному в своем роде жанру литературы, у которого самый узкий круг читателей — жанру шифротелеграмм, закрытых дипломатических депеш.

Анатолий Федорович почти никогда не давал интервью для печати. Вместо них — печать дипломатического молчания на устах. Он принадлежал государству, а не себе, этот государственный человек.

Посол нашел время для Американиста, и тот вошел за двойную плотную дверь глухого, без окон, кабинета, где все было сделано так, чтобы исключить малейшую возможность подглядывания и подслушивания, ибо в любую политическую погоду, как при взлетах, так и при падениях, американские спецслужбы не переставали оттачивать свое электронное зрение и вострить электронный слух, благо особняк посольства находится в центре Вашингтона и со всех сторон окружен американскими домами, чьи хозяева вряд ли будут упираться, отказывая в патриотических услугах ФБР.

В своем кабинете посол обычно был либо за широким, сделанным по росту пюпитром в углу, где стоя листал американские газеты, либо за письменным столом. На этот раз он сидел за столом и что-то писал. В конце концов чем-то работа вошедшего человека и человека, сидевшего за столом, была схожа, оба были советскими американистами. Оба следили за положением дел на американской сцене, хотя Американист был газетным корреспондентом, одиночкой, а вместе с послом на государственное дело работали еще два его заместителя в должности советников-посланников, советники, первые, вторые и третьи секретари, атташе и, наконец, молодые стажеры, только что вышедшие из стен Института международных отношений, пока еще мальчишки на побегушках, но, кто знает, быть может, с честолюбивыми мечтами о посольском кресле в далеком будущем, когда наступит время их поколения. Оба были пишущие люди, эти два американиста, и писали они так или иначе о своих американских наблюдениях. Писали, правда, в разные адреса, и телеграммы посла читали те, у кого не всегда есть время на газетные корреспонденции, но, как пишущий человек, журналист был в более выгодном положении, чем посол, которого отрывали от стола и пера срочные и многообразные заботы руководителя. И посетители. Иногда и такие, от которых вроде бы и нет прямой пользы делу.

Но посол прервал свое писание, поднял от стола большое, одутловато-бледное и усталое лицо человека, проводящего долгие часы в четырех стенах, и приветствовал Американиста

как старого знакомого, с которым в одном и том же городе одной и той же чужой страны переживали и обдумывали разные времена. И задал свой первый вопрос: что нового? Информация — пища как дипломатов, так и журналистов, и приезжий москвич не без профессиональной зависти сразу же убедился, что дела дома, дела в государственных сферах вашингтонский старожил конечно же знает лучше его, приехавшего москвича.

Что касается американских дел, ничего утешительного посол не сказал. Десять лет назад он был из тех, кто у колыбели разрядки на этом, вашингтонском, ее конце активно участвовал в разработке многочисленных двухсторонних соглашений, в подготовке трех встреч в верхах. Теперь он считал, что неустройство советско-американских отношений продлится долго, переживет и Рейгана.

Через улицу напротив здания советского посольства стоит шестиэтажный дом. Знающие люди говорят, что на чердаке или на верхнем его этаже — круглосуточный наблюдательный пост ФБР. Это оттуда, но не только оттуда, простые и электронные глаза и уши направлены па советское посольство, глядят, кто и с кем входит и выходит, и за всем остальным.

Когда Американист остановился у железной решетчатой калитки в железной решетчатой ограде посольства, «то-то невидимый как бы уперся ему взглядом в затылок, и он физически ощутил, что весь на виду, что его просвечивают. На этом месте у медной старой посольской вывески на русском и английском языках всегда возникало именно это ощущение, хотя никогда он не мог проверить, насколько оно верно. Шедший по тротуару мужчина-американец поглядел на него с мгновенной оторопью: такой взгляд всегда был у американцев, когда они видели человека, собирающегося войти в советское посольство. Полицейский в черном костюме специального подразделения секретной службы, охраняющего в Вашингтоне официальные учреждения и иностранные посольства, как ни в чем не бывало продолжал свое неспешное патрулирование, разгуливая вдоль железной ограды.

Американист попытался повернуть ручку в железной калитке, но она не поддавалась и дверь не открылась, и вдруг из ниоткуда, из окружающего воздуха раздался молодой мужской русский голос: «Нажмите кнопку и назовите себя!» Он понял, что меры предосторожности усилились за время его отсутствия, и, поискав глазами, нашел кнопку и микрофон, прикрепленный к железному косяку калитки. «Открывайте!» — приказал

невидимый голос, когда он назвал фамилию и должность, и одновременно послышался резкий звук зуммера, и на этот раз ручка и железная дверь поддались под рукой.

Теперь, пройдя с десятков шагов через крошечный дворик, где разбито подобие газона и образом родины застенчиво белеют несколько слабо привившихся на чужой почве берез, он подошел к двери в само здание, которая тоже была закрыта, и снова взялся за ручку, и тогда раздался еще один зуммер, и тяжеленная дверь медленно и тяжело открылась. И сразу за дверью он увидел стену, вернее зеркало до потолка, разделенное на мелкие квадраты, и в этом зеркале - самого себя и еще одну дверь, которая без зуммера отворилась в знакомый ему посольский вестибюль, и он не успел толком рассмотреть новое, без него появившееся помещенье между первой дверью и зеркальной стеной, в котором, упрятанный и защищенный, сидел дежурный дипломат, занимающийся не своими, а иностранными посетителями.

В дальнем конце знакомого вестибюля, в котором он очутился, пройдя через калитку и две двери, слева от лестницы, покрытой красным ковром и изгибом поднимающейся в приемные залы второго этажа, сидел уже не дежурный комендант шестидесятых или начала семидесятых годов, одетый в обыкновенный гражданский костюм, а молодой подтянутый прапорщик в форме пограничника. Вернее, прапорщик не сидел, как, бывало, комендант, а стоял наготове за большой полукруглой, высотой по грудь конторкой. Конторка, как увидел подошедший к пей и давший паспорт на проверку Американист, была технически богато оснащена и, надо думать, укреплена на манер бастиона. Стены не были помехой зоркому, всевидящему взгляду пограничника. На полудюжине маленьких экранов внутреннего телевидения мерцали перед ним железная калитка в посольской ограде, вход в пристройку, где были служебные помещения советников по прессе и культуре и другие важные с точки зрения присмотра участки передней, задней и боковых стен здания. Как раз этот молодой парень в форме и фуражке и видел его стоящим у калитки, спрашивал, нажимал кнопки, дистанционно управляющие дверьми. А зеркало при входе было с секретом — теперь, очутившись с другой его стороны, Американист видел вовсе не зеркало, а как бы прозрачную стену и сквозь нее тех, кто вслед за ним вошел в дверь и стоял теперь перед тем, что оттуда, с той стороны, казалось всего лишь обычным зеркалом.

В шестидесятые годы, помнил он, железной ограды не было, не было, конечно, и всего остального — дистанционных дверей,

чудо-зеркала, внутреннего телевидения и пограничника в форме. Не было, странно подумать, даже полицейского, охраняющего посольство. Впрочем, тогда и думалось по-иному. Как ни странно, почти не опасались террористических актов, взрывов, вооруженных провокаций. Однажды ночью в середине шестидесятых годов громыхнуло: кто-то подбросил завернутую в газету взрывчатку к фасадному углу посольского особняка. Пострадал кабинет советника-посланника: вылетели стекла, покорежило мебель. Такие были немыслимо беспечные времена, что кабинет заместителя посла размещался на первом этаже и выходил на улицу. Как любой другой дом на Шестнадцатой улице, посольство ничем не ограждало себя, кроме разве что узенького газона.

А потом по миру пошли волны терроризма, левого и правого. Угоняли и взрывали самолеты, по почте посылали бандероли с пластиковыми бомбами, принялись похищать и убивать генералов и министров и даже захватывать посольства.

Большая часть советской колонии в Вашингтоне жила теперь в изолированном, охраняемом пограничниками комплексе — в принадлежащих посольству, недавно выстроенных жилых домах неподалеку от Джорджтауна, в хорошем тихом районе несколько в стороне от Висконсин-авеню. Переговоры об этой новой большой территории, как почти все переговоры с американцами, велись долго, трудно, но завершились соглашением о своеобразном обмене — посольство США в Москве тоже получало большой участок земли недалеко от нынешнего своего местонахождения, на задах высотного здания на площади Восстания. Взаимность скрупулезно синхронизируют во времени, и хотя новое здание нашего посольства в Вашингтоне уже стоит на территории комплекса, переехать в него можно лишь одновременно с переездом американцев в их новое посольство в Москве. Но жилая часть комплекса уже была заселена, и там сам собою уже возник быт московских дворов — с детьми, играющими в песочницах, и с мамами, которые, собравшись вместе, судачат о покупках и новостях.

Территориально наш быт посреди американской столицы строго ограничен. На въезде в комплекс — шлагбаум, которым на расстоянии управляет дежурный пограничник, сидящий в высоком бетонном бастионе.

Вашингтон и вся Америка лежат по другую сторону шлагбаума.

Во избежание провокаций и разных неприятностей женщины за территорию комплекса не выпускаются в одиночку. Даже за

картонкой молока или коробочкой аспирина.

В отличие от озабоченного посла группа попутчиков ученых, с которыми Американист второпях расстался в нью-йоркском аэропорту Ла Гардиа, была веселой и беззаботной, как бывают веселы и беззаботны командированные люди, удачно поработавшие, выполнившие задание, сделавшие все, что положено, и перед возвращением в Москву получившие право на отдых и разрешенные заграничные удовольствия. Они пришли в гости к одному патпему дипломату, седому и красивому мужчине. Жена дипломата, энергичная привлекательная дама, оставив стол холодными и горячими закусками, потчевала гостей. С тарелками и стаканами в руках компания расположилась полукругом у телеэкрана. Был день, вернее, вечер дня выборов, и телекомментаторы во все возрастающем темпе освещали их ход и первые итоги.

В восьмом часу вечера с избирательных участков уже поступили первые фактические подсчеты. На их основе делались электронные прогнозы. Как бы перескакивая из штата в штат и из города в город на больших картах- схемах, комментаторы, ссылаясь на компьютеры, предсказывали итоги и одного за другим уже провозглашали победителей среди сенаторов, конгрессменов, губернаторов и мэров.

Для Американиста, тоже гостя приветливой четы, это были девятые по счету американские выборы, и с неожиданной ностальгией он отмечал про себя, что самый уважаемый им, поистине легендарный телеведущий компании Си-Би-Эс Уолтер Кронкайт уступил свое место напористому Дэну Разеру, к которому трудно было с ходу привыкнуть. Не без удовольствия от превосходства своих знаний он разъяснял ученым-москвичам непонятные термины телевизионной скороговорки — и снова завидовал их веселому артельному духу и тому, что, разом сделав дело, они возвращаются домой. А для него эта суматошная election night, ночь выборов, была той работой, ради которой он прилетел в Вашингтон, а не просто любопытным, диковинным зрелищем.

Он ушел раньше других и пешком вернулся к себе, в Айрин-хауз. На Уиллард-авеню, как всегда в этот час, было темно и безлюдно, но в высоких больших домах, всюду горел свет: перед своими телевизорами жильцы следили за увлекательным и сумасшедшим ритуалом американской демократии.

Уже один, он допоздна сидел перед телевизором, заноса в блокнот цифры и факты из продолжавшихся репортажей. На

следующее утро дополнял их сведениями газет, которые, однако, не успели дать полные итоги, и снова сидел у телевизора. Писал, зная, что газете нужно от силы пять страниц, пил чай, нервничал. В одинокой работе прошел день, и за окном вечер сменился ночью. Вопреки договоренности Москва не вызвала его в два часа. Он дремал, и в дреме все боялся, что Москву вообще не дадут, что про него забыли и что труд его пропадет. Но в четвертом часу звонок раздался.

Слышимость была хорошей, и он быстро отдиктовал свою корреспонденцию. Потом соединился с редактором отдела и сообщил, что передал, как уславливались, об итогах выборов примерно шесть страничек. Спросил у стенографистки Зины, какая погода в Москве, и положил трубку.

Итак, промежуточные выборы пришли и прошли, и он осветил их, причем оценки и предсказания его первой, до выборов, корреспонденции, в общем оправдались.

Теперь он мог быть доволен собой, испытывал чувство облегчения работника, сделавшего срочную, неотложную работу. Хотелось встряхнуться и расслабиться в дружеском кругу, но была ночь и пустая квартира и единственное общество - ночные программы телевидения

Он не сразу уснул. Лежал в темноте и перебирал в памяти строчки своей корреспонденции, которая исчерканными листочками осталась на столе в его кабинете, и уже была на столе редактора в Москве, и шла в набор, и к тому времени, когда он, одинокий, проснется в доме, нависшем над дачным Сомерсетом, уже будет размножена в миллионах экземпляров и разойдется по всей огромной родной стране, по которой он, Американист, увы, ездил меньше, чем по Америке.

Между тем это была деловая корреспонденция и слова ее мало что говорили уму и сердцу читателя.

В минувший вторник американцы пережили еще один день выборов и еще один вечер и ночь перед телеэкранами, на которых команды трех главных телекорпораций сражались за внимание зрителей не менее рьяно, чем кандидаты двух партий за голоса избирателей — так начинал он свою корреспонденцию.— К тому же это была еще одна битва компьютеров, разыгранная по законам американского политического цирка с присущими ему головокружительными скоростями. Компьютеры телекомпаний обгоняли компьютеры, подключенные к избирательным участкам, пытаясь определить результаты тогда, когда не

проголосовала, и десятая часть избирателей. Кстати, двое из каждых трех американцев вообще предпочли уклониться от голосования, очевидно, не находя в нем смысла. Как сообщают, в выборах приняло участие лишь тридцать девять процентов граждан, имеющих право голоса. Поразительно? Нет. Обычный и привычный факт, хотя компьютеры обошли его вниманием, а здешние наблюдатели упомянули мимоходом.

Сейчас они заняты другим — превращением арифметики итогов в алгебру оценок и прогнозов. Сначала об арифметике. Республиканцы, то есть партия президента, потеряли двадцать шесть мест в палате представителей. В конгрессе нового созыва им будет принадлежать сто шестьдесят шесть мест (вместо ста девяноста двух нынешних). Демократы упрочили в палате свои позиции партии большинства, завоевав двести шестьдесят восемь мест. Если палата представителей избиралась вся, то в сенате решалась судьба тридцати трех мест из ста. Раскладка по партиям осталась неизменной: пятьдесят четыре республиканца против сорока шести демократов. Избирались также губернаторы в тридцати шести из пятидесяти штатов. Демократы в дополнение к имеющимся выиграли еще семь кресел. Теперь они губернаторствуют в тридцати шести штатах, а республиканцы — в четырнадцати.

Переходя к оценкам и прогнозам,— писал далее Американист, — здесь прежде всего толкуют о потерях республиканцев в палате представителей. Президент Рейган, делая хорошую мину при плохой игре, заявил вчера, что «очень доволен результатами» и что именно это он и предвидел, считая вполне приемлемой потерю семнадцати — двадцати семи мест. По-другому рассудил спикер палаты представителей демократ Томас О'Нил. «Это сокрушительное поражение для президента», — сказал он. Большинство обозревателей тоже говорят о поражении республиканцев и лично Рейгана, однако не считают его сокрушительным. По их мнению, избиратель всего лишь послал президенту «предупредительный сигнал»: он встревожен такими последствиями «рейганомии», как небывало высокая безработица, продолжающийся экономический спад, наступление на социальные программы.

«Так держать!» — эту линию защищал Рональд Рейган, агитируя за свою экономическую программу и за верных людей. Избиратель не внял призыву, прокатил многих «роботов Рейгана» (так зовут здесь ультраконсерваторов, попавших в 1980 году в конгресс на победоносной волне Рейгана и рейганизма).

Два года назад, получив большинство в сенате, республиканцы

мечтали о большинстве и в палате представителей — стать неоспоримой партией большинства, то есть поменяться местами с демократами, давно преобладающими на Капитолийском холме. Мечта связывалась с эрой консерватизма, которую олицетворял Рейган. По случилось по-другому. Это означает, пожалуй, что наступление консерватизма рейгановского типа иссякло. Такой вывод, однако, следует делать осторожно, с оговорками. Демократы дезорганизованы, иначе поражение республиканцев-консерваторов было бы сильнее. Сыграло свою роль и то, что республиканцы истратили на обработку избирателей в пять-шесть раз больше денег, чем демократы.

Выборные должности, мягко говоря, никогда не были в Америке правом или привилегией бедняков. Но никогда еще не было такого откровенного состязания миллионеров. Время — деньги, особенно время на телевидении, покупаемое для политической рекламы. А где их взять? Не вопрос для некоторых кандидатов. Некий Льюис Лерман, экстравагантный джентльмен, появившийся перед избирателями не иначе как в широких красных подтяжках без пиджака, из собственного кармана выложил восемь миллионов долларов, баллотируясь от республиканцев в губернаторы штата Нью-Йорк. Правда, и за эту сумму избиратель не купил консервативные взгляды Лермана.

Так держать? Между тем американцы требуют корректировки курса. В этом главный результат выборов. Такие лидеры демократов, как Эдвард Кеннеди, вновь переизбранный в сенат, как сенатор Джон Гленн и бывший вице-президент Уолтер Мондейл, говорят сейчас о необходимости «перемен в экономической политике».

Администрация Рейгана не может больше рассчитывать на новые легкие победы «консервативной революции» на Капитолийском холме. Уже сейчас поговаривают о возможных столкновениях по двум вопросам — социального обеспечения и военных расходов. Новый конгресс, видимо, будет менее сговорчивым, настаивая на сохранении программ помощи нуждающимся и на сокращении гигантской дани Пентагону. Но представители администрации утверждают, что в деле раздувания военных расходов она останется верна лозунгу «Так держать!»...

Перед выборами, о которых Американист писал в своде газету, и после выборов, прежде чем они забылись — а забылись они очень быстро, — кандидатами, обозревателями, всякого

рода политиками и наблюдателями (и меньше всего самими избирателями) были сказаны и написаны, наверное, триллионы избыточных слов. Американист прочитал и услышал ничтожную их часть, но и ее оказалось более чем достаточно, чтобы оценить ситуацию. Его оценки перекликались с оценками известных американских обозревателей, в основном либерального направления. Либералы, будучи критиками Рейгана, больше обнадеживали — и лучше годились для цитат.

В редакционной статье влиятельная газета либерального оттенка выражала свою радость: «Либерал — это слово перестало быть ругательным... Теперь внимательно следите за маятником — он качнулся в сторону центра. Многие умеренные и консервативные республиканцы понесли поражение от своих более либеральных соперников, но труднее найти тех, кто проиграл более консервативным соперникам. Нападки на либералов стали занятием для неудачников».

Такие мнения распространялись сразу после выборов, пока рядовой американец да и политические наблюдатели не забыли о них из-за новых событий.

Что означало это колебание маятника, это движение избирателя к политическому центру с той точки зрения, которая в американских выборах не отвлеченно, а практически интересует нас — с точки зрения наших отношений с этой державой и, соответственно, перспектив мира и войны? Ровным счетом — ничего. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Надо было еще присмотреться к деятельности обновленного конгресса и к тактике администрации Рейгана, к тому, как расшифрует она «сигналы» избирателя и как переведет их на язык действий...

Одна деталь, не имеющая отношения к этим рассуждениям и предположениям, особенно поразила Американиста своей скрытой иронией и как яркая иллюстрация изменчивости и прагматичности, господствующей в американской политической жизни. На юге, в штате Алабама, губернатором — в четвертый раз — был избран Джордж Уоллес. В свое время Джордж Уоллес был известнейшим символом американского расизма. В 1963 году в Бирмингеме этот алабамский губернатор напустил полицейских с овчарками и пожарников с брандспойтами на негров, добившихся десегрегации кафетериев и ресторанов. Обличительные фотоснимки обошли тогда все американские и мировые газеты. В 1972 году Джордж Уоллес предпринял попытку баллотироваться в Белый дом как независимый кандидат, апеллирующий к расистским взглядам американского

обывателя, и на предвыборном митинге в городке Лорел, под Вашингтоном, его тяжело ранил полусумасшедший юнец, решивший прославиться таким, чисто американским, скандальным способом. Уоллес выбыл из игры, был парализован до пояса, по, упорный человек, он сохранил волю к жизни и продолжению карьеры. И вот, уже пожилой, в инвалидной коляске, снова был избран губернатором штата Алабама. Но даже не в этом была сенсация, а в том, что избран он с помощью негритянских голосов. И газеты писали, что именно Джордж Уоллес воплотил «последнюю великую мечту» Мартина Лютера Кинга — об избирательной коалиции белых и черных бедняков.

Они были непримиримые противники — великий поборник равенства и живой символ расовой сегрегации. И вот через полтора десятка лет после убийства Кинга негры отдают Уоллесу свои голоса. Поистине все течет и все изменяется — и американский прагматик из расиста превращается в защитника и опекуна обездоленных чернокожих, если только такое превращение дает ему силу удержаться на поверхности успеха.

«Америкой легко удивляться и возмущаться, — на досуге, остывая от возбуждения выборов, записывал Американист в своей тетради. — Ее практицизм, ее рациональность могут быть выше всякой фантастики, и вот пример из сегодняшней «Нью-Йорк таймс». Газета сообщает о том, что предлагается новый способ базирования межконтинентальных баллистических ракет МХ — так называемой «плотной пачкой», или «компактной упаковкой». «Ракетному полю», то есть местности, где предполагается развернуть ракеты, придается форма не треугольной трапеции, как рекомендовалось раньше, а прямоугольника восьми миль длиной и одной мили шириной. Сто ракет МХ, по этому плану, в своих подземных шахтах будут находиться довольно близко друг от друга, как сигареты в пачке. В случае ядерной атаки, ставящей целью уничтожение этого «ракетного поля», ракеты противника по неизбежности будут взрываться так близко друг от друга, что произойдет «ракетное братоубийство», то есть взрывами первых нападающих ракет будут уничтожены ракеты, следующие за ними.

Ничего себе выраженьице — «ракетное братоубийство»?

И тут же второе сообщение,— писал Американист в тетради,— которое показывает, что американцев нисколько не смущает и не стесняет своего рода публичный отказ от традиционных представлений о добре и зле, если он помогает делать

деньги. Автомобильному магнату Джону де Лорину, этому последнему по счету воплощению Американской Мечты о деньгах и славе, арестованному за торговлю наркотиками и только что выпущенному под залог в десять миллионов долларов, из Голливуда предлагают продать своего рода авторские права на создание кинофильма о его жизни. В случае согласия обещают миллионы. Не добро или зло важны, а удача или неудача. Де Лорин стал легендарным человеком, потому что его история — это история фантастического удачника, который воплотил мечту о миллионах и — рухнул, как американский Икар, поднявшийся на своих восковых крыльях опасно близко к американскому солнцу — доллару. На такую киномелодраму, сделай ее со слезой, повалят толпы».

Железная решетчатая калитка в середине железной решетчатой ограды, и железные ворота по бокам для въезжающих и выезжающих автомобилей, и парадная дверь в здание посольства были распахнуты настежь. И само здание ярче всех светилось огнями в ранних сумерках улицы, опустевшей по окончании рабочего дня. Нарядные дамы под руку с приодетыми мужчинами входили через раскрытые двери в светлый праздничный вестибюль, и у них был вид гостей, настроившихся на то, чтобы хорошо и весело провести время. Слева в вестибюле были установлены легкие вешалки; сдав плащи и пальто, гости присоединялись к длинной очереди, начинавшейся возле лестницы под красным ковром. Очередь уходила на второй этаж к главному парадному залу посольства, прозванному Золотым из-за позолоченных лепных украшений. Там, приветствуя гостей, высился улыбающийся посол и рядом с ним стояли военные атташе посольства, в парадной форме трех родов войск, с орденами и медалями на груди.

Несущий охрану прапорщик, как всегда, находился на своем месте, за полукруглым сооружением в вестибюле, но в этот вечер открытых дверей он не замечался, оа безопасность отвечали сотрудники, стоявшие у входа. Они были любезны и предупредительны, но~ на их лицах сохранялось выражение, бывающее у людей, которым по долгу службы приходится работать и в праздник. У гостей деликатно проверялись приглашения, разосланные от имени посла.

Это был самый главный в году прием в посольстве, по случаю нашего национального праздника — годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. Торжественные слова золотым тиснением английских букв были напечатаны на приглашениях посла. Большинство пришедших дам и

мужчин, живя в столице другой страны и другого мира, не разделяли идей коммунистического преобразования земли. И в советское посольство, приняв приглашение, они пришли не для того, чтобы вместе с нами отпраздновать годовщину великой революции, радикально изменившей Россию и давшей мощный толчок развитию мировой истории, а для того, чтобы поздравить с национальным праздником посла и других представителей великой державы, признавая ее место в мире и важность поддержания с ней нормальных отношений.

Многие из гостей были в Вашингтоне постранцами, главами или сотрудниками посольств других стран. Многих из гостей-американцев связывали с нашей страной разные деловые узы, тот или иной практический интерес. В приходе некоторых из американцев содержался как бы вызов их правительству или некое извинение перед советскими дипломатами за его поведение и нежелание понять, что в этом тесном мире, даже находясь на разных континентах и политических полюсах, мы все равно живем бок о бок друг с другом и потому должны вести себя общительнее и благоразумнее. Наконец, были среди гостей, хотя и в небольшом числе, стойкие друзья Советского Союза, американские коммунисты, руководители прогрессивных и антивоенных организаций — их было немного еще и потому, что по большей части эти организации действуют в Нью-Йорке и приглашаются на ноябрьский прием Советским представительством при ООН.

Череда поднимающихся по лестнице еще не иссякла, а в трех залах второго этажа уже тесно было у столов с закусками и возле баров по углам, где ловко орудовали стаканами, бутылками и ведерками со льдом нанятые на вечер американские бармены вкуче с нашими помощниками, пополнявшими запасы прохладительных напитков и спиртного, прежде всего русской водки. Народу, на удивление, собралось видимо-невидимо. Чтобы протиснуться к старому знакомому, с которым последний раз виделся несколько лет назад на таком же приеме, нужно было применить испытанные приемы пассажира московского троллейбуса в час пик.

Как водится, были на приеме репортеры светской хроники, а также фоторепортеры. По их настоянию посол позировал в Золотом зале, стоя у самого большого стола перед шедевром посольских поваров — искусственными розами из овощей. Потом оригинальный натюрморт исчез в желудках гостей, но еще раньше исчезла, конечно, знаменитая русская икра. В залах стоял слитный гул — смех, говор, позвякивание вилок, треньканье кусочков льда в стаканах смешалось воедино. Из

массы людей заметнее всех выделялись военные атташе разных стран своей национальной формой, орденскими колодками и голубенькими пластиковыми полосками на груди, которыми для опознания снабдили их американские власти.

Как в любом таком собрании, всех объединял интерес к людям высокопоставленным, так или иначе знаменитым или по меньшей мере оригинально выглядящим. Высокопоставленных должностных лиц среди американцев почти не было. По рекомендации государственного департамента они бойкотировали советский прием. Регистраторы политической погоды отмечали многозначительное отсутствие министров, сенаторов, помощников президента.

Был один невесть откуда взявшийся оригинал, пожилой разговорчивый и веселый американец, который передвигался в инвалидной коляске, пробивая себе дорогу так ловко и непринужденно, будто и не было необычайно плотной толпы. У веселого инвалида сразу появились поклонницы и помощницы из числа посольских женщин, удивлявшихся этому американскому свойству — отсутствию стеснения от своей физической неполноценности и всеобщего внимания к его коляске.

Был еще один оригинал, не такой заметный, профессор-американец, похожий на молодого Горького и культивирующий это сходство; житель Нью-Йорка, он увлекся произведениями русского писателя, дивился, как и» ходят горьковские босяки на обитателей дна нью-йоркского, и стал пропагандистом Горького, чтецом-декламатором.

Был ко времени оказавшийся в США советский киноактер, играющий обычно прославленных героев и государственных деятелей, и от него не отходили посольские сотрудники, желающие не пропустить случая и сфотографироваться на память со знаменитостью. И была проездом одна наша молоденькая киноактриса, ее имя называлось так, как будто все его знали, а Американист слышал его впервые, из чего заключил, что на киноэкране эта звезда возшла тогда, когда он жил за границей и наблюдал другие звезды.

В людском столпотворении выделялся также один бывший видный сенатор, демократ либерального направления. Своим здравым смыслом и широтой подхода к американо-советским отношениям он отличался от многих коллег и одно время подавал надежды, будучи председателем влиятельной сенатской комиссии по иностранным делам. Но перед прошлыми выборами в его штате накатил на него консервативный

девятый вал, и либерал, побоявшись утонуть, вдруг возглавил на Капитолийском холме шумную кампанию за вывод с Кубы несуществующей «советской бригады». Но это его не спасло. Маленький провинциальный штат, прославившийся сортом картофеля, подаваемого к американским бифштексам — стейкам, променял своего просвещенного либерала на ястреба-консерватора. Все еще моложавый, высокий и видный, с живописной прической красиво седеющих волос и неестественно прямой, будто затянутый в корсет, экс-сенатор стоял теперь в толпе на приеме, кинув голову, и так, с откинутой назад головой, протягивал подходившим руку для приветствия; как будто в этой позе легче переносилось политическое небытие.

В праздном гуле и веселой сутолоке шла между тем большая работа установления и поддержания знакомств, обмена мнениями, проверки, перепроверки и сбора политической информации...

Когда часы приема, указанные в приглашениях, истекли, гости еще не разошлись, толпа редела медленно. Прodelав большую работу дипломатического приема, наши люди по обычаю хотели остаться одни, чтобы среди своих отметить свой праздник на кусочке своей территории, где они живут своей жизнью в окружении жизни чужой и все чаще выказывавшей враждебность. Намеком задержавшимся гостям начали гасить свет в зале — ждали, когда все посторонние уйдут и посол среди своих провозгласит здравицу родной земле и родному народу...

Когда Американист — в самом конце — уходил из посольства, железная калитка вновь была заперта и на резком ветру одиноко поживался полицейский. Стоящие у обочины машины холодно поблескивали в свете уличных фонарей. На Шестнадцатой снова было тихо и пусто. Порывами налетал осенний ветер.

На следующий день главная вашингтонская газета в разделе светской хроники поместила фотоснимок улыбающегося советского посла с улыбающимся французским послом. Жена француза стояла рядом и тоже улыбалась. Репортер писал о наплыве гостей и о том, что высокопоставленные лица на советские приглашения ответили сожалениями, сожалениями, то есть отказом прийти. Трижды повторенное слово газета вынесла и в заголовок.

«Толпа заполнила торжественные залы, декорированные золочеными листьями, и с аппетитом угощалась,— писал

репортер.— Два огромных стола ломились от икры, пирожков с мясом, салатов, сосисок и затейливых русских закусок. И, разумеется, от русской водки. «Я слышала,— шепнула одна гостя другой, пробиваясь к столу,— что икру сразу разбирают и больше не приносят».

«И ее разобрали сразу и больше не принесли» — так заканчивался этот репортаж. Его стоило прочитать, чтобы понять, какими холодными глазами посмотрели на советский прием и репортер, и пославшая его редакция.

Важнейший показатель работы корреспондента — урожай информации и впечатлений, собираемый каждые сутки. Время Американиста в Америке целиком принадлежало редакции, и низкие урожаи угнетали его.

Он знал, что лучший способ уплотнить время и еду, лать его продуктивным — это передвижение, путешествие. Надо пропустить время через пространство.

Да, он стал тяжел на подъем и уже готов был согласиться с неожиданной для нашего века мыслью, высказанной одним уважаемым писателем: путешествие — не занятие для серьезного человека. Серьезные люди писали преимущественно о том, что знали и видели вокруг себя, в родных местах. Но международнику и профессия не давала сидеть на месте.

Еще американское посольство в Москве затребовало его предполагаемый маршрут, и он включил в анкету Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чарлстон и Нью-Йорк.

С Нью-Йорком даже при желании не разминуться, когда летишь в Соединенные Штаты из Европы.

Сан-Франциско, как убедил себя Американист,— самый милый и симпатичный из американских городов. И там есть точка опоры — советское генконсульство.

Лос-Анджелес бурно растет и год за годом исподволь отнимает у Нью-Йорка роль главных ворот в Соединенные Штаты и нового многоязычного Вавилона, а заодно и нового Иерусалима — родины новых американских религий и поветрий. К тому же из окрестностей Лос-Анджелеса проделали свой путь в Вашингтон двое из семи президентов второй половины XX века — Ричард Никсон и Рональд Рейган.

Ну, а Чарлстон? Всего лишь безвестный главный город маленького штата Западная Вирджиния. Американиста тянули знакомые места. Он бывал в Чарлстоне и поддерживал приятельские отношения с одним тамошним издателем.

Издатель был готов помочь, не требуя взаимности. А штат Западная Вирджиния стал для Американиста примером американской глубинки, людей от земли и из-под земли, шахтеров. Там он хотел бы еще раз пощупать пульс обыкновенной народной жизни, вне большой политики и ее хлестких, но все-таки поверхностных журналистских отражений.

Хотя, с другой стороны, разве не мог он с таким же успехом прощупать этот пульс, к примеру, в десятке блоков от советского посольства, на Четырнадцатой стрит, где кучки молодых небритых негров с красными глазами толкались возле вонючих дешевых баров, бросая на спешившие мимо автомашины с белыми людьми хмурые взгляды отверженных? И на Лафайет-сквер, в приближавшийся День благодарения, голодные и бездомные встанут в очередь за бесплатным куском индейки у кухонь благотворительных организаций, бормоча слова не благодарности, а проклятия обществу и человеку, живущему и работающему тут же, через дорогу в идиллически белом Белом доме, который выглядит таким доступно простым через реденькую решеточку ограды.

В конце концов разве нельзя анатомировать Время, Место и Американскую Нацию, взяв лишь одного человека и его жизнь или всего нескольких человек, чем, собственно, и занимаются, пренебрегая путешествиями, усидчивые серьезные люди. Но наш журналист вместе с собратьями по профессии предпочитал метод экстенсивной обработки. И его звала дорога.

Теперь уже не американское посольство в Москве, а советский отдел госдепартамента предлагал ему определиться поконкретнее: куда, когда и каким видом транспорта? И после того, как консульский отдел советского посольства отправил нужное уведомление в госдепартамент, оттуда запросили дополнительно: каким рейсом какой авиакомпании? Это было новшество, еще одна строгость.

И сразу после праздников коллега отвез Американиста в аэропорт имени Даллеса. Был ноябрьский, но все-таки южный вечер. В чистом небе ровно горел закат. На его фоне чернел силуэт контрольной башни, похожий на олимпийский факел. Крыша аэровокзала напоминала крыло и при попутном ветре, казалось, могла воспарить в небо вместе с самолетами.

Среди других пассажиров Американист попал сначала в специальный автобус, у которого корпус поднимался или опускался до нужной высоты, когда он подъезжал к аэровокзалу или к люку самолета. Автобус высадил их в чрево широкофюзеляжного

лайнера компании «Транс Уорлд Эрлайнз», сокращенно — Ти-Даблю-Эй.

И в герметически закупоренном чреве они поднялись на гигантских крыльях в небо и погнались вслед за солнцем с востока на запад, продляя уходящий день. Но на пути длиной примерно в четыре тысячи километров солнца они так и не догнали; оно умчалось к Тихому океану, чтобы открыть там новый день, а их накрыли сумерки и тьма, и за двойным стеклом иллюминатора встала лишенная национальных признаков ночь, которую не отличишь от стратосферной ночи в любой другой стране.

Из новых самолетов-гигантов по распространенности на американских авиалиниях «Ди-Си-10» занимает второе место после «Боинга-747». Когда французы и англичане работали над «Конкордом», а мы — над «Ту-144», американские авиастроители сделали ставку не на сверхзвуковую скорость, а на большую вместимость и выиграла, первыми создав широкофюзеляжные воздушные корабли. Они учли такие важные вещи, как экономия горючего и психология пассажира, который еще вполне может обходиться дозвуковой скоростью.

Американист и раньше летал «Ди-Си-10», но был заново поражен габаритами этой машины. Потолок был высокий, как в довоенной квартире, в ширину каждый ряд вмещал по девять кресел — пять в центре и по два по бокам. После обычной самолетной тесноты это пространство казалось излишним, впустую пропадающим. К тому же пассажиров было мало, и Американист выбрал хорошее место у окошка, положив портфель на соседнее свободное кресло.

Полет через континент длился пять часов, и, чтобы скоротать время, после ужина в салоне притушили свет, развернули небольшой экран и тут же заселили его персонажами пустенькой кинокомедии.

Американист пренебрег фильмом и даже не приглядывался к пассажирам. Он провел в Штатах две недели и перестал так же жадно впитывать впечатления и классифицировать американцев, как в первые часы монреальского пролога в аэропорту Дорвал. Кроме того, днем и ночью с востока на запад и с запада на восток он совершал раньше такие перелеты над североамериканским континентом — и все это вроде бы описал: быстрых стюардесс в домашних передничках, пассажиров, пустые кинокомедии, которые уже лет двадцать крутят в воздухе над Америкой. Отработанная тема. Непрофессиональная, чисто человеческая любознательность с годами притупилась,

уступила место целенаправленному интересу. Он теперь замечал лишь то, что годилось для дела, работы. Работа сузила его, лишила натуральной зоркости людей, которые не писали в газету.

В полете он нашел себе занятие, связанное с работой. В его портфеле лежал номер бостонского ежемесячника «Атлантик». Типичная корреспондентская пицца состоит из газет и еженедельников. На американские ежемесячники, где художественная литература соседствует с политическими репортажами и очерками, обычно не хватает времени. Журналу «Атлантик» исполнилось 125 лет, о чем сообщалось юбилейными цифрами на голубовато-серебристой обложке. Но не почтенная дата побудила Американиста купить свежий номер в киоске аэропорта. Он вспомнил, что кто-то из его вашингтонских собеседников настоятельно рекомендовал одну интересную статью именно в этом номере. Он раскрыл журнал и нашел рекомендованную статью.

Статья принадлежала перу некоего Томаса Пауэрса и называлась — «Выбирая стратегию для третьей мировой войны». Жуткая деловитость заголовка заставила поначалу заподозрить нечто сухое и несъедобное, наукообразное, ни уму ни сердцу. Вчитавшись в статью, Американист понял, что ошибся. Нет, незнакомый ему Томас Пауэрс не принадлежал к бесчувственным псевдоолимпийцам из политических профессоров, которые любят одарять простых смертных своей заумной мудростью. Обнажая ужасные реалии наших дней, которые люди гонят прочь, чтобы не отравлять себе жизнь, статья влекла магией страшной правды, дышала потаенной страстью.

Разумеется, это была не славянская, откровенно и взволнованно выражающая себя страсть, а англосаксонская, скрытая, обжигавшая, как сухой лед. Страсть прикидывалась всего лишь журналистской дотошностью — сведения из первых рук от военных и штатских генералов, от ядерных плановиков и стратегов, описание президентских секретных меморандумов и директив, множество фактов. Всплески литературных образов и эмоциональных деталей были редки и скупы, но вместе с фактами хорошо работали на замысел автора, который состоял в том, чтобы дать картину инерционного хода слепой и чудовищной военной машины, которая как бы и не подчинялась человеческой воле, вышла из повиновения у своих создателей и неотвратимо подвигалась к ядерной пропасти.

Такие откровения ядерными грибами выростали на юбилейных

страницах журнала «Атлантик» — кто мог их предвидеть сто двадцать пять лет назад?

Жуткое чтение затягивало, и, отрываясь от статьи, оглядываясь вокруг, Американист по-иному, не в обыденном, а как бы в философском, историческом плане, воспринимал приглушенный рев двигателей, мерцание на экране человеческих фигурок, домов, деревьев, машин и лица своих попутчиков, которые тянулись к экрану.

Они случайно оказались вместе, чтобы в летающем металлическом теле за несколько часов пересечь в темном ледяном небе целый континент. Каждый из этих американцев нёс в себе свою историю, начинавшуюся с истории его предков, и вместе эти истории образовывали часть истории их нации. На ее движение с востока на запад, на покорение и освоение нового континента ушли не часы, а столетия. Великие усилия покорили его, великое мужество — и великая жестокость, на которую способны люди, стремясь к своему богатству, довольству и счастью и в сознании своего права и превосходства истребляя других людей, представлявших препятствия на их пути. И вот континент был покорен и внизу, под крыльями самолета, каждая минута их скоростного передвижения оставляла позади не только полтора десятка километров равнин и гор, ферм или городов, но и немыслимые, не поддающиеся никакому, даже самому гениальному, описанию сгустки, пласты, клубки жизни миллионов людей великой, богатой, многообразной страны. Движение истории продолжалось, и те дрожжи, на которых поднялся этот новый, смелый, авантюрный народ, те характеры, которые заявили о себе в фургонах пионеров, продвигавшихся на Дальний Запад, сказывались теперь у тех, кто профессионально не исключал третьей мировой — ядерной — войны и выбирал для нее соответствующую национальной психологии стратегию.

В первые послевоенные годы ядерное оружие исчисляется всего лишь единицами и было чрезвычайно громоздким и неудобным для транспортировки. Первая американская водородная бомба, повествовал Томас Пауэрс, имела в диаметре более полутора метров, в длину — семь с половиной метров, весила двадцать одну тонну. Бомбардировщик, чтобы взять ее на борт и поднять в воздух, нуждался в увеличенном бомболоке, удлиненной взлетной полосе и усиленных двигателях. Первые образцы межконтинентальных баллистических ракет но отличались

точностью попадания, ложились за многие мили от цели, и поэтому отсутствие точности возмещалось чудовищным мегатоннажем их единственных боеголовок. Теперь это археология стремительно развивающегося ядерного века, первобытные неуклюжие пробы науки массового уничтожения. В нынешних ядерных боеголовках — современный дизайн и господство своеобразного вкуса — о да, вкус присущ и конструкции орудий массовой смерти. Изящный конусообразный боезаряд высотой всего лишь по пояс человеку, с угольночерной поверхностью и закругленной полированной вершинкой. Так невелик, что три-четыре штучки свободно войдут, предположим, в багажник легковой автомашины типа «универсал». Но в каждой таится двадцать три Хиросимы! Ракета МХ, новая любимица Пентагона, несет каждая по десять таких боеголовок, а точность их индивидуального наведения на цель такова, что в другом полушарии на расстоянии примерно в десять тысяч километров попадают они не просто в город и не просто в улицу этого города, избранную мишенью, а в нужный дом на нужной стороне этой улицы (отчего, правда, не легче — при двадцати трех Хиросимах — соседним улицам и домам).

Ядерные боезаряды, имеющиеся у Соединенных Штатов, исчисляются десятками тысяч. Ядерное сдерживание, то есть наличие такого арсенала ядерного оружия, который сдерживал бы противника и предотвращал возможность войны, на словах все еще считается основой американской стратегии, отмечал Томас Пауэрс, но теперь оно пропитано практической подготовкой к ядерной войне. Американские генералы, правда, щадят самолюбие и тщеславие американских ученых и политических стратегов, выдумывающих новые военные доктрины. Но на практике не политикам и доктринам, а генералам и прежде всего новым системам ядерного оружия принадлежит решающее слово. Изобретаются — не могут не изобретаться! — новые и новые, дьявольски изощренные ракеты и боеголовки, придумываются — не могут не придумываться! — под них все новые и новые военные доктрины, и в интересах практической целесообразности все чаще исходят они из возможности и допустимости ядерной войны. Не разомкнешь это колесо и не остановишь, и катится оно к ядерной бездне.

Подтекстом у Томаса Пауэрса шло отчаяние, крик души. Каждый из героев его эссе, генерал и политик, был разумен и рационален, каждый на своем месте всего лишь делал свое дело — добросовестно, умело и профессионально, по вместе, по совокупности своего труда они творили конец света. Вот о чем в отчаянии — и подтекстом — кричала его душа. Творцы апокалипсиса — это был бы по смыслу подходящий и вполне

деловой заголовок для его статьи-исследования.

Одним из примеров он приводил трансформацию бывшего президента Джимми Картера. В январе 1977 года Джимми Картер вселился в Белый дом с намерением несколько наивным, но искренним — остановить пугающий ход военной машины, прекратить наращивание и, более того, добиться сокращения ядерных arsenалов. На первой же встрече с членами комитета начальников штабов, пятеркой высших американских генералов и адмиралов, новый президент сказал им, что, на его взгляд, Соединенные Штаты могут обойтись всего лишь двумя сотнями единиц ядерного оружия, которых будет достаточно для ответного удара в случае ядерного нападения другой стороны. Тем самым он заявил себя сторонником минимального сдерживания.

Выслушав заявление нового главнокомандующего, начальники штабов лишились дара речи. Слова президента поразили людей, служащих мечу, а не оралу. Новый подход, кроме прочего, делал их ненужными людьми. Отказаться от тысяч и тысяч единиц ядерного оружия и удовлетвориться всего лишь двумя сотнями? Предложить такое высшим военным чинам, как саркастически сравнил Пауэрс, это все равно что предложить крупнейшим банкирам закрыть банки и раздать капиталы беднякам во имя торжества справедливости.

Можно ли перевоспитать президента? В таких случаях можно и даже должно. И началось перевоспитание — и самовоспитание — Джимми Картера. Помогли привычки бывшего инженера, любовь к деталям. Его предшественника Ричарда Никсона детали утомляли, даже детали ядерных сценариев, в которых с максимально возможной точностью представлялся ход и исход разных вариантов ядерного конфликта. На президента Никсона такие разработки нагоняли скуку, и, как ни уговаривали его, он ни разу не досидел до конца на сверхсекретных совещаниях в Белом доме, когда подробно разбирался Единый Объединенный Оперативный план, по которому утверждались главные и вспомогательные мишени для любого стратегического боезаряда в американском ядерном арсенале. Джимми Картер с его биографией военно-морского инженера-подводника хотел знать все. По его указанию проводили специальные учения аварийной эвакуации президента в случае начала ядерной войны. Он все хотел знать: как себя вести, каковы будут его обязанности главнокомандующего в этой чрезвычайной ситуации?

Однажды его помощник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, выступая в роли президента, внезапно объявил чрезвычайное положение и потребовал, чтобы его тотчас же эвакуировали из Белого дома. Началась паника и полная неразбериха. Застигнутые врасплох агенты секретной службы едва не обстреляли садившийся на лужайке Белого дома президентский вертолет, эвакуационная команда действовала из рук вон плохо, и вся операция заняла недопустимо много времени.

Президент сделал из этого все необходимые выводы. Он усердно репетировал роль самого себя в случае начала ядерной войны, изучил все сценарии. Разбудите его в любое время ночи, и он мгновенно ориентировался в обстановке, сохранял полную ясность, на все реагировал как должно, знал, что вот-вот услышит в телефонной трубке, как будет звучать голос на другом конце особого телефона и т. д.

И все эти свойства дотошного и охочего до деталей инженера способствовали сдвигу в оборонной политике президента Картера — в сторону практического планирования ядерной войны.

Картер вначале думал сократить ядерные арсеналы, но при его власти дела пошли по-другому. Подготовленный при нем первый доклад о состоянии американских стратегических сил исходил из того, что их больше, чем нужно. Доклад был отклонен министром обороны Гарольдом Брауном. Вместо этого появился доклад о политике выбора стратегических мишеней, из которого следовало, что количество и высокая точность современных ядерных вооружений сами по себе требуют разработки планов их «выборочного» и «ограниченного» использования. И в результате упор стали делать на то, что практически понадобится для ведения ядерной войны, исходя из ее допустимости и возможности. Третий и последний доклад обосновал необходимость новых огромных расходов на вооружения и на средства связи, необходимые для того, чтобы вести ядерную войну в течение ряда месяцев и даже лет..

Вот такие метаморфозы произошли, в описании Томаса Пауэрса, с Джимми Картером. Он начал с мечты ограничить и сократить ядерные вооружения. Но к концу своего президентства, побывав в ракетно-ядерных лабиринтах, вышел из них сторонником «ограниченной» ядерной войны и, по существу, усилил опасность катастрофы.

Рональд Рейган пришел не сокращать, а наращивать вооружения.

С самого начала. И детали, которые увлекли и совратили его предшественника, были для него ненужны и необязательны.

Томас Пауэрс сообщал, что в декабре 1947 года едва ли не единственной атомной мишенью американцев была Москва. Ей предназначали восемь бомб. Уже через пару лет план «Дропшот» предусматривал использование трехсот бомб против двухсот целей в ста индустриально-городских районах Советского Союза. Давняя история! В 1974 году пентагоновские плановики намечали на советской территории двадцать пять тысяч мишеней для ядерных ударов. К 1980 году — сорок тысяч! «Теперь все включено в этот список», — писал Пауэрс. И список «все еще растет».

Заглядывая в будущее, самое худшее из всех возможных, Пауэрс так заключал свое исследование: «Стратегические плановики не берутся в точности предсказать, как будет выглядеть мир после ядерной войны. Допустимо слишком много вариантов. Но, исходя из задачи планирования далекого будущего, они сходятся на том, что обе стороны в какой-то степени «восстановят» свои силы и что наиболее вероятным итогом всеобщей ядерной войны будет подготовка ко второй всеобщей ядерной войне. Следовательно, если рассуждать практически, всеобщая ядерная война отнюдь не покончит с ядерной угрозой. И если довоенный и послевоенный мир и будут в чем-то схожи, то скорее всего в том, что эта угроза войны сохранится».

Американист вынырнул из статьи, закрыл юбилейный журнал в серебристо-голубой обложке и убрал его в портфель — пригодится.

Проклятый век, отравляющий сегодняшний день кошмарами будущего!

Пассажиры все еще смотрели кинокомедию.

Американист вынул из портфеля тетрадь, записал:

«Фильм не смотрел, читал статью Томаса Пауэрса из «Атлантик». Спокойная и страшная. Один из главных моментов — новые виды оружия диктуют новую военную стратегию. Именно высокоточное оружие делает ядерную войну мыслимой и приближает ее. Что же дальше? Пауэрс не берется ответить на вопрос, который не по его силам (а по чьим он силам?). По мнению американских кабинетных стратегов, за первой ядерной войной начнется подготовка ко второй.

Военно-политические технократы и ястребы не только мыслят о неммыслимом, они хотят и сладить с неммыслимым, а именно — рационализировать ядерную войну,— записывал Американист.— В этом направлении и работает их мысль. Обыкновенный подход обыкновенных людей: ядерная война — это мрак, пред которым человек должен, наконец, остановиться, в который никоим образом не стоит углубляться. Вот где спасение — на роковом рубеже остановить движение мысли, работающей над изобретением все более ужасных орудий смерти. Хватит! Доработались! Дальше — бездна, в которой вместе с нами погибнут — не народятся — и грядущие поколения. Но этот подход обыкновенных людей, непрофессионалов, ядерные стратеги отвергают — как наивный, дилетантский, детский. Их мысль и тут, у последней черты, не останавливается. Нет, надо освоить и обжить этот мрак, научиться видеть сквозь него, не дрогнув перед катастрофой. Мрак пребудет с нами, тьма не скроется — вот в чем их леденящий и бесчеловечный реализм.

Практичный американец, — продолжал Американист,— перестанет быть практичным американцем, если не расчленит, не разложит на составные части мрак крошечный. При этом он может убедиться, ЧТО мрак еще страшнее, чем он думал, по зато это будет освоенный, обжитой мрак, мрак с ориентирами. Вот почему американский генерал готовится к сражениям ядерной войны, тем самым ее приближая. А наш? Что делать нашему, если американец готовится?»

Самолет все еще стремился к Сан-Франциско, и пассажиры убивали время, глядя на светящийся над спинками кресел экран, и на экране мелькали по-голливудски преображенные образы проплывавшей внизу во мраке родной им страны с ее вездесущими автомашинами и гладкими дорогами, с подстриженными зелеными газонами и живописными деревьями перед уютными домами с белыми ставнями, с улыбочивыми женщинами и мужчинами.

Американцы-попутчики не подозревали, что среди них сидит в сторонке у окошка русский, который по- другому убивал время.

Память уводила его в недавнее прошлое, уже подернутое туманом забвения, и он пробирался сквозь туман, пытаясь восстановить подробности. Нет, не сон. Это было. Было раннее, зябкое утро. На воде. Примерно в середине мая.

Ради предстоявшего события редакция расщедрилась на

специального корреспондента, и он прилетел в Вашингтон, куда еще пускали Аэрофлот и где Американист был еще собкором. Собкор повез спецкора в Бостон, к месту события. Они без происшествий, оставив в стороне Нью-Йорк, одолели шестьсот с лишним километров и лишь под конец, у самого Бостона, их задержал дорожный полицейский за превышение скорости. Но и полицейский отпустил их с богом и без штрафа, когда Американист вышел к нему с повинной головой и разводя руками: да, виноват, превысил, но приходится торопиться, знаете... Американского полицейского жалостливыми словами не проймешь, но тот, под Бостоном, знал. Знал и то, что событие ожидается завтра, что оправдания для спешки нет, но смилостивился...

Они ночевали в старой припортовой гостинице для иностранных моряков и других странников со скромным достатком. Телефоны в номерах были, но соединялись по старинке, через дежурную, сидевшую внизу, у входа, за старинным пультом. Из нее, собственно, и состоял весь видимый персонал, она регистрировала и рассчитывала постояльцев, и Американист опасался, что в никудышном отеле, где иностранные моряки останавливались, а иностранные корреспонденты — никогда, малоопытная телефонистка не все поймет или все перепутает, когда вдруг грянет телефонный звонок из Москвы; ведь они приехали именно для того, чтобы освещать предстоящее событие.

И ранним-ранним утром, потеплее одевшись, в одной автомашине с советским военно-морским атташе, тоже прибывшим в Бостон, они отправились из отеля на какой-то специальный причал. Теперь он не мог вспомнить, где был этот причал. Скорее всего на территории местного отряда береговой охраны США. Катер береговой охраны со всеми его опознавательными знаками, которые должны уважать другие суда, точно был. И в редкой компании американских пограничников и советского военно-морского атташе они вышли в гавань и в океан, поеживаясь от свежего ветра и холодных брызг и волнуясь перед необыкновенной встречей, которая их ожидала.

...Как жаль, что не записал он подробности, по горячим следам. Ничего не было среди его бумаг об этой поездке в Бостон. Ничего не осталось, кроме скупых пляшущих строчек в репортерском блокнотике и двух крохотных заметок в газете, под которыми стояли их две подписи....

Так вот, на катере береговой охраны они вышли в океан, и, когда небоскребы Бостона превратились в призрачные дымчатые видения далеко за кормой, утренними призраками встали впереди еще и силуэты двух военных кораблей. Сливаясь

с рассветной свинцовой рябью воды, их ждали с ночи два советских эсминца. Это и было необыкновенное событие: не просто очередной гражданский (они тогда без числа сменяли друг друга), а военно-морской визит в США. Конечно, подготавливался он долго и тоже нелегко. Но свершился. Согласно межгосударственной договоренности советские эсминцы пришли в порт Бостона как раз в тот день, когда два американских военных корабля навестили Ленинград. Май 1975 года. Все еще разрядка, хотя в контрастах ее врагов сквозила тайная радость победителей. В духе разрядки, по договоренности, которая была достигнута в более благополучные дни и которую отменить было уже неудобно, происходил обмен военно-морскими визитами, первыми и единственными за послевоенные годы.

И вот по трапу они карабкаются на борт флагманского эсминца, и вот они на командирском мостике, и вокруг лица офицеров-североморцев, их фуражки с крабами, их парадные мундиры и их вопросы, их волнение — большой переход позади, но впереди — самое главное. И корабли начинают движение, сбоку идет американский катер, зарываясь в волны, и небоскребы приближаются и растут, уже не дымчатые призраки, а сверкающий на солнце металл и стекло.

Наш контр-адмирал, командующий переходом, отказался от услуг портовых буксиров, чем удивил американцев, и тут же восхитил их мастерской швартовкой.

Церемония встречи. Салюты наций. Адмиральские салюты.

У правого причала того же пирса, скрытая пакгаузом, стояла громада крейсера «Олбани», флагмана Атлантического флота США. Крейсер специально пришел в Бостон, чтобы встретить и как бы уравновесить два советских эсминца. Когда командующий Атлантическим флотом подъехал на черном служебном «шевроле» к флагманскому эсминцу «Бойкий», парадный трап устилал красный ковер, духовой оркестр экипажа играл приветственный туш, и советский адмирал рапортовал старшему по чину американскому адмиралу, и тот с рукой у козырька слушал рапорт через переводчика. Потом два адмирала обменялись мужским рукопожатием и, помнится, даже улыбнулись друг другу и укрылись в командирской каюте, сопровождаемые старшими офицерами. У каюты в ожидании сигнала застыл взволнованный вестовой, неумело держа в руках поднос с запотевшими рюмками холодной водки.

У нашего адмирала было типичное, можно сказать, народное русское лицо, и оно выглядело обезоруживающе простым под

широким козырьком шитой золотом фуражки.

Из Вашингтона прибыл советский посол. Он сопровождал адмирала в его бостонских визитах, и от этого адмирал терялся и смущался, поскольку посол был выше его по положению. В первый день они нанесли визиты вежливости губернатору штата Массачусетс и мэру Бостона. Корреспонденты, американские и советские, следовали по пятам. Губернатор любезно выразил удовлетворение тем, что Бостон — это первый американский порт, который посетили советские военные корабли. Мэр шуточно предложил адмиралу вдвоем прогуляться по бостонским улицам и поговорить с жителями, дабы лично убедиться в их приветливости.

Не обошлось без пресс-конференций, и в тесную спартанскую кают-компанию «Бойкого» набилось с полсотни репортеров. Новость облетела Америку. В вечерней программе новостей по телеканалу Эн-Би-Си известный комментатор воскликнул: «Русские пришли!» В годы «холодной войны» восклицание русские идут! звучало как караул, как ночной крик о помощи. «Русские пришли! — повторил известный комментатор. И добавил: — Пришли весело и шумно».

...И все это, вглядываясь в туман ушедших дней, вспомнил Американист. Но все это, читатель, лишь необходимое вступление к одному эпизоду, или сценке, картинке.

Для наших моряков устроили экскурсии в город, а для горожан — дни открытых дверей на советских кораблях. И бостонский люд, простой и не очень простой, любопытствующий и доброжелательный, повалил посмотреть, что за русские пришли и на чем они пришли, сфотографировать их и сфотографироваться с ними, полистать и унести советские буклеты и брошюры. Народ повалил дружно, и в этой гуще, в людской толще, Американист наблюдал однажды сценку, ради которой и отвлеклись мы с его воздушного пути из Вашингтона в Сан-Франциско.

В этом людском круговороте на борту «Бойкого» увидел он вдруг совсем юного нашего морячка, который в своей форменке с треугольником полосатой тельняшки и в бескозырке с ленточками стоял с такой же юной простенькой американкой. Как они друг друга нашли? Как познакомились, не зная языка? Что их потянуло? Кто ответит? Но стояли они рядом, близко, тесно, если не прижавшись, то, во всяком случае, прислонившись и взявшись за руки, и глядели друг на друга влюбленными глазами, стесняясь других людей и, однако, как

бы паря над ними, как бы взлетев над их интересом, вопросом, любопытством.

То одного, то другого человека несло на эту пару в людской толчее, и он должен был вот-вот синими столкнуться и, быть может, наподобие какой-нибудь элементарной частицы их расщепить, раздробить этот новый, непонятный, внезапно образовавшийся атом, — и вдруг, вглядевшись и поняв, как вкопанный останавливался этот человек, упирался и противился нажиму толпы, не хотел быть элементарной частицей, расщепляющей морячка с девушкой. Людской круговорот обессилевал возле влюбленных...

Эта сценка никак не помещалась в короткую газетную заметку, но Американист, про запас, долго хранил ее в своей памяти. Потом и она стерлась — за ненадобностью. И сейчас он с трудом извлекал ее из забвения, из густеющего тумана, и домысливал, дополнял воображением их раскрытые, незащитные, чистые, омытые молодым влечением лица и выражение на лицах людей, ставших свидетелями этой внезапной и обреченной влюбленности. Ромео и Джульетта в драме отношений двух народов и двух государств. Они были одиноки и беспомощны с частным делом своей любви. Их случай не был предусмотрен в программе обмена военно-морскими визитами. Не человек пришел к человеку, а флот к флоту, держава — к державе...

И он тотчас вспомнил еще один эпизод из тех майских дней, который тоже всплыл как сновидение.

Там, в Бостоне, он держал свой «олдсмобил» на платной стоянке недалеко от отеля. Однажды утром пришли, чтобы взять машину и отправиться в порт, к «Бойкому» и «Жгучему». И как раз на парковку вкатилась машина, и из нее вышел пожилой, но хорошо сохранившийся джентльмен. Поставив свою машину в ряд других, поприветствовав дежурившего негра, джентльмен уходил по своим делам походкой занимающегося спортом человека. И, глядя вслед ему, дежурный как-то приподнято спросил: «А вы, ребята, знаете, что это за человек?» И, гордый тем, что он-то знает, что это как раз тот случай, когда не грех и похвастаться ему, негру, зарабатывающему гроши на какой-то жалкой парковке, он сказал, что это большой человек, что это полковник Пол Тиббетс, тот самый, который... Знаете? Слышали про Хиросиму? Гром среди ясного неба. И небо в самом деле было ясное, и под ним, как и все остальные, шел, держа в правой руке обыкновенный чемоданчик, называемый кейсом, пожилой человек с прямой еще и крепкой спиной, адвокат или бизнесмен, похожий на других процветающих джентльменов его возраста. А между тем не в кейсе своем, а в голове он

уносил единственную в мире историю. Тот самый полковник Пол Тиббетс, который командовал особой 509-й авиагруппой ВВС США и 6 августа 1945 года сбросил первую атомную бомбу — на Хиросиму...

Пол Тибете, принадлежность истории, вынырнул вдруг цел и невредим в майское бостонское утро, всего лишь в качестве человека, который поставил свою машину на автомобильную стоянку и, помахивая чемоданчиком, скрылся за углом в припортовом районе, который находился как бы между прошлым и будущим, кое- где там еще стояли темные и мрачные старые кирпичные дома, а в других местах их снесли и превратили в пустыри — и автостоянки, чтобы позднее построить современные билдинги из нержавеющей стали и полированного, отражающего и землю и небо зеркального стекла. Главный исполнитель Хиросимы тенью прошел, направляясь к себе в контору, негр разъяснил, что он работает где-то рядом и здесь всегда оставляет свою машину. Прошел и скрылся — и забылся. Не оставил никакого следа даже в том зелененьком блокноте Американиста, куда пляшущими каракулями, на ходу были занесены слова о советском контр-адмирале и американском вице-адмирале, массачусетском губернаторе и бостонском мэре и еще чье-то высказывание: «Моряки —типичные туристы». Журналист должен на ходу ловить такие мгновения. Догнать, остановить, извлечь хотя бы пару слов. Лишь одно может извинить Американиста — в те годы тема ядерной угрозы как бы испарилась. Не верите? Полистайте газетные подшивки.

Но Хиросима из тех событий, которые не подчиняются времени и закону исторической дистанции. В семидесятые годы она отодвинулась. В восьмидесятые — приблизилась. Нет, эта тень не исчезла за ближайшим углом. Чудовищно вытянувшись, тень Хиросимы накрыла весь земной шар.

Перед угрозой всеобщего небытия теряет смысл бытие прошлое и настоящее - история и культура, подвиги и свершения, любовь и нежность и уходящая во мрак веков бесконечная череда поколений. Ибо только тогда сохраняется смысл во всем этом, когда есть будущее. И смерть имеет смысл, если останется жизнь после нас. Но какой, скажите, смысл у всего этого шествия через века и тысячелетия, которое называется историей, если конечная, финальная его точка — самоуничтожение человечества?

Американисту опять не хватало своих слов, опять он обращался к помощи самой страстной и правдивой силы родного языка — его великой поэзии. Но классики жили в другое время. Их

волновали вечные вопросы жизни и смерти, но ведь это были вопросы жизни и смерти человека, а не человечества. Мудрецы не занимались тем, что в наши дни не дает покоя даже глупцам.

Впрочем, ему помог Тютчев. Говорят, эти свои строчки он написал на заседании цензурного ведомства. И забыл, оставил листок на столе. Но кто-то подобрал их, опубликовал через четверть века, после смерти поэта.

«Как ни тяжел последний час, та непонятная для нас истома смертного страдания, но для души еще больней следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминанья...»

Истома смертного страдания.

Не одного человека. Всего человечества.

...Последний час, та непонятная для нас истома смертного страдания...

Как многие из его коллег, Американист обзавелся с некоторых пор новой папкой в своем хаотичном досье и назвал ее словом, ставшим популярным, — Апокалипсис. Апокалиптические откровения, выраженные в специальных военно-политических терминах ядерного века, не сходили теперь со страниц газет.

В новую папку складывались суждения политиков и политологов, дипломатов, военных, ядерных физиков, медиков, педагогов и собратьев-журналистов. И — писателей. Писатели уже давно не были властителями дум, уступив этот крест эстрадным идолам и телевизионным знаменитостям, но подлинные писатели продолжали острее всех чувствовать мир и лучше других выражать охватившую человечество истому смертного страдания. Американист взялся бы доказать это, вынув из своего досье несколько цитат.

Например, вот эту, довольно длинную, из одного Итальянца:

«Дорогой друг, я нахожусь в Хиросиме, и вот тебе последняя новость: я уже не имярек, не итальянец, не европеец, я всего лишь один из представителей биологического вида, и к тому же вида, которому грозит, судя по всему, исчезновение в ближайшем будущем.

Должен сказать, что обнаружить внезапно, что ты прежде всего лишь представитель вида, неприятно. Это ощущение забылось, его стерли миллионы лет истории человечества. Это скачок назад, в доисторические времена, более того, в

какую-то отдаленную геологическую эпоху. И вот еще почему открытие носит весьма неприятный характер: я обнаружил, что являюсь представителем вида, потому что этому виду угрожает уничтожение. Дело в том, что когда я, имярек, писатель, итальянец, европеец и т. д., думал раньше о смерти, я переставал быть индивидуумом и чувствовал себя всего лишь представителем вида и в качестве такового бессмертным, потому что вид не умрет никогда... Но никто не мог предвидеть, что в определенный момент не та или другая нация, а целый вид могут оказаться под угрозой полного уничтожения; что сама природа, на первый взгляд вечная, может быть обречена на преждевременную смерть; что само существование человечества может быть прервано преждевременной, ужасной и абсурдной гибелью.

Всегда грустно опровергать мудрость, ибо мудрость — это способ мышления, который неподвластен времени: ведь это конечный результат всего человеческого опыта. Но в применении к атомной бомбе мудрость не имеет смысла, так как атомная бомба предназначена как раз для уничтожения этого самого, казалось бы, бессмертного вида. Какое уж тут бессмертие! Хорошо, если мы, род человеческий, проживем еще хотя бы двадцать лет, хотя бы до 2000 года!

...В конце концов не будет ни природы, ни бога, а будет всего лишь обожженный и почерневший камень, обреченный вечно вращаться в пустоте космического пространства; мертвый и инертный камень, подобный Луне, которую мы теперь воочию видели. Да, камень, на котором на протяжении столетий сменяли друг друга цивилизации, культуры, народы, история которых сейчас вот-вот завершится в атомном пламени. Причем по причинам, которые нельзя не считать чудовищно несоразмерными и случайными.

Когда я понял, что нам грозит ядерная смерть, я испытал удивление, прежде чем испытать ужас и страх. Как, сказал я себе, столько усилия на протяжении многих тысяч лет-и вдруг мгновенная ослепительная вспышка, чудовищный грохот и затем уже не будет ничего!»

Или вот из Западного Немца:

«Нет, не кара богов угрожает нам. Не Иоанн Богослов рисует нам мрачные картины, предрекающие всеобщую гибель, не какие-либо гадания чернокнижников служат нам оракулом. С объективностью, соответствующей нашему времени, нам предъявляются колонки цифр, в которых

суммируется смертность от голода, статистические данные, характеризующие рост нищеты, таблицы, куда сводятся экологические катастрофы, безумие как результат вычислений, апокалипсис как итог бухгалтерских расчетов. Оспаривать можно лишь знаки, стоящие после запятой, но вывод неопровержим: уничтожение человека человеком началось...

Вопреки разуму хищничество все усиливается, загрязнение жизненной среды позорно оправдывается, а потенциал уничтожения давно перешагнул порог безумия и, продолжая нарастать, уже не поддается исчислению. И жалкий страх, который мы испытываем, скоро, наверное, перестанет выражаться в словах и обратится в безмолвный ужас, ибо перед лицом пустоты — перед лицом надвигающегося ничто любые звуки утрачивают смысл.

... Как ни банально это звучит, а жизнь продолжается. Люди хотят совершать новые открытия, изобретать и совершенствовать изобретения, писать все больше и больше новых книг. Буду писать и я, потому что не могу иначе, потому что я не в состоянии отказаться от творчества, от писательства. И тем не менее в той книге, которую я хочу теперь написать, я не смогу больше притворяться, что уверен в реальности будущего. Мне придется написать о прощании со всем, что повреждено, о прощании с израненной природой, с нашим разумом, который создал все сущее на свете, а сегодня может обратить все это сущее в ничто».

Из Русского Советского поэта:

«Я шел меж сосен голубых, фотографируя их лица, как жертву, прежде чем убить, фотографирует убийца.

Стояли русские леса, чуть-чуть подрагивая телом. Они глядели мне в глаза, как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат. Ни Микеланджело, ни Фидий, никто их краше не создаст. Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» — кричали мне, кто были живы. Через мгновение их всех погубят ядерные взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц, развившаяся обезьяна! Природы гениальный смысл уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя среди абсурдного пространства, и я не мог найти себя, не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет, не будет века двадцать первого, что времени отныне нет. Оно на полуслове прервано...»

Будет ли будущее? — так стоял вопрос. Писатели из досье Американиста слышали цокот копыт четырех всадников Апокалипсиса. Но в другой папке его досье хранился оптимистический прогноз одного известного футуролога. Тот не сомневался, что будущее будет. Американиста не радовал его оптимизм, потому что футуролог обещал будущее после ядерной войны. Он не считал, что ядерной войны можно избежать. И в то же время не считал, что ядерная война покончит с человечеством. Он был уверен, что — как биологический вид — мы ее переживем. Как и военные плановики из статьи Томаса Пауэрса, футуролог не исключал даже второй ядерной войны, заглядывая своей мыслью в промежуток между двумя ядерными войнами.

Этого американца Американист хорошо помнил. Он не был тенью или сном. Круглое пухлое лицо в белой бороде, как у шкипера, и всхолмленный морщинами большой лоб все еще живо стояли перед глазами, хотя больше двух лет прошло после их последней встречи. К тому же на печатных страницах Американисту тоже попадалось лицо футуролога: к нему, как к модной яс-новидице, всегда стояла очередь желающих узнать будущее, и состояла она из журналистов, ибо в отличие от ясновидиц — он предсказывал не личное, а общее будущее. Наконец, собственные записи Американиста об их последней встрече были довольно обширны — двадцать страниц на машинке.

Интервью они брали вместе с Геннадием и, вернувшись в Москву, не без труда переводили его на русский, измучив и себя, и магнитофонную ленту. У футуролога с годами выработалась вредная привычка невнятно бормотать себе под нос: пусть разбирают, если хотят. И припадавшие к источнику его мудрости должны были хорошенько потрудиться, чтобы разобрать. А припадать все-таки стоило. Редкий был человеческий экземпляр, недюжинного ума и варианты будущего прорабатывал с вызывающим бесстрашием и бестрепетностью.

Взяв то последнее интервью, Американист и так и сяк прикидывал, можно ли приспособить его для газеты, даже придумал хлесткий заголовок — Разговор с Людоведом. Но прикидки так и остались прикидками. Слишком много надо было рубить, чтобы Людовед уместился в газетное прокрустово

ложе. А чтобы колорит его слов и оценок не пропал, надо было как раз не жалеть места, цитировать не скупясь, чтобы лучше донести, достовернее передать впечатление большого ума и жутковатой откровенности. Взять хотя бы такой отрывок из их беседы:

— ...А во-вторых, стратегическая ядерная война очень дешева. Она не требует огромных денег...

— Выходит, что средства взаимного массового уничтожения — дешевые? И становятся все дешевле и дешевле?

В том-то и проблема, в том-то и соблазн.

— Выходит, дешевый путь на тот свет, отсюда — в вечность...

— Ну нет, это попросту неверно, что сейчас есть возможности для свержения, для поголовного уничтожения человечества.

— Вы считаете, что человечество может пережить ядерную войну?

— Да, если только не случится каких-то непредвиденных последствий от применения ядерного оружия. Если брать имеющиеся обычные оценки, то, вне всякого сомнения, мы сможем пережить такую войну. Вне всякого сомнения...

— Но если даже кто-то и уцелеет, как может человечество психически выжить, пройдя через этот акт безумия, помешательства?

— Потому что оно выживало раньше. Возьмите историю Джемстауна и Плимут-Рока, первых двух английских колоний в Северной Америке. Обе потеряли по половине жителей в первый же год — от болезней и голода. Но ведь выжили и продолжали расти, и взгляните, какая страна у нас получилась. И такие случаи не раз бывали в истории человечества.

— Но я не об этом. Я о другом — как человеческие существа могут выстоять перед таким количеством самим себе причиненного зла?

— Мой ответ — могут. И не раз это доказывали. Приспосабливались. Дело просто в том, что молодое нынешнее поколение ничего подобного не испытывало. Его от всего оберегали. Оно не знало второй мировой войны...

— А разве вообще американцы знали ту войну?..

— Я уже говорил, что американцы испорчены тем, что богаты и сильны, и потому, даже делая глупости, привыкли не расплачиваться за них. Но учтите, что в массе это религиозные люди, которые все вынесут... Да, мы очень испорчены. Но,

знаете, у нас есть такое изречение: древо свободы должно орошаться кровью каждого нового поколения. Так вот, мы испорчены еще и потому, что перестали в это верить. Мы привыкли жить не страдая. А ведь сколько их было, поколений, которые совсем по-другому видели историю человечества. Города осаждали и разрушали, сравнивая с землей, варвары нападали с суши и моря. А цивилизация выживала. И все это было нормальным. Вы что же, думаете, что отныне и навеки все стало по-другому, что трагедии и драмы истории миновали и что люди просто должны жить все лучше и лучше? Извините, но именно это — сумасшедшая идея...

Прокручивая этот отрывок магнитофонной записи, Американист слышал задорный и несколько смущенный голос своего друга, который оборонялся иронией — «дешевый путь на тот свет, отсюда — в вечность», свои собственные протесты: как может человечество выжить под этими горами себе причиненного зла? Ирония и протесты отскакивали от толстяка, как горох от стенки. Он выворачивал наизнанку само понятие оптимизма, ибо его оптимизм был чудовищным. Оторопь брала: все пережили и все переживем, даже термоядерную войну.

А доказательство? Судьба двух первых поселений английских колонистов на американской земле. Две-три сотни людей XVI века, тогдашние холод, голод, напасти и пусть даже мор— и мгновенное уничтожение многовековых центров цивилизации, гибель сотен миллионов людей. Как можно уравнивать эти вещи? Или сам безнадежно «испорчен», как и его соотечественники, отсидевшись за океаном в последней мировой войне? Не знают, почему фунт обыкновенного лиха, не могут вообразить и лихо ядерное? Спичкой вспыхнет и сгорит само их хваленое древо свободы, и не понадобится больше ему никаких жертвоприношений.

Аргументы появлялись задним числом, и Американист понимал, что не доругался с этим человеком.

Толстого профессора с седой шкиперской бородой звали Герман Кап. Многим это имя скажет многое или хотя бы кое-что. Он был основателем и директором мозгового центра правого направления — Гудзоновского института, так называемым стратегическим мыслителем, плодовитым автором нашумевших апокалиптических и футурологических книг, консультантом Белого дома, Пентагона, ряда других правительств и многих американских и иностранных корпораций. Нового типа философ-практик, он вместе со своими учениками и сотрудниками

активно предлагал товар мысли в самых разных практических областях, на капиталистическом рынке спроса.

Это Герману Кану принадлежит словосочетание века— мысль о невысказанном, — давшее заголовок одной из его книг и обозначившее его главное призвание, страсть его жизни. Простому смертному представляется лишь один мыслимый вариант в случае ядерной катастрофы, один способ действия, давно рекомендованный любителями черного юмора; завернувшись в белый саван, без паники, не мешая другим, но и не мешкая, ползти в сторону кладбища в последнем акте самообслуживания. А Герман Кан, мысль о невысказанном, запросто отправлял человечество на невысказанную войну — и даровал жизнь и процветание уцелевшим, если не будет каких-то непредвиденных, еще не проработанных им последствий...

«Сумасшедшей идеей» был для него мир без войн, и разве не означает одно это утверждение, что Герман Кан смело менял местами разум и безумие? Но спорить с ним было трудно. Приходилось апеллировать скорее к совести, к здравому смыслу, ЧЕИМ к опыту. Ибо кровавый опыт мировой истории был на стороне футуролога. Что пересилит — опыт или мечта, ибо на стороне тех, кто подобно Американисту гнал прочь эти мысли о невысказанном, была лишь великая и неистребимая мечта об идеальном устройстве человеческого общества и межгосударственных отношениях. Мечта подкреплялась огромной мощью его страны и ее социалистических союзников, поставивших своей исторической целью мир, где исчезли бы войны и воцарилась социальная справедливость. Но социалистическому содружеству как другой, противоположный заряд противостоял капиталистический мир, и заряды, если брать военное, а не политическое их выражение, были ядерными, и их прикосновение грозило апокалиптической вспышкой. Мечта об идеале была — на практическом языке — мечтой о стабильном мирном сосуществовании двух систем. Герман Кан исключал его не только по причине политических и идеологических разногласий, но даже и в силу биологической природы человека. Человеку и человечеству, чтобы осуществить великую свою мечту о мире без войн, надо изменить свою историческую и биологическую природу, природу своего ума, сознания, своей неумной гениальности в изобретении орудий вражды и смерти. Герман Кан не допускал такой возможности.

Та последняя их встреча произошла, когда Американист попал в Нью-Йорк в жаркое лето предвыборных баталий между Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Он связался тогда

с Гудзоновским институтом, обнаружив телефон в старой записной книжке. Герман Кан согласился встретиться, и на следующий день его секретарша прислала по почте подробное объяснение, как добраться до маленького городка Кротон-на-Гудзоне, что находится милях в сорока к северу от Нью-Йорка.

Августовский Нью-Йорк представлял гигантскую парилку, увы, лишенную чисто банных удовольствий. Поездка, кроме прочего, манила перемещением из городского ада в загородный рай. И вот с Геннадием, давним другом еще институтских лет, доросшим до высокого поста в нашей информационно-пропагандистской службе, они покатали по автостраде вдоль Гудзона, блещущего на солнце, и через полчаса, проехав Бронкс и Ривердейл, окунулись в кудрявозеленую благодать провинциальной Америки, вроде бы и не подозревающей о своем душном, потном, грохочущем соседе.

Через час они были у цели. По пышным, не знающим знойного солнца аллеям кривых улочек и переулков поднялись на холм, где на ровных изумрудных газонах, среди старых кряжистых деревьев стояли каменные строения в стиле «тюдор». В начале века здесь помещалась лечебница для алкоголиков из богатых семейств, а на его исходе сюда вселились дипломированные любители прогнозировать будущий век.

Бетонные плиты пешеходной дорожки, ведущей от стоянки для автомашин к двухэтажному, островерхому дому, утопали в траве. Природа застыла в сладкой полуденной истоме. И друзья, измученные летним Нью-Йорком, дружно вздохнули, и Геннадий сказал: «Вот тут-то и вынашивают они свои людоедские замыслы...»

Гудзоновский институт — режимное учреждение, оказывающее секретные и сверхсекретные услуги правительству и частному сектору, но в старом здании выдерживался стиль домашнего уюта. В приемной уютная домашняя девушка предложила им кресла возле стоящих на полу часов с боем и по внутреннему телефону сообщила кому-то, что двое русских репортеров прибыли. Через несколько минут к ним вышла крупная миловидная молодая женщина в красной кофточке и песочного цвета юбке. Ее звали Морин. По деревянной, поскрипывающей лесенке они поднялись на второй этаж и через залитую солнцем галерею попали в заставленный книжными полками кабинет директора.

Герман Каи поднялся из-за стола в простецкой рубахе с открытым воротом и такой же толстый, как двенадцать лет назад, когда Американист встречался с ним в Нью-Йорке. Лицо

постарело и порыхлело, за толстыми стеклами очков как будто издали смотрели маленькие острые глаза.

Не тратя времени, он предложил гостям задавать интересующие их вопросы. Был откровенен, как всегда, и прям в суждениях, и откровенность располагала к нему, облегчала восприятие его откровений.

Первый вопрос друзья задали общего плана — что он думает об американцах и Америке в нынешнем мире. Герман Кан начал не с деталей той, уже ушедшей в прошлое предвыборной борьбы 1980 года, которой были отданы в те дни газеты и телеэкраны, а с общих рассуждений о самочувствии и настроениях нации.

— За последние пятнадцать лет в Соединенных Штатах в основном наблюдается движение в сторону традиционной системы ценностей,— так начал он.— Вы знаете, что каждый год институт Гэллапа задает американцам вопрос: кем вы больше всего восхищаетесь? И публикует список из десяти человек, набравших больше всего голосов. Первым в списке всегда идет президент США. Даже если он неважно работает, они все равно им восхищаются — это же президент. Но вторым или третьим человеком вот уже с десяток лет называют проповедника-евангелиста Билли Грэма. А ведь раньше никто не занимал второго места два раза подряд. В чем же дело? А в том, что идет возрождение религии, веры в Библию. Вы думали, что они отходят от церкви? Нет, они в нее возвращаются. Причем в ту настоящую церковь, которая верит в Библию, а не в либеральную церковь, проповедующую программы вспомоществования. Очень многие из этих американцев не голосуют на выборах, но все равно, с точки зрения правительства, это очень хорошие люди: платят налоги, когда нужно, служат в армии и всерьез относятся к своей стране. Американцы, с которыми вы, советские, у нас встречаетесь, как правило, атеисты. Но не забывайте, что это меньшинство, что Соединенные Штаты, может быть, самая религиозная страна в мире. Если вы этого не поймете, вы очень многого не поймете в нынешних Соединенных Штатах. Мы возвращаемся к традиционной системе ценностей.

Число приверженцев фундаменталистских традиционных религий, к которым я и себя отношу, хотя не посещаю церковь, возросло примерно на одну четверть, развивал свою мысль Герман Кан и перебрасывал мост от религии к политике, от религиозного консерватизма к политическому. — Растет роль и влияние так называемых новых консерваторов, к которым я тоже себя отношу. К нам прислушиваются серьезные

люди, и сейчас мы побеждаем во всех спорах. Не путайте новых консерваторов с правыми. Те — догматики, а новые консерваторы в большинстве своем вышли из левых, хотя лично я к левым никогда не принадлежал. Примерно треть неоконсерваторов — евреи, и в этой группе они, пожалуй, самые деятельные. Новые консерваторы — самая быстрорастущая группа интеллектуалов в Соединенных Штатах, и они задают тон во всех дискуссиях — по вопросам обороны, экономики, политики и т. д. Могут ли они одержать верх? Да, конечно, если найдут президента, который сможет возглавить и усилить это движение. Такие попытки, по существу, предпринимаются с шестидесятых годов. Сначала они видели своего президента в Никсоне. Однако в первый срок его трудно было отличить от Кеннеди. Его даже прозвали Джон Фицджералд Никсон. Во второй свой срок Никсон мог бы, пожалуй, оправдать надежды консерваторов, но тут произошла уотергейтская история. Никсон ушел в отставку. Пришел Форд, и с консервативной точки зрения он тоже, казалось, выглядел подходящим человеком. Но однажды Форда угораздило заявить, что нет ничего плохого в курении марихуаны, а его жена публично оправдывала добрые половые сношения. Вот тебе и классическая американская чета! Конечно, ничего особенного в их словах не было, по услышать такое от президента и его жены — увольте! Картер подчеркивал свою глубокую религиозность, к тому же он — бизнесмен, фермер, инженер, морской офицер. Чего еще? Самый что ни на есть подходящий, кондовый президент с точки зрения среднего американца! Но президентство Картера показало, что и он не отвечает этой мечте об истинно американском президенте. И вот Рейган — наша последняя надежда. Я — за Рейгана. Картеру я не доверяю. Рейгану тоже, впрочем, не доверяю, но меньше, чем Картеру...

Кан хохотнул.

Шел тот год, когда неоконсерваторы сделали ставку на Рейгана против Картера — и выиграли.

Однако не будем прерывать Германа Кана. Дадим ему подробнее высказаться. Продолжим его рассуждения об американцах, их воспитании, об особенностях их патриотизма. При всей эскизности они полезны для понимания протекающих в Америке процессов и, во всяком случае, наводят на мысль о том, что Америку — если хочешь понять — надо мерить американским аршином.

Послушаем Кана в магнитофонной буквальном записи:

— Самая большая наша проблема — это то, что мы невероятно богатая страна с колоссально развитой техникой. Мы делаем глупости и не расплачиваемся за них. Западная Европа платит за свои ошибки, а мы нет. Как это ни парадоксально, но нам было бы лучше, если бы мы расплачивались за свои глупости. Мы слишком богаты и слишком сильны. И ничего не боимся. Просто ужасно...

Он отрывисто хохотнул, в своей манере, возмущаясь и восхищаясь тем, что его страна ни за что не расплачивается.

— А взять нашу систему образования. Чему мы учим детей в своих либеральствующих школах? Что бизнес грабит природные ресурсы, отравляет окружающую среду, заражает людей раком легких, наживается на эксплуатации природных богатств — словом, что вся система продажна. За такую школу, наверное, надо расплачиваться. Кажется, что, окончив ее, эти люди скажут: на черта нам сдалась эта дурацкая система? Но ведь этого не происходит. Они преспокойно идут в тот же бизнес и добросовестно там работают, они хорошо служат в армии и вообще настроены патриотично. Как долго можно избежать расплаты за все это? Десять лет? Двадцать? Быть может. Только не пятьдесят.

Наша общественная система в принципе жесткая, и люди наши жесткие, и вырастают они такими с детства, в своих семьях. Мне доводилось читать курсы лекций в Гарварде, Принстоне, Йеле, в Колумбийском университете. Я вел также семинары аспирантов, в которых было по шестьдесят человек. И вот, бывало, я задавал им вопрос: «У кого из вас есть в семьях не меньше трех винтовок или пистолетов?» Сколько, вы думаете, отвечали положительно? Двадцать человек, одна треть. Я спрашивал тогда: «Кто из вас в двенадцать лет получил в подарок от родителей малокалиберное ружье?» Оказывалось, все двадцать. В четырнадцать лет почти все они имели охотничьи ружья. А если у ребенка есть ружье, из которого, между прочим, можно убить человека, это уже не ребенок. В маленьких наших поселениях обращению с оружием подростка учат года два. За это время он еще научится разводить костер, разбивать палатку и вообще выживать на лоне природы. Это очень взрослит молодого человека. Если бы мне пришлось выбирать, мой выбор пал бы на человека, выросшего с оружием. Он надежнее и дисциплинированнее.

Но мы забыли об оставшихся сорока студентах. Их я спрашивал: «Вспомните, приходилось ли вам больше года ожидать исполнения какого-либо разумного вашего желания? Если вы в шесть лет потребуете велосипед, это неразумно. Если

в двадцать два захотите поехать в Париж — это разумно, в восемнадцать — нет. Если попросите автомашину в восемнадцать-девятнадцать лет, это разумно, в тринадцать — нет». И вот, представьте, мои студенты не могли вспомнить, чего они ждали бы больше года. Два раза в году — на рождество и на День благодарения — в Соединенных Штатах царит настоящая вакханалия подарков. Детей балуют. Они не усваивают самый важный из уроков жизни — что сама по себе она не милостива, не великодушна. Но почему-то это не портит детей. Вырастают они в общем неплохими. Между прочим, богатые люди своих детей воспитывают по-другому. Если бы всем удалось попасть на день рождения к Дюпонам или Рокфеллерам — а мне удавалось, — вы бы увидели, что детских игрушек там немного и что это все прочные игрушки. Богатые очень боятся испортить своих детей...

Выраженная Капом мысль о том, что американцы ни за что не привыкли расплачиваться, представлялась Американисту существенной, центральной (не отдельные, конечно, американцы, не группы обездоленных, а держава с имперскими замашками). Этим многое объяснялось в поведении Соединенных Штатов на мировой арене, в более рискованном отношении правящего класса к возможности войны, даже в той ледяной отрешенности, с которой сам Герман Каи допускал ядерную войну и жизнь после нее. Да, расплачиваться не привыкли. Да, жареный петух не клевал их. Баловни истории. И война до сих пор была самым убедительным доказательством: другие, в Европе, в Азии, платили, а они в основном выигрывали. Во второй мировой войне понесли людских жертв в пятьдесят раз меньше, чем мы. В пятьдесят раз! Между тем горе, страдание, потери умножают национальный опыт в геометрической прогрессии, закладываются в национальную память. Напротив, вторая мировая война покончила там с экономической депрессией, обеспечила редкостный период полной занятости и вывела целехонькую Америку на послевоенную сцену с мечтой об «американском веке», с претензиями властелина мира, заявляющего о своих правах среди европейских и азиатских руин. Из живущих поколений американцев лишь одно полной мерой хлебнуло несчастий и бед — то, что пережило жестокий экономический кризис конца двадцатых — начала тридцатых годов.

В оценке перспектив американо-советских отношений Герман Кан проявил трезвость и дальновидность, и его малоутешительные прогнозы, увы, сбылись. Уже тогда, в 1980 году, он видел

впереди новые раунды гонки вооружений, ратовал за них и считал, что Рональд Рейган — наилучшая фигура, чтобы председательствовать в Вашингтоне при таком развитии событий.

— Когда Картер увеличивает военные расходы, он это делает по косметическим соображениям, уступая политическому давлению, — заметил Кан. — А Рейган верит в превосходство. И наша страна может добиваться того, чего по-настоящему захочет.

Если бы я был Рейганом, я бы сделал две вещи — и я надеюсь, что он их сделает. Первое — не был бы таким примирительным в отношении Советского Союза, как Картер. Где-то мы должны провести черту. Во-вторых, Рейган должен сказать вам: мы собираемся увеличивать свои вооруженные силы очень быстро, но это не угроза вам.

— Нравится вам или нет, американские вооруженные силы будут намного увеличены, — пророчествовал Кан. — Мы больше не хотим беспокоиться. С 1948 года по 1970 год у нас было огромное превосходство. В 1965 году, к примеру, оно было фантастическим: мы могли уничтожить ваши наземные ядерные силы, даже не уничтожая ваших городов. Теперь мы хотим небольшого превосходства. И мы собираемся навязать его вам. У нас есть деньги, есть технология. На это может уйти пять —десять лет вне зависимости от того, что вы в Советском Союзе будете предпринимать, — угрожал Кан. Рейган хочет этого добиться — либо потому, что очень умен, либо потому, что глуп. Не знаю. Меня это, в конце концов, не так уж беспокоит. Всего опаснее сойти с дистанции. Бежать так бежать. Вот этого мы и добиваемся...

Знаменитый футуролог Герман Кан умер в 1983 году в возрасте шестидесяти одного года, как простой смертный, от болезни сердца. Напоследок он даже как будто подобрел в своих прогнозах, перестал пугать неизбежностью ядерной войны. Последняя его книга, вышедшая при жизни, называлась «Наступающий бум». Он сулил процветание «индустриальных демократий» вплоть до конца нашего века, рост экономических показателей и замедление прироста населения.

О себе говорил одному журналисту: «Я умру в 2001 году, не раньше. Я должен знать, как сбылись мои предсказания, и буду очень недоволен, если уйду до срока».

Но свою судьбу загадывать иногда труднее, чем судьбу мира. То ли тучность подвела Германа Кана, то ли слишком обильные

траты интеллектуальной энергии, которую он не жалел, выполняя свои контракты с правительствами и корпорациями.

Частичка этой энергии сохранилась на магнитофонной кассете в архиве Американиста. Последними в записи были такие слова:

— Я не выступаю за войну. Я лишь говорю, что мы не верим друг другу, что мы не можем полагаться на разумность ваших суждений и оценок. Приведу вам один пример. Года три назад я возглавлял одну группу стратегических консультантов, в которой участвовало двадцать человек, из них шестнадцать — очень правых взглядов, такие, как Пайпс, Литвак и так далее. Я предложил им на рассмотрение такую ситуацию: у Советского Союза между началом и концом восьмидесятых годов будет возможность нанести удар по Соединенным Штатам и уничтожить приблизительно сто миллионов американцев. Мы нанесем ответный удар, но своими уцелевшими стратегическими силами уничтожим у них всего пять миллионов человек. В результате Советский Союз сможет довольно быстро отстроить свои города, тогда как американцам придется переселяться в Западную Европу, Японию, Бразилию. Описав эту вымышленную ситуацию, я конфиденциально, по одному, опросил участников совещания. Задавал им один и тот же вопрос: кто из вас думает, что советские лидеры, зная, что такая благоприятная возможность исчезнет в конце восьмидесятых годов, решат ею воспользоваться, чтобы нанести такой удар? Ни один участник не допустил, что Советский Союз может воспользоваться такой возможностью. А ведь это были люди очень правых взглядов. Ни один из них не предположил, что Советский Союз пойдет на такой конфликт, даже если шансы будут десять к одному в его пользу. Ни один! Я рассказал им об итоге этого закрытого опроса на открытом пленарном заседании, и они были смущены. Я спросил: «Может быть, сейчас вы захотите изменить свое мнение?» Лишь один человек воспользовался этим предложением, но и тот был ядерным физиком, а не специалистом по русским делам. Тогда я задал присутствующим второй вопрос: «Сколько же из вас в таком случае думает, что можно полагаться на разумность суждений советского руководства?» Как можно, ни в коем случае, это безумие, безумие! — таким был единодушный ответ. И в нем выразилось наше отношение к вам. А ведь ваше правительство, на мой взгляд, более разумное, более осторожное, чем наше правительство. Но я не доверяю ни своему правительству, ни вашему.

Он хохотнул в последний раз своим хрипловатым быстрым хохотком и вдруг заключил с неожиданным пафосом:

— Мы живем в очень жестком мире. По ночам, представьте, мне не спится. Как человек, который лишь изучает все эти проблемы и дает советы, я не несу ответственности за принимаемые решения. И все-таки мне не спится.

— А как спит президент, принимающий решения? — спросили они его.

— Говорят, он спит хорошо...

Миловидная секретарша Морин, пышущая здоровьем и довольством счастливой женщины, проводила их обратно от кабинета шефа к выходу из института. И они вышли в август, который жарко обнимал все и всех — и траву, и деревья, и старый дом, построенный для бога* тых алкоголиков, и их самих, пока они шли к машине, и их машину, накаленную солнцем. Усевшись на нагретые сиденья, они сразу же включили кондиционер и поехали в распаренный Нью-Йорк, разбирая разговор с человеком, жестокая мысль которого не могла найти выход в мир добра, правды, красоты, в цветущий зной* йый август с его гимнами жизни.

Картер спал хорошо. И Рейган не жалуется на бессонницу. А Герман Кан, оказывается, мучился по ночам и сокращал свою жизнь мыслями о немислимом.

Из тетради Американиста:

«Сан-Франциско. Отель «Хайятт-Ридженси».

Вчера вечером в аэропорту встречал Слава Ч. Он теперь корреспондент ТАСС в Сан-Франциско, и вот второй раз за год попадаю сюда и пользуюсь гостеприимством Славы и Вали, его жены. Слава — из того же нашего цеха американистов, но моложе. Познакомились лет десять назад в Вашингтоне. Теперь люди нашего возраста, кончив свои американские кочевья, живут в Москве, а он все еще кочует и перебрався сюда, на тихоокеанское побережье. Для меня, командированного, знакомые прежних лет как спасительные якоря.

Когда ехали в город из аэропорта, все искал глазами знакомые приметы, и вдруг среди зеленых дорожных щитов-указателей — съезд на Коровий дворец. Сразу вспомнилось. Летом шестьдесят четвертого в Коровьем дворце (бывшая сельскохозяйственная ярмарка) проходил национальный съезд республиканской партии, который выдвинул Барри Голдуотера, аризонского сенатора, кандидатом в президенты. Консерваторы уже тогда

рвались к власти в республиканской партии — и в Белый дом. Республиканскую партию захватили, и проба сил в ноябре оказалась для них неудачной. Рейган, тогда всего лишь актер, политически дебютировал на сан-францисском съезде. Его речь голдуотеровцам понравилась. Теперь эту речь считают поворотным пунктом в жизни Рональда Рейгана и отправной точкой его политической карьеры. Богатые ультраконсерваторы прикинули, что у актера есть талант завлекать избирателя, и сделали на него долговременную ставку. Из Коровьего дворца дорога привела Рейгана сначала в Сакраменто, резиденцию губернатора Калифорнии, а затем и в Белый дом. Теперь нет голдуотеровцев, есть рейгановцы.

Я дальновидности не проявил, ни Рейгана тогдашнего, ни его речи не заметил, хотя и освещал съезд в Коровьем дворце. Одно оправдание — в конце концов он был всего лишь киноактер, entertainer — развлекатель, привлеченный в качестве «пламенного оратора».

Живу в отеле «Хайятт-Ридженси»,: куда до сих пор заглядывает с улыбки много любопытствующих зевак. Отель — новое экстравагантное слово в гостиничном строительстве, и сказано оно впервые было именно здесь, в Сан-Франциско. (Или в Атланте?) Идея привилась. Между прочим, наш Международный торговый центр в Москве — уменьшенный и более скромный пример того же стиля. Главный холл отеля и в самом деле захватывает дух и заставляет задрать головы — привычного потолка в нем нет, многоэтажный, опоясанный открытыми галереями холл уходит под самую крышу. Внизу пространство со вкусом освоено — кафетерии, рестораны, всевозможные магазинчики. Лифты выведены вовне и эффектными стеклянными стаканами взвиваются и падают вдоль плоскости стены.

Номер — сто двадцать долларов в сутки. Не по карману и смете. Но благодаря Саи-Францисской торговой палате, гостем которой я числюсь, обходится в пятьдесят долларов, почти укладываюсь в смету.

И все равно не в своей тарелке. Этот смелый архитектурный изыск, этот чрезмерный комфорт выглядит — и является — ненужной, непозволительной, на наш взгляд, роскошью. Тема «не в своей тарелке» повсюду сопровождает нас в Америке и, думаю, ждет своего художественного воплощения новым Зоценко или Ильфом и Петровым.

Номер в этом отеле как глазок в другой мир, в котором все равно жить не будешь. Отсюда впечатление условности и

ненатуральности. Зачем, спрашивается, мне эта удобнейшая широченнейшая кровать, где можно лечь хоть вдоль, хоть поперек, тончайшее постельное белье, прикроватная тумбочка, она же настоящий пульт, для управления которым требуется не меньше среднего технического образования, — тут и регулировка ночной лампочки, и электронный будильник, и многоканальное радио, и дистанционный контроль за телевизором и еще что-то, не догадаешься. А в туалетной комнате фрап, цузское, прозрачное, как сотовый мед, мыло и набор мудреных шампуней в крохотных розовых бутылочках, полдюжины мохнатых больших и маленьких полотенец, утопленная в пол ванна и массивная, новой системы, головка душа, с непривычки то кипятком себя ошпаришь, то ледяной водой. И в довершение вместо обычного ключа получаешь плоский прямоугольник из полированного картона. Он в дырочках — как перфокарта. Вставляешь его в узкую щель двери, где упрятан электронный чудо-замок...

Глухой бетонной перегородкой балкон номера отделен от соседнего балкона. На балконе три легких кресла, при некотором усилии воображения ты уже на даче. Но для этого надо закрыть глаза. Ибо справа ярусами ацтекской пирамиды спускаются серые этажи отеля. А напротив, метрах в двухстах, широкое и высокое здание уставилось на отель всеми своими зажженными окнами. В нем тридцать восемь этажей. Чье? Какой корпорации? Даже тут, в Сан-Франциско, а не в Нью-Йорке, уже не задают таких вопросов, когда в здании всего тридцать восемь этажей. Отель находится в деловом районе Сан-Франциско, и вокруг не сосчитать других мини-небоскребов. Эффектные, красивые, ничего не скажешь. Не просто спичечные коробки, поставленные па попа. Но и они убивают друг друга близким соседством. Где ты, прежний, очаровательный, малоэтажный Сан-Франциско?

С утра в одном из зданий на Бил-стрит встречался с Лэрри Томасом, пресс-секретарем гигантской строительной корпорации «Бектел».

На «Бектел» восторженных и завидующих голов сейчас задрано больше, чем на отель «Хайятт-Ридженси». Корпорацию прославили два выходца из ее недр — госсекретарь Джордж Шульц и министр обороны Каспар Уайнбергер. Первый занимал в «Бектеле» пост президента, второй был главным юридическим консультантом.

Лэрри Томас уверяет, что Бектел-отец и Бектел-сын, владельцы корпорации, пальцем не шевельнули, чтобы обеспечить рейгановский кабинет двумя ключевыми министрами. Ведь

в свое время, напоминал он, «Бектел» взял их из Вашингтона, где оба и раньше занимали посты в администрациях Никсона и Форда. Шульц, к примеру, попал на глаза Бектелу-старшему при Никсоне, когда был министром труда. Тогда, к 1974 году, поведал Лэрри Томас, у корпорации обнаружилось много наличных средств, и она усердно искала объекты для вложения капиталов. Были еще и разногласия с сотрудниками — членами профсоюза. Тут-то Бектелу-старшему и пришла в голову счастливая идея предложить Шульцу, только что покинувшему кабинет Никсона, пост президента корпорации. Шульц переехал в Калифорнию, но остался при всех своих вашингтонских связях, не говоря уже о богатейшем опыте бывшего министра труда, министра финансов и директора административно-бюджетного агентства.

Лэрри, впрочем, не говорил «Шульц». Среди своих всех принято звать по-домашнему, семейному. Шульц — это Джордж. Бектел-старший — всего лишь Стив. А Каспар Уайнбергер и того короче — Кэп.

Кэп тоже пришел в «Бектел» из правительства — и ушел в правительство.

Уход Джорджа и Кэпа, говорил Лэрри, был потерей для корпорации.

— Ведь каждая крупная корпорация имеет заранее подготовленные планы на случай чрезвычайных ситуаций — например, смерти того или иного из ее руководителей, а тут уход был довольно внезапным.

Джордж и Кэп вряд ли вернутся в «Бектел» после Вашингтона.

— Оба и без того много заработали за свои годы в «Бектел».

Корпорация известна колоссальными объемами работ в арабских странах, в частности миллиардными контрактами с Саудовской Аравией, где осуществляет строительство целого нового города. С Израилем деловых операций не имеет, так как не хочет терять свой арабский бизнес, а арабские страны бойкотируют западные корпорации, подвизающиеся в Израиле. За свой обширный бизнес на Арабском Востоке корпорация, если верить Лэрри Томасу, подвергалась политическому давлению со стороны произраильского лобби в США, но «это не мешает нам считать своими друзьями как Израиль, так и Саудовскую Аравию».

После встречи в «Бектел» Слава подобрал меня в отеле, и мы проехали с ним по городу и к океану. Мелькали знакомые названия улиц, на которых когда-то бывал и которые, увы,

припоминал только по названиям. Вверх и вниз раскачивались на качелях знаменитых сан-францисский холмов, и на каждой вершине не успевал насытиться прекрасным широким видом, как машина, клюя носом, катилась вниз. Над океаном висела завеса дождя, серые волны тягучими резиновыми жгутами бежали к берегу. Проехали по парку Золотые ворота с его вечной зеленью, по Хейт-стрит и Эшбери-стрит, которые были как покинутые декорации на опустевшей сцене, — на этой сцене в конце шестидесятых годов бурлили толпы хиппи и бунтующих студентов. «Молодежная революция» минула и сгинула. В вечных приливах и отливах этой страны, то обнадеживающих, то озадачивающих нас, иностранцев, в ее меняющихся модах и поветриях соседние улицы теперь прославились совсем уж скандально — как обиталища гомосексуалистов. Кто только не облюбовывал Сан-Франциско? Среди бела дня по тротуарам фланировали приторно сладкие мужчины и юноши в тугих джинсах и коротких курточках.

На Гэри-стрит глаз не пропустит желтых, в крапинку луковок прославленного собора. Нелепо высятся они над американскими домами на американской улице, запруженной американскими автомобилями. Ряды выходцев из Советского Союза пополнились в последние годы, и, говорят, Гэри-стрит уже прозвали Гэрибасовской.

Ну, и как ие взглянуть на знаменитый мост Золотые ворота? На сам мост нам нельзя — на другой стороне пролива закрытая для советских зона. Любуйтесь только с берега. Мощное творение рук человеческих ярко-рыжими стальными фермами вздымается над водной пучиной. Мост по-прежнему притягивает несчастных, решивших покончить счеты с жизнью, недавно зарегистрировали еще одну круглую цифру — семисотый самоубийца...

Сегодня же была встреча в Сан-Францисской торговой палате. В ранг гостя палаты возвел меня Гарри О., ее исполнительный директор. И он же проводил встречу советского гостя с сан-францисскими бизнесменами. Торговая палата расположена в одном из зданий на Калифорния-стрит, главной магистрали финансовой части города. Пришли солидные люди, сидели в массивных солидных кожаных креслах и вели, посмотреть со стороны, солидную беседу. Каждый из них известен в городе, каждый ворочает немалым делом. Но сразу же выяснилась старая истина: они очень мало знают о нас, о нашей стране. Много меньше, чем мы о них. Один из участников беседы, президент крупной страховой компании, седой высокий мужчина с сухим и сильным лицом, обезоруживающе откровенно

признал свое незнание. Не знаем и потому опасаемся — вот был смысл его краткого выступления. Так узнайте же! Беда, однако, что если и узнают, то от тех преимущественно, кто хочет лишь усилить страхи и опасения.

Один из присутствовавших был в некотором роде международник-профессионал, профессор, возглавляющий местный совет международных отношений. Его огорчало то, что он назвал отсутствием «творческого подхода» в американо-советских переговорах о контроле над вооружениями. Был один бывший сан-францисский мэр, которому приходилось встречаться с многими крупными международными деятелями. Но и он не показал эрудиции, несколько наивно и наугад предположил, что главным препятствием на переговорах служит проблема проверки и инспекции: спрашивал, почему нельзя пользоваться фотоаппаратами и кинокамерами, когда летишь над советской территорией, будто сам попутно хотел стать инспектором и проверщиком. Самые умные вопросы задавал бизнесмен с сербской фамилией — президент торговой палаты города Сан-Хосе, лежащего к югу от Сан-Франциско, быстро развивающегося центра электронной промышленности.

Со своей стороны я спросил мнение присутствовавших вот по какому вопросу: не надеются ли нынешние руководители в Вашингтоне, развязав небывалую гонку вооружений, экономически измотать Советский Союз, что называется, заставить пас надорваться? Президент Торговой палаты ответил примерно так: если у кого-то в Вашингтоне и есть такие намерения, они не смогут их осуществить, потому что американский народ нетерпелив и откажется в течение долгого времени поддерживать политику рекордных военных расходов...

Гарри встречей остался доволен.

У американцев тоже ведь любят ставить галочки, и он теперь может добавить еще одну — симпозиум по [вопросам американо-советских отношений с участием видных представителей делового мира Сан-Франциско и специально прибывшего советского американиста.

К сожалению, другие встречи, которые взялся устроить Гарри, не состоялись. В «Бэнк оф Америка», в «Крокер-бэнк» их отменили в последнюю минуту. «Черт возьми - возмущался Гарри,-так не делаются дела в этой стране» И тут нынешние деловые американцы были не похожи на прежних деловых американцев. В консульстве тоже говорят, что в нынешнем климате американцы не идут на установление и поддержание контактов с советскими людьми. После каждой встречи

с советскими их навещают и опрашивают сотрудники ФБР. Отсюда типичная реакция: «Зачем мне эта морока.»

Да, Гарри был незаменимым помощником и проводником там, где не могли помочь или провести свои, к тому же занятые люди: в конце концов, никто в консульстве не обязан помогать газетному корреспонденту, если он не сват, не брат и не заезжий начальник. А Гарри помогал Американисту зачерпнуть из стихии чуждой, запредельной. И сам был частью этой стихии, но частью особой.

Ему было около шестидесяти. Среднего роста. Ходил уверенно и прямо. Широкое бледное лицо хранило твердое выражение, когда он, обсуждая какие-либо деловые вопросы, характерно встряхивал длинными седыми волосами. Иногда же, особенно в разговорах с советскими людьми, на лице Гарри появлялось выражение сентиментальное и несколько как бы виноватое. И тотчас менялось на твердое и уверенное, и он встряхивал седыми прямыми волосами, оставшимися только на затылке: сделаю, помогу...

— Хочу, чтобы наш народ жил как человек. — Эту смешную фразу Гарри сказал по-русски, сидя перед Американистом за столом исполнительного директора Сан-Францисской торговой палаты.

Когда Гарри говорил наш парод, он имел в виду именно наш парод, а не американский. Но Американист ни разу не слышал, чтобы, разговаривая с американцами, Гарри сказал — ваш народ. Странная раздвоенность свидетельствовала о необычной судьбе. В свое время он был советским гражданином, волею обстоятельств превратился в гражданина американского, но не хотел порывать связей с родиной, напротив, крепил изо всех сил, и поворот в своей жизни» сделавший его американцем, он как бы искупал и оправдывал перед советскими людьми той ролью, которую добровольно брал на себя — ролью живого и крохотного, в одну человеческую судьбу, мостика между двумя народами.

В детстве он был Гарриком, армянским мальчиком в Баку. Потом воевал, попал в плен к немцам, а потом — в американскую зону оккупации, потом и в саму Америку; времена были героические и суровые, и он рассудил, что в родной стране его, бывшего военнопленного, вряд ли ждут с цветами и объятиями. Теперь этой истории превращения Гаррика в гражданина США было почти уже сорок лет. И получалось, что жизнь на две трети прошла за океаном, а корни остались в родной земле — и мать, старая большевичка, которую он приглашает иногда погостить

к себе и которая всякий раз томится в Сан-Франциско и тянется домой, и брат, народный артист, руководитель популярного ансамбля, и детство с юностью, которые все чаще навещают человека на склоне его дней.

В Америке Гарри пробился и преуспел. Начинал голью перекатной, с подметания улиц, без единого американского гроша. Подсобили братья-армяне, жизнь на чужбине из поколения в поколение учила их спайке и взаимовыручке. Вывезли также собственные способности, упорство, жизнестойкость. В конце концов он попал продавцом в ювелирный магазин и дальше, как многие из соплеменников, пошел по торговой части — до нынешнего поста в торговой палате города, где жил он своей второй, американской жизнью.

Кто усомнится, что у Гарри развита деловая, коммерческая жилка, раз, начав с нуля, он прошел огонь и воды, прежде чем добрался до медных труб, до признания в чужом городе? Если бы наряду с коммерческим обладал оп и литературным даром, то не было бы, наверное, цены его рассказам о том, как он пробивал себе дорогу в Сан-Франциско, о внутренней начинке американской жизни, о подноготной, которая скрыта от нас, посторонних, аутсайдеров. Но он не литератор, а предприниматель в среде предпринимателей с особой хваткой и умением, знающий, как ладить с разными людьми и как вовремя и в нужном месте купить, к примеру, дом — и через год-два перепродать его большой строительной корпорации, которая именно на этом месте расчищает территорию для своего многомиллионного проекта, а от перепродажи — всего лишь от перепродажи — положить себе в карман, предположим, миллион долларов. Да, миллион! У нас это спекуляция, а у них — законная торговля недвижимостью, талант делать деньги, и он ценится выше всех других талантов. Это образ жизни, успех, без которого человек не может состояться. Гарри состоялся в Америке — с престижной работой и достаточным капиталом на остаток дней, с загородным домом, любящей женой из русских, с двумя сыновьями, которые избрали творческую стезю: старший — скульптор, младший — музыкант (ему отец купил кооперативную квартиру в Нью-Йорке и помогает в заграничных гастролях, иногда вместе с советскими музыкантами).

Гарри состоялся и в отношениях с советскими людьми. Не будь Гарри — удачливого бизнесмена, не было бы и Гарри — живого мосточка, энергичного и неутомимого, добровольного помощника советским коллективам, делегациям, отдельным работникам, приезжающим на короткий или более продолжительный срок в Сан-Франциско. Для советского

генконсульства это самый деятельный активист из местных жителей, и он не съезжился и не спрятался в укрытие при сильном похолодании и, не теряя надежды, работает во имя приближения теплых дней.

Американист и Гарри были всего лишь шапочными знакомыми — однажды встречались в Айрин-хаузе и имели общих друзей. И если уж дело сводить к голой пользе, к выгоде, то какой прок был Гарри от Американиста? В лучшем случае упоминание в газете о встрече в Торговой палате, да и дойдет ли оно, упоминание в советской газете, до Сан-Франциско? Но Гарри опекал Американиста, как друга и родного человека, которому нужна понимающая душа вдали от дома. И верный своему смешному девизу: «Я хочу, чтобы наш народ жил как человек»,— Гарри превратил его в гостя торговой палаты и устроил со скидкой в фешенебельный отель. Пусть не в своей тарелке чувствовал себя там Американист, зато выглядел солидным человеком. «Хайятт-Ридженси» был лучшей визитной карточкой, которую он мог предъявить тем жителям славного Сан-Франциско, с которыми хотел встретиться...

Вечером они ужинали с Гарри в Клубе мировой торговли, где членами состоят крупные бизнесмены. Сидели за столиком у окна, за окном в темноте лежала гавань, куда не забывают дорогу торговые суда под флагами всех стран.

Разгорячившись и расслабившись, Гарри отдавался той манере выпивать и закусывать, которую каждый раз он как бы заново возрождает в себе при поездках в Советский Союз и при встречах с советскими людьми в Сан-Франциско.

При этом громко и отчетливо, на своем американизированном русском языке он развивал любимую, в присутствии соотечественников тему: как же все-таки улучшить американо-советские отношения?

Американист внимательно слушал Гарри и согласно кивал, хотя видел, что в области международных отношений этот искушенный человек наивен, как ребенок.

В словах Гарри паролем звучало имя Кристофер. Он произносил его по-американски, с ударением на первом слоге. Кристофер (Христофор) был американцем греческого происхождения, бывшим мэром Сан-Франциско. Кристофер по-прежнему пользовался в городе известностью и весом, и в вечном состязании за власть разных групп сан-францисской элиты армянин Гарри, видимо, принадлежал к группе грека Кристофера. Гарри, выходило из его слов, верил в могущество Кристофера и считал, что оно простирается далеко за пределы города на заливе. Эта вера и составляла суть амбициозного проекта,

который Гарри со всевозможным красноречием излагал Американисту. Создать представительную торгово-экономическую делегацию во главе с Кристофером, включив в нее президента «Бэнк оф Америка» и других крупнейших представителей калифорнийского бизнеса, добиться благословения государственного секретаря Шульца и самого Рейгана, тоже калифорнийцев, и отправиться с широкими полномочиями в Москву для встреч и разговоров на самом высоком уровне. Вот он, самый подходящий, поистине чудодейственный рычаг. Возьмись за него — и все встанет на место.

Многоопытный Гарри явно не понимал, как громоздок и тяжел мир, который он хотел бы выправить, и выпрямить при помощи Кристофера из Сан-Франциско. Как человек деловой, практический, к тому же восточный, кавказский, он не знал и не признавал мудреных теорий, доктрин, концепций. В его сознании все завязывалось па людей и на личные связи даже в отио. шениях двух гигантских держав, воплощавших две общественно-экономические системы и два взгляда развитие мировой истории. Все можно уладить через нужного человека в нужном месте — вот в чем, по существу, состояло его кредо. И за столиком в Клубе мировой торговли продолжало вылетать из его разгоряченных уст магическое слово Кристофер. С ударением на первом слоге. И с соседних столиков на них оглядывались солидные пожилые люди, бизнесмены, пришедшие поужинать в своем клубе с женами, друзьями и детьми. В диковинной для пих русской речи Гарри они понимали лишь это произносимое по-английски слово Кристофер. Чудак-армянин, заигрывавший с русскими, привел еще одного гостя и опять разгорячился, подвыпив с ним, — вот примерно что они думали при этом. Россия и отношения с ней при всей их важности не занимали большого места в жизни этих людей, и, наверное, они удивились бы, узнав, в каком драматически глобальном контексте вырывалось у Гарри имя бывшего мэра.

Был уже поздний вечер, когда в маленьком, новой модели «кадиллаке» они поднялись на аристократический Ноб-хилл, где рядом с отелями «Марк Гопкинс» и «Фэрмонт» шла открытая лишь денежным людям ночная жизнь. Бросив автомобиль на попечение негра- швейцара, попали в подвальный бар «Алексис». В затемненном помещении тускло светилась стойка с бутылками, посетителей не было, лишь в отдаленном углу тихо сидела молодая пара. Молодой бородатый человек за пианино наигрывал нечто знакомое, из детских довоенных лет. Полная женщина в черном шелковом платье, не похожая на

обычную официантку, принесла по высокому стакану виски со льдом и содовой. Американист не терял контроля над собой и не позволял себе расслабиться, а Гарри от выпитого отяжелел и от разговоров неожиданно помрачнел.

Он снова сел на свой любимый конек. Делегация во главе с Кристофером должна была, по его расчетам, отправиться поздней весной или летом, а сам он на днях летел в Москву с другой делегацией — Американско-советского торгово-экономического совета. Он волновался перед поездкой, не был уверен, что его примут.

Американист вдруг понял, что при всем уверенном поведении Гарри в Сан-Франциско возвращения на родную землю с паспортом американского гражданина давались ему тяжело.

В Сан-Франциско Гарри был помощником, проводником и другом приезжавших советских людей. В Москве же для тех, кто не знал ни его, ни его истории, он был непонятным, а то и подозрительным, вызывающим недоумение и настороженность американцем — с армянской фамилией и знанием русского языка. В Сан-Франциско он говорил мы о нашем народе, как будто и не перестал быть его частью. Но в Москве, в Шереметьевском аэропорту, он не мог сказать мы, оказавшись перед советским пограничником или таможенником.

И вот перед каждой поездкой чувство неприкаянности и раздвоенности терзало его, и вот, подвыпив, в сумраке подвального бара на Ноб-хилл Гарри рассказывал Американисту историю, которая угнетала его и не выходила из головы — историю о том, как его однажды обыскивали на московской таможне.

Они с женой возвращались в Соединенные Штаты после очередной поездки в Советский Союз, дело было в Шереметьевском аэропорту, жену таможенный контроль уже пропустил, а его вдруг задержали, попросили пройти в служебное помещение, где сообщили, что должны подвергнуть дополнительному и более тщательному досмотру, обыскать. Он был удивлен, обижен, оскорблен, спросил — на каком основании, в чем его подозревают. На том основании, сказали ему, что он слишком часто и, значит, неспроста ездит в Советский Союз. Во всяком случае, так он запомнил слова таможенника, и они до глубины души потрясли его, потому что эти слова как бы лишали его права совершать такие поездки, хотя в американском его паспорте конечно же стояла соответствующая советская виза, выданная консульством в Сан-Франциско...

И теперь перед новой поездкой жена отговаривала Гарри:

«Зачем тебе все это нужно? Да еще в такой холод? Сидел бы себе на даче...»

Эх, гулять так гулять. Заведясь, Гарри не хотел остановиться. Повез своего гостя в одно русское заведение. Кирпичный угловой дом на Пасифик-авеню молчал в ночной тишине. Но когда молодой, ежившийся от прохлады и одиночества негр-швейцар и охранник открыл им дверь, со второго этажа донеслись громкие беспорядочные звуки ресторанного веселья. В табачном дыму гудели люди, разгоряченные вином и музыкой. Столы в зале были необычными, длинными, и за каждым сидело, как бы артельно, десятка два мужчин и женщин. Низенькая женщина армянской внешности, улыбаясь, поспешила навстречу Гарри. Они встретились с поцелуями и шутками старых знакомых. Армянка средних лет и была владелицей русского заведения. Улыбаясь и встряхивая по привычке длинными седыми волосами на затылке, Гарри представил ей Американиста свойским тоном и как человека их общего круга, будто был уверен, что гость из Москвы не может не вызвать добрых чувств. Все трое понимали при этом, что гость из Москвы не может быть человеком их круга, и в словах и взгляде хозяйки Американист почувствовал не более чем любезность и оценил ее как верно определенную дистанцию: пылкие, добрые чувства были бы фальшивы.

Слегка потеснив компанию, им нашли место за одним из длинных столов. Американист оглядывался, осваиваясь в незнакомом месте. В русском заведении, принадлежавшем армянке, веселая ночная публика говорила больше по-английски, правда, многие с акцентом.

А привлекало это заведение людей, в разное время покинувших Россию или Советский Союз и сохранивших ностальгическую память о российской эстраде.

С ресторанным шумом и гамом воевали аккордеонист и скрипач, которых Гарри отрекомендовал как бывших одесситов. Главным в дуэте был аккордеонист Борис. Полусидя на высоком стуле, он не только играл, но и пел в микрофон, прикрепленный на изогнутой металлической трубке к его аккордеону. У Бориса было грубое, большеротое и подвижно-выразительное лицо, и пел он хорошо, с душой и очень отчетливо выговаривая русские слова песен. Этой отчетливостью произношения слов он добивался, чтобы его слушатели, живущие в Другой языковой стихии, легче поняли, лучше услышали и ощутили старые далекие красивые песни.

Эх, сыпь, Семей, подсыпай, Семен,— отчетливо выговаривал Борис, переделав в Семена лихую Семеновну из русской песни.

Американисту нравилась манера Бориса; вслушиваясь в его пение, он тоже поддавался ностальгическому настроению, но чувство неловкости от присутствия в таком русском заведении не проходило, а, напротив, усиливалось. Только Гарри, сидевший рядом, обеспечивал надежный левый фланг, а так, озираясь, он ловил взгляды, в которых были недоумение, вопрос и холодное любопытство.

Впрочем, он нашел и один вполне доброжелательный взгляд. Сидевший через стол мужчина в затемненных отсвечивающих очках заговорил с ним по-русски. Он оказался профессором из Беркли и вкратце рассказал свою историю. Родился в Харбине, куда попали его родители, покинув Россию после революции. Затем с Дальнего Востока перебрался на Дальний Запад, американский. Недавно, между прочим, побывал в Харбине, даже нашел дом, где родился, даже зашел в комнату, в которой жил; разгородив, ее занимали четыре китайца. В ресторанном шуме профессору приятно было говорить о своем детстве по-русски, и другие люди за столом вслушивались в его русскую речь. Он трижды ездил в Советский Союз, а русский язык сохранил в прекрасном состоянии еще и потому, что считает себя человеком русской культуры. Это сохранение русского языка, поддержание его в активном состоянии стоило ему больших усилий: ни жена, ни дочь не говорят по-русски, среди коллег — лишь очень немногие.

— Вдоль по улице метелица метет... — пел между тем Борис, и из его большого рта вкусно, красиво, протяжно вылетало: — Ты постой, пос-той, кра-са-ви-ца мо-я, дай мне на-гля-деть-ся радость, на те-бя-а-а...

Он превосходно владел русским языком со всеми его песенными переливами, но еще и потому хорошо пел, что пел как иностранец. Он давно отдалился от этой песни и изменил ей и, поняв, что потерял, возвращался теперь к ней, заново ощущая всю ее красоту, и именно это придавало особую грусть, лихость и прелесть его исполнению...

Вскоре Американист начал теревить Гарри. И время было позднее, и в этом русском заведении не отпускало его гнетущее ощущение чужака. Было что-то глубоко фальшивое в его ресторанном сидении с этими людьми. Не давалась ему роль подгулявшего и беззаботного человека, веселящегося в Сан-Франциско под песни русского народа вместе с выходцами из его страны, американцами во втором или первом поколении.

И родные песни не были для них родными, и родной язык они променяли на другой, и все это не соединяло, а разделяло его с ними...

Дверь тяжело хлопнула, ресторанный гул оборвался, и лишь негр, швейцар и охранник, зябко кутавшийся в свою куртку, остался вместе с ними на ночной Пасифик-авеню

Было тепло. Через раскрытую дверь балкона смотрело темное небо. Балкон подобием трибуны выступал из отвесно падающей вниз стены. С него открывалась головокружительная панорама богатого видами города, бегущего по волнам холмов рядом с волнами океана. Внизу наискосок уходила к берегу залива главная улица — Маркет-стрит в огнях рекламы, уличных фонарей и автомобильных фар. У ног лежал Сити-Холл, выстроенный в стиле административного неоклассицизма. Со всех сторон его окружали другие муниципальные здания и зеленые скверы. Но взгляд манила даль. В вечернем зареве огней, обрывавшихся у темной кромки воды, начинался длинный светящийся пунктир Бэй-бридж — моста через залив, и там на суше грудились новые небоскребы банков и корпораций, как будто собравшись воедино перед решительным наступлением на старый, уютный, малоэтажный Фриско.

Большой дом был на одну треть отдан под квартиры, а на две трети — разным конторам. На двадцать девятом этаже Слава и Валя прожили уже четыре года. Он уходил с утра в свой офис, в том же доме, и там посредством телетайпа подсоединялся к новому зданию ТАСС у Никитских ворот в Москве, где работали его коллеги, друзья и товарищи, получал от них указания, задания и выпуски информации, которые они рассылали по всему свету, и со своей стороны, со стороны тихоокеанского побережья Америки, печатал, пуншировал и телексом отправлял туда, на Тверской бульвар, к Никитским воротам, сообщения о сан-францисских, калифорнийских и общеамериканских событиях.

Слава был рядом, в том же доме, со своей корреспондентской работой, а Валя томилась в квартире с головокружительными видами. Прекрасный город лежал у Валиных ног. Многие бы позавидовали, мечтали бы попасть и поглядеть, по когда это не мечта, а уже жизнь, которая длится четыре года, что проку, что он лежит у ног, прекрасный город, много ли в нем дверей, которые по-дружески откроются, и окошек, куда по-свойски постучишься? Та же история с разными вариациями — у Андрея с Наташей в Нью-Йорке, у Коли с

Ритой или Саши с Тamarой в Вашингтоне и у Славы с Валеи в Сан-Франциско, еще дальше от дома, еще меньше наших людей и реже бывают путешествующие соотечественники. Но, с другой стороны, не вчера началась эта странная жизнь, и было время не только для тоски, но и для того, чтобы к ней привыкнуть, втянуться в нее и сделать своим образом жизни. И Валя привыкла к своему высотному гнезду, где безопасность по-американски обеспечивалась запертыми дверями и специальными охранниками, и жильцам даже выдавали специальные ключи и пропуска для прохода в ту часть огромного дома, где находились квартиры, а не конторы.

Американский город, по-вечернему шумевший внизу, был на время забыт тремя москвичами, вспоминаявшими былые дни и общих знакомых. А между тем на низком столике, возле которого они сидели в креслах, среди тарелок и бокалов неким служебным вкраплением лежал листок с текстом на английском языке. Слава принес его из своего офиса, оторвав от ленты, которая непрерывно ползла днем из маленького, легкого, как нотный пюпитр, телекса и которую заполняло своими сообщениями американское информационное агентство ЮПИ. Московский корреспондент ЮПИ сообщал о том, что в советской столице по причине, еще не объявленной, внезапно отменили трансляцию по телевидению концерта в честь Дня милиции, а также хоккейного матча. Вместо этого, сообщал корреспондент, передают Бетховена и другую классическую музыку. Дикторы телевидения появились в темных галстуках. В осторожных выражениях корреспондент сообщал, что распространяются слухи о возможной кончине одного из высших должностных лиц. Подобные сообщения передавались и другими иностранными корреспондентами, и два советских журналиста, встретившиеся в Сан-Франциско, гадали, что бы это могло означать. После ужина, спускаясь в гараж, они заглянули в офис Славы. Телетайпы молчали, новых разъяснений и уточнений не было. И Слава вывел машину на ночную опустевшую Маркет-стрит а повез гостя в отель.

...Он еще дремал, и было темно за окном, когда внезапный телефонный звонок подбросил его с постели. Прозрачно-зеленые, как морская волна, цифры на электронном табло тумбочки показывали семь утра. Он узнал голос Славы. По деловой собранности голоса чувствовалось, что Слава давно на ногах.

— Не разбудил? — И, не дав ответить, сказал: — Тут вот какое дело. Это — Брежнев.

Вскочив, Американист включил телевизор. Телевизор ие спал

и по всем каналам перерабатывал гигантскую новость. В Вашингтоне и Нью-Йорке, откуда велись передачи, шел уже одиннадцатый час дня. Эй-Би-Си в видеозаписи показывала президента Рейгана. Президент выступал перед пожилыми, но молодцеватыми американцами с медалями на груди, приветствуя их по случаю Дня ветеранов. В своем приветствии он сообщил ветеранам, что направил соболезнование в Москву по случаю кончины советского руководителя. Эй-Би-Си вела и специальную передачу — голос бывшего президента Форда, отвечавшего корреспонденту, кадры с бывшим президентом Картером, которого нашли репортеры, видеозапись беседы с бывшим госсекретарем Киссинджером — еще полгода назад его подробно спрашивали, что будет с американо-советскими отношениями, если... Телекадры трехлетней давности переносили зрителей в Вену, где лидеры двух стран подписывали договор об ограничении стратегических вооружений — ОСВ-2. Подписав договор на торжественной церемонии и поздравляя друг друга, они вдруг потянулись друг к другу, и, испытав мимолетное замешательство, поцеловались. Поцелуй вышел нечаянным и трогательным. Минутный порыв. Незапланированный сентиментальный эпизод истории. Тогда росчерком пера они увенчали громадную многолетнюю работу с обеих сторон, по американский президент не довел ее до конца — подписанный договор так и не был ратифицирован американским сенатом.

Телевизионные комментарии были уважительными и уже спокойными по тону, поскольку первоначальное потрясение, вызванное внезапным известием, прошло. Гадали о будущем, причем и государственные деятели, и журналисты в один голос предполагали преемственность и стабильность советской внешней политики...

Американист на два дня сократил свое пребывание в Сан-Франциско, переделав билет с воскресенья на пятницу. Когда в твоей стране объявлены траурные дни, не с руки и за границей заниматься делами, как обычно. К тому же, его делам чинились препятствия. Он хотел навестить университетский город Пало-Алто в нескольких десятках миль от Сан-Франциско, и в нем архиконсервативный Гуверовский институт войны, мира и революции. Он все еще добивался встречи лицом к лицу с рейгановцами, в частности с теоретиками — поставщиками антикоммунизма. Но госдепартамент не дал разрешения на поездку в Пало-Алто.

Он отправился в советское генконсульство. Над зданием па

Грин-стрит флаг был приспущен, на древке рядом с красным полотнищем повисли черные ленты. Внутри, в зале первого этажа, генконсул, одетый в темный костюм, распорядился установкой траурного портрета и ждал американцев-посетителей. На столе перед портретом лежала книга для записи соболезнований.

Новость из Москвы совпала с американским праздником — Днем ветеранов. Официальные учреждения в Сан-Франциско не работали, меньше обычного было автомашин на улицах и дорогах. Пасмурный с утра, день постепенно прояснился. Попадет ли он еще в этот город? Хотя мысли Американиста были дома, сидеть с ними в четырех стенах номера в «Хайятт-Ридженси» не представляло смысла. Он пешком отправился вдоль берега залива в знаменитый район Рыбацкого рынка. Там, среди ресторанчиков и сувенирных магазинчиков, как всегда, царил праздная толпа, реяло сырым духом морской пучины — продавали креветок, крабов, устриц, омаров и всевозможную рыбу, переложенную на прилавках кусками битого льда. Он отмечал перемены, подтверждающие, что сан-францисские жители и коммерсанты сохранили умение обживать свой город, со вкусом строить новое, а старину приспособлять к меняющимся временам и потребностям. Из старых кирпичных зданий шоколадной фабрики в районе Рыбацкого рынка, оказывается, можно было сделать изящно оформленный торговый пассаж с галереями, переходами и множеством лавчонок. На старом причале возник еще один торговый ряд, так его и называли — Пирс № 39. Он полюбился горожанам, и они прогуливались там с детьми, осматривали старую музейную шхуну, поглядывали на новые яхты. Магазинчики были набиты вещицами на память о посещении любящего свою славу Сан-Франциско.

Когда Американист вернулся в отель, телеэкран продолжал обрабатывать сенсационную новость из Москвы. Еще не было объявлено, что американскую делегацию в Москву возглавит вице-президент Буш, и потому гадали, полетит ли на похороны советского президента американский президент. Большинство комментаторов полагало, что да, должен ехать, по соображениям как дипломатической вежливости, так и государственной политики, что надо использовать эту поездку для знакомства с новым советским руководством, что в момент, напоминающий о бренности жизни и о смертном уделе даже самых больших людей, надо продемонстрировать уважение к другой ядерной державе и еще раз символически выразить желание жить с ней в мире.

Теперь Американист не покидал своего номера и не отрывался

от телеэкрана. Он знал, что в такие дни газета не ждет материала ни от своих собственных корреспондентов, ни от специального, что все освещение события будет сугубо официальным, протокольным, по тем не менее нес свою вахту у телеэкрана, и рой мыслей витал в его голове — мыслей о прошедших годах, о будущем родной страны, о советско-американских отношениях.

Около полуночи по каналу Эй-Би-Си снова началась специальная полтора часовая передача. Снова выступали бывшие президенты — Никсон, Форд, Картер, встречавшиеся с умершим советским руководителем, бывшие госсекретари Киссинджер и Хейг, известные специалисты из нью-йоркского Совета международных отношений. Все они так или иначе защищали основы американской внешней политики, по в этот особый день избегали антисоветских нападок, выдерживали спокойно-рассудительный, уважительный тон. В тех или иных словах все участники передачи говорили о том, как важно понимать и соблюдать взаимные интересы в тот момент, когда меняются люди у руля другой великой державы.

Когда Американист заснул в час ночи, передача все еще продолжалась.

Утром Слава отвез его в аэропорт и он вылетел из Сан-Франциско. К вечеру был в Вашингтоне. А еще через день, в воскресное утро, вместе с другими советскими корреспондентами приехал в посольство. Президент Рейган должен был нанести визит в посольство. Корреспондентов пригласили присутствовать при этом.

И на этот раз парадная дверь в посольство и металлические ворота, через которые должен подкатить к двери президентский лимузин, были раскрыты. Царила атмосфера напряженного ожидания и того повышенного внимания ко всем деталям, которая обычно предшествует появлению чрезвычайно важного лица.

Президент, живущий и работающий в трех кварталах от советского посольства, ни разу там не был, как ни разу не был он и в Советском Союзе.

Траурный портрет был установлен в комнате на втором этаже, рядом с Золотым залом, который был закрыт. Корреспондентам сказали, что непосредственно перед приездом президента их запустят на второй этаж и там, с близкого расстояния, стоя у колонн напротив комнаты с траурным портретом, они смогут наблюдать церемонию, которой придавалось важное,

символическое значение. Собравшись на первом этаже, в комнатке пресс- отдела, корреспонденты ждали сигнала.

По коридору мимо них быстро прошел посол — с траурной повязкой на рукаве темного пиджака, как всегда энергичный и приветливый. Судя по тому, что он шел из своего кабинета в направлении вестибюля, минута приближалась.

Но приглашения на второй этаж корреспонденты так и не дождались. То ли посол передумал, то ли американская секретная служба не захотела лишних свидетелей, но американские репортеры не сопровождали Рейгана, а советские оказались запертыми в коридоре первого этажа. Напрасно дергали они, пытаясь открыть, дверь, выходящую в вестибюль, с другой стороны ее придерживали железной рукой. На второй этаж пригласили лишь двоих — корреспондентов телевидения и ТАСС, для картинки и для официального сообщения.

Остальные ждали их возвращения и рассказа. Два очевидца вернулись быстро. Влетели в комнату, возбужденные и раздосадованные. Тассовец сразу принялся исправлять свою заранее заготовленную версию, так называемую болванку. Ему пришлось вычеркнуть из нее минуту траурного молчания. Минуты не оказалось. Очевидцы делились с коллегами деталями, которым не нашлось места в коротком тассовском сообщении, тут же отправленном в Москву. Президент, рассказывали они, был не в черном, а в обычном коричневом костюме, без супруги, которую почему-то тоже ожидали. Он поднялся на второй этаж в сопровождении посла и своих охранников, сел в красное кресло, стоявшее у столика перед траурным портретом, и сделал свою лаконичную запись в книге соблезнований. Впервые попав в советское посольство, президент озирался. Тут мнения очевидцев разошлись. Один говорил, что президент озирался всего лишь с любопытством. Другой утверждал — с испугом...

В здании посольства Американист однажды наблюдал другого президента США. В июне 1973 года в ходе своего официального визита советский руководитель дал обед в честь главы американского государства. Обед проходил в посольстве. За круглыми столами, расставленными в Золотом зале, собрался тогда цвет официального Вашингтона. Представители прессы, не допущенные в зал, толпились на лестничной площадке, и Американист, подавляя чувство человеческой неловкости ради профессионального любопытства, вместе с Виталием, который был в то время нью-йоркским корреспондентом, пробился к

раздвигавшейся двери в зал и, высовывая голову, одним глазом видел не только круглые столы, за которыми сидели сенаторы и министры с женами, но и главный стол с главными людьми, слева, под большим зеркалом в золоченой раме.

Парадный зал никогда еще не блистал так, как в тот вечер. Его заново позолотили и отделали мастера, специально присланные перед государственным визитом из Москвы, а из-за стульев для официального обеда, взятых напрокат и тоже позолоченных, вышел небольшой конфуз — краска не совсем высохла, и два-три сенатора покинули зал после обеда со спинами в золоченую полосу.

Так вот, они с Виталием заглядывали в зал из двери, и наш охранник, стоявший тут же, на всякий случай со значением сказал им: «Я на вас надеюсь, ребята!» Этими словами их стояние было узаконено, и Американист мог наблюдать, как за главным столом происходил обмен речами, как наша держава говорила с их державой и каким высоким оптимизмом дышали сказанные при этом слова. Они запомнились вдвойне именно потому, что его поразила фантастически оптимистическая интонация, когда он слышал их своими собственными ушами, а не просто читал в пресс-бюллетене и газете.

— Мы — оптимисты, — слышал он, — и считаем, что сам ход событий и понимание конкретных интересов подведет к выводу о том, что будущее наших отношений лежит на пути их взаимовыгодного развития на благо нынешнего и грядущих поколений людей.

— Мы убеждены, что, опираясь на крепнущее взаимное доверие, мы сможем неуклонно идти вперед. Мы — за то, чтобы дальнейшее развитие наших отношений приняло максимально стабильный, более того — необратимый характер...

У истории свои представления о времени и скорости его движения, и обыкновенному человеку, погруженному в гущу текущих событий, не всегда дано верно оценить, что такое быстро и что такое медленно с исторической точки зрения. Много это или мало, девять лет, которые минули с тех пор, как в этом здании прозвучали слова оптимизма и надежды?

Когда железная рука отпустила дверь и они вышли из коридора в вестибюль, ни там, ни за воротами посольства не осталось и следа нагрянувшего и быстро исчезнувшего президентского кортежа. Шестнадцатая стрит свободно просматривалась палево, до Лафайет-сквер, за которой белел Белый дом, и направо, до памятника какому-то зелено-бронзовому конному генералу. В своей служилой части Вашингтон как вымер в

воскресный день — ни людей, ни машин, ни ограничений на парковку у обочин.

Вместе с товарищем свернул Американист направо и еще раз направо — на Эм-стрит и на Пятнадцатую. Пятнадцатая тоже пустовала в воскресенье, просматривалась в обе стороны, как лесная просека. Забрав на парковке машину, отправились на Конститушн-авеню, которая, знали они, не должна была быть пустой в этот солнечный и холодно-ветренный день

.Обретя космические скорости, люди стали повторять, что Земля наша мала. Разве и впрямь не мала - вокруг шарика за полтора часа?! Но для кого и для чего она мала, наша планета Земля? Он ане так уж мала даже для космонавтов, которые в особой своей ностальгии озирают бело-голубую красу из черной бездны космоса. Тем более Американист по роду и характеру своей работы постоянно ощущал не малость, а разность и разноликость Земли и в этом ее необъятность.

И в тот воскресный ноябрьский день Земля, помимо всего прочего, свободно вмещала траур в Москве и парад в Вашингтоне.

Это был американский парад — шествие гражданских граждан с вкраплениями военных, больше отставников. Он двигался по Конститушн-авеню, этот американский парад, который долго и рекламно-громко, с особым тщанием готовили,— парад ветеранов вьетнамской войны. Война все дальше уходила в прошлое, по в Америке никак не могли сладить с памятью о ней. И все потому, что война кончилась позорным поражением той шовинистической Америки, которая в ходе ее без конца повторяла свой любимый девиз, что Америка выигрывает все свои войны. Непопулярность войны, расколовшей нацию, распространилась и на ее участников — американских солдат, делавших жестокое, кровавое, грязное дело. А после войны, убравшись восвояси из чужой страны, американцы продолжали воевать друг с другом, по-разному истолковывая уроки Вьетнама. По-ученому это похмелье назвали вьетнамским синдромом. Избегать новых Вьетнамов, новых вооруженных интервенций за рубежом — или продолжать ту же империалистическую практику, но без колебаний, и в новых Вьетнамах побеждать, а не проигрывать. Ответы менялись в зависимости от того, какими были преобладающие общественные настроения, или, точнее, кто успешнее создавал их и дирижировал ими. Придя к власти, новая администрация исподволь стала готовить страну к возможности новых Вьетнамов и в то же время призвала забыть ссоры и распри периода войны и не жалеть патриотического еля на чистых и хороших ребят, которые совсем еще молодыми ветеранами вернулись из проклятых джунглей. Кем бы ты ни

был, американец» и как бы ни поступал в те годы, отныне твой патриотический долг — чувствовать и славить этих ребят.

Вот что означал парад, на который съехались ветераны из всех пятидесяти штатов. И два советских американиста, когда-то наблюдавшие и переживавшие в Америке ход далекой войны и много писавшие о ней в свои газеты, не могли не прийти в этот день на Конститьюшн-авеню.

Парад задумали как эпилог, ио ему не хватало внушительности и потому завершенности. Пестрыми группками, подняв штандарты своих штатов, вразнобой двигались по мостовой тридцатилетние вьетнамские ветераны, и их пятнистые ядовито-зеленые куртки и такие же мятые военные шляпы с узкими полями вызывали в памяти телевизионные сценки периода войны — солдаты, так же одетые, но не па фоне вашингтонских министерских зданий, а на фоне соломенных хат и низеньких раскосых людей, прикрывшихся от жгучего солнца конусами соломенных шляп. У тех солдат, которые живьем попадали на телеэкран и которым еще предстояло стать либо мертвецами, либо ветеранами, были в руках не звездно-полосатые флажки, а винтовки М-16. В телекадрах тех лет они не шествовали, а шастали по тем деревням, настороженно озираясь и поводя из стороны в сторону своими винтовками. Иногда, озираясь, они лихорадочно поднимали в санитарные вертолеты раненых товарищей, лежавших на носилках, а теперь по Кон- ститьюшн-авеню тех же раненых катили в инвалидных колясках, и они тоже махали звездно-полосатыми флажками, по от этого им не было легче, война до гробовой доски осталась с ними, с их искалеченными телами, в их искалеченных судьбах.

Нет, все-таки нелегко справиться с наследием той войны, думал Американист, глядя на вьетнамских ветеранов. Нелегко тем, кто был там. И потому самыми солидными и уверенными участниками парада выглядели седые мужчины не в ядовито-зеленых куртках, а в черных пиджаках-блейзерах. Им не достался Вьетнам и память о джунглях, напалме и соломенных хатах. Седые были ветеранами других войн, после которых можно было сохранить уважение к себе и своему боевому прошлому.

Грохочущие, блестящие медью военные оркестры время от времени перемежали нестройное и не очепь-то многолюдное шествие, поднимая дух участников парада и толпы зрителей, стоявших на тротуарах. Толпа отвечала аплодисментами, но хлопки получались жидкими, да и сама толпа не была густой и скупилась на проявления патриотических чувств. Нет, слишком свежо то, что было, не подошло еще, время глядеть на эту войну

через призму сентиментальности и сладкой лжи.

Участники парада маршировали от белого купола Капитолия в направлении Линкольновского мемориала, где накануне открыли памятник павшим во вьетнамской войне. Дул холодный порывистый ветер, трепал флажки, уносил прочь медные звуки маршей, и на этом ветру за спинами зрителей двое парней развертывали белое полотнище плаката. Ветер мешал им, но, когда справились, когда полотнище разгладилось и надулось как парусник наши два американиста прочли порадовавшие их слова: «Хватит выворачивать наизнанку прошлое ради будущей, третьей мировой войны! Хватит с нас шовинизма!!!»

Через несколько дней Американист осматривал новый памятник, о котором много писали. Ему нашли почетное место, рядом с мемориалом Линкольну, в том же районе, где возведены памятники Джефферсону и первому из американских президентов — Джорджу Вашингтону. Впрочем, вьетнамский памятник не возвели, а, скорее, утопили, спрятали. Не будь рядом такого бросающегося в глаза ориентира, как величественный Линкольновский мемориал, его, пожалуй, и не найти. Этот новый вашингтонский памятник представлял подобие гигантского окопа, имеющего форму широко распахнутой буквы V, которая в данном случае могла означать лишь Vietnam, и никак не victory, победу. Внутренняя сторона окопа, его две протянувшиеся на десятки метров, широко распахнутые буквой V стены были выложены плитами великолепного черного мрамора, привезенного из Индии. Каким-то чрезвычайно точным электронным способом (о чем сообщали бесплатные буклеты, которые мог тут же взять любой желающий) на мраморных плитах были нанесены имена и фамилии всех американцев, погибших и пропавших без вести во Вьетнаме. Скорбный список начинался 1959 годом и в хронологической последовательности шел к 1975 году, последнему году войны и потерь. В нем значилось более пятидесяти восьми тысяч человек.

Вдоль стен из мрамора пролегали узкие бетонные дорожки. По ним, останавливаясь и всматриваясь в имена, прохаживались любопытствующие американцы и американки. Монумент настраивал на недоуменно-элегический лад. Нацелившись в мраморные доски, кто-то из посетителей занимался фотографированием. Знакомая фамилия? Близкий человек? Это были странные снимки на память.

Со стороны Индепенденс-авеню, пролегавшей совсем рядом, не было видно ни вьетнамского памятника, спрятанного в земле, ни людей, пришедших к нему. Зато неподалеку, превосходно видный, в высоком, белом, греческом мавзолее возвышался,

положив худые ладони на ручки кресла, беломраморный Линкольн с хохлом волос пад четко вылепленным лбом. К нему вели широкие ступени. С высоты мраморного Линкольна открывался вид на прямоугольный пруд, отражавший осенние деревья с остатками листвы, и дальше на гигантский серый обелиск Джорджу Вашингтону, а еще дальше, за зданиями музейного комплекса Смитсоновского института, прорывая окоем голубого неба, парил белый купол Капитолия.

Почему в нашем, лишенном романтики повествовании так часто действие происходит вечером или ночью? Читатель не раз убеждался: из-за разницы во времени с Москвой — восемь часов в Вашингтоне и целых одиннадцать в Сан-Франциско.

В Америке Американист продолжал жить по Москве. И бодрствовать ночью, когда, восстав ото сна, бодрствовали в Москве.

И была еще одна одинокая ночь в Айрин-хаузе и сонный Сомерсет за окном. Он заснул в первом часу, не раздеваясь. И тотчас проснулся, опасаясь проспать, и лежал, вслушиваясь в тишину. Около двух часов ночи, встал, зажег лампу у дивана в гостиной и приглушенно, чтобы не спугнуть всеобщую тишину, разбудил стоящий на полу большой ящик телевизора. Моментально ожил экран, и среди спящего вашингтонского предместья, как бы въяве, возникли суровые ноябрьские улицы, желтый корпус гостиницы «Москва», серое здание Совета Министров и Дом союзов с его колоннами. На фасаде Дома союзов в черном обрамлении висел большой портрет.

В Москве было десять утра, в Вашингтоне — два часа ночи. Обыкновенным чудом нашего времени, благодаря спутникам связи, одиноко пронесившимся в космической тьме, он перенесся па знакомый отрезок старого, преображенного и переименованного Охотного ряда. Очищенная от людей и обычного движения улица была подготовлена для торжественной похоронной процессии. И вплоть до пяти часов так и сидел он один перед тихо работающим телевизором.

Телекомпания Эй-Би-Си, добиваясь первенства в политических новостях и репортажах, вела в ту американскую ночь прямой репортаж из Москвы, и Американист, сидя у телевизора, в один и тот же миг с десятками миллионов соотечественников видел все то, что видели они,— последнюю вахту почетного караула у высоко вознесенного гроба, генералов, которые несли красные подушечки с орденами, медленное шествие за бронетранспортером, который вез гроб на орудийном

лафете, Красную площадь, заполненную терпеливо ждущими недвижимыми людьми, кремлевские башни и стены — и все более частые и пристальные кадры Мавзолея...

Никто из советских работников не спал в эти ночные часы — ни в посольстве, ни в комплексе, ни в квартирах, разбросанных по районам Вашингтона и его предместий. Но внимательную аудиторию составляли в это неурочное время не только советские люди. Забыв о сне, бодрствовали у телеэкранов и специалисты-советологи из американских государственных и частных служб — и спецслужб, наблюдая за «сменой караула» в Москве.

Так, то медленно и тоскливо, то ускоряемая электрическими разрядами событий, протекала американская жизнь московского газетчика, заведенная ровно на полтора месяца командировки, — от самолетного пролога к самолетному эпилогу. Он по-прежнему был озабочен получением максимума информации на единицу времени, хлопотал о встречах с американцами, исправно потреблял свою порцию газет и журналов и думал о корреспонденции, которая оправдала бы его сокращенную чрезвычайным событием поездку в Сан-Франциско. Добавилась еще и забота о крыше над головой.

Тут, быть может, уместно напомнить читателю, что наш герой прибыл в Соединенные Штаты всего лишь как лицо, временно заменяющее постоянного корреспондента своей газеты. Постоянный корреспондент не смог вернуться в Вашингтон после того, как из Москвы выдворили одного американского журналиста, неоправданно расширившего рамки своей деятельности. В Айрин-хаузе остался архив и другое имущество коллеги, и его жена, получив соответствующее разрешение, прилетела забрать оставшееся. Уступая место даме, Американист не без сожаления расстался с квартирой в Айрин-хаузе, в которой кое-как наладил холостяцкий быт и научился обороняться от тягостных поначалу воспоминаний.

Неподалеку от Айрин-хауза был отель фирмы «Холидей Ипп», один из сотен, разбросанных по Северной Америке, а заодно и Южной, и другим континентам. У Американиста имелся многолетний положительный опыт знакомства с «Холидей Инн» в разных местах. Знакомство пришлось в свое время прервать, после того как цены в этих отелях поднялись выше сумм, отведенных по смете. Правда, иногда возникали облегчающие обстоятельства сезонного характера.

Стояла поздняя осень, «Холидей Инн» па Висконсин-авеню наполовину пустовала, и молодой дежурный клерк, входя в

положение иностранца, обещал скостить цену до пятидесяти девяти долларов за сутки. Да-да, не удивляйтесь — это умеренная цена. Он тут же передал свою заявку на уцененный номер в компьютер, находящийся у него под рукой, по на зеленоватом мерцающем экране согласия не появилось. Компьютер, то ли блюдя интересы компании, то ли выказывая прав, не пошел навстречу Американисту. Однако дежурный паренек не испугался, заверил москвича, что комната по обещанной цене будет — с согласия компьютера или без оногo. Молодой негр-носильщик в коричневой униформе проводил Американиста на десятый этаж и показал комнату, которая выходила не на шумную авеню, а на противоположную тихую сторону.

Через три часа, вернувшись с чемоданом и требуемым задатком, Американист нашел другого паренька-дежурного. И у него компьютер бунтовал против пониженной цены, но и этот молодой человек не убоился, хотя ему пришлось выдать постояльцу не электронную, а старомодную, от руки написанную квитанцию, и перо, заметил Американист, плохо слушалось юношу, уже жившего в электронном веке.

В субботу дежурный был один-единственный на весь отель — отвечал на телефонные звонки, выдавал ключи, рассчитывался с постояльцами и следил за четырьмя дисплеями.

Так Американист, покинув Айрин-хауз, переехал в отель, где было тихо и удобно и не хватало лишь собственной кухоньки, этого нелишнего подспорья командированному человеку. В раме окна виднелись теперь не деревья и коттеджи Сомерсета, а соседние многоэтажные дома, фонтанчик и сквер на Френдшип-Хайтс, где он когда-то любил гулять, живя в Айрин-хаузе, какой-то мерилендский банк и Элизабет-хауз, где Коля с Ритой, советские ветераны в Америке, продолжали привечать его. Из окна метрах в трехстах был виден даже уголок Айрин-хауза. Знакомые дома и виды, соседство друзей облегчали жизнь.

Газеты Американист брал внизу, в отеле, или в ближайшей аптеке. Он не расстался с автомобилем невернувшегося коллеги, тяжелым вишневого цвета «бонневи-лем», и держал его теперь не в подземном гараже Айрин-хауза, а у себя под окном на открытой парковке. Каждый день начинался с утреннего взгляда в окно — цела ли машина?

Уильям Броккет, сорокалетний адвокат из Сан-Франциско, является совладельцем юридической фирмы «Кокер энд Броккет». Фирма помещается на Монтгомери-стрит, в

двухэтажном краснокирпичном здании, еще вполне крепком, но морально состарившемся от соседства новеньких сияющих небоскребов финансово-банковской Калифорния-стрит. Читатель вправе спросить: какое может быть дело у советского журналиста, приехавшего в Соединенные Штаты, к американскому адвокату? Какое общее дело находим мы теперь, читатель, с американскими адвокатами, медиками, ядерными физиками? С теми, кто к названию своей профессии прибавляет слово обеспокоенные. Обеспокоенные угрозой ядерной войны.

И пока мы еще не добрались до Билла Броккета на втором этаже краснокирпичного особняка, приведу лишь один пример...

Но тут читатель вправе спросить и другое: каким образом Американист, только что переехавший в вашингтонский отель «Холидей Инн», снова очутился в Сан-Франциско? Элементарный газетный прием, читатель. Он передавал из Вашингтона корреспонденцию о своих сан-францисских впечатлениях. После траурных дней, предполагал он, газета вернется в обычные берега и будет нуждаться в обычных материалах. Сократив свои дни и встречи в Сан-Франциско, он, однако, вернулся оттуда не с пустыми руками. Переехав в отель, сообщил редакции свой новый телефонный номер, и его вызвали, опять ночью, и он передавал теперь репортаж из Сан-Франциско.

...Приведу лишь один пример, почему они так обеспокоены, — продолжал он. — Нью-Йоркское издательство «Рэндом-хауз» только что выпустило книгу с загадочным названием — «Лишь бы лопат хватило». Ее автор Роберт Шеер, возглавляя вашингтонское бюро газеты «Лос-Анджелес тайме», много раз беседовал с высокопоставленными представителями администрации Рейгана. С ним они были откровенны. И Шеер имел возможность убедиться, что нынешняя администрация больше любой предыдущей играет с идеей возможности и «переживаемости» ядерной войны. Некто Т. К. Джонс, помощник заместителя министра обороны по стратегическим ядерным силам, по-дружески разъяснил Шееру, что следует делать в случае ядерного конфликта: «Вырой яму, прикрой ее сверху парой дверей и на них набросай земли с метр толщиной... Земля как раз и спасет... Если лопат хватит, любой с этим справится».

Звучит как анекдот, но это доподлинные слова ответственного мистера Джонса. И, похоже, его доподлинная философия. Если

выжить в ядерной войне проще пареной репы, то не просто ли и начать ее?

Вот почему среди обеспокоенных оказался и сан-францисский адвокат Билл Броккет. Долговязый, с высоким лбом и мальчишеской чистой улыбкой, он шутит: «Адвокаты выделяются красноречием. Нельзя допустить, чтобы наш дар пропал впустую».

Два года назад в Бостоне, штат Массачусетс, на Атлантическом побережье США была создана организация адвокатов, выступающих против угрозы ядерной войны. Она стала общенациональной. Броккет руководит ее сан-францисским отделением, в котором около четырехсот человек. Задачей своей ставит просвещение людей в отношении реальностей ядерного века. Собрания, встречи, симпозиумы... Билл Броккет и его коллеги хотят убедить американцев, что от ядерных боеголовок не спасешься, даже если лопат будет в избытке.

В последние месяцы калифорнийская общественность развернула широкое движение за замораживание ядерных арсеналов США и СССР. Собирали подписи, чтобы внести это предложение на референдум жителей штата. Собрали более чем достаточно. Дело не ограничилось Калифорнией. Во время выборов второго ноября в девяти штатах и тридцати округах и городах голосовалось предложение о ядерном замораживании. Напомню, что его поддержало большинство избирателей в восьми из девяти штатов и почти во всех округах и городах.

По оценкам печати, из восемнадцати миллионов избирателей, высказавшихся по этому вопросу, 10,8 миллиона одобрили принцип ядерного замораживания. Внушительное большинство, если учесть, что американец в данном вопросе шел против политики своего правительства. Но это не общенациональный референдум, для властей он не имеет обязывающей силы. По условиям голосования в Калифорнии губернатор штата доведет до сведения президента, что большинство калифорнийцев высказалось в пользу замораживания ядерных арсеналов двух держав. Но Белый дом уже знает об этом, и результаты голосования не произвели на него ни малейшего впечатления. Даже понеся политический урон на минувших выборах, Белый дом не собирается «ни на йоту» — так и заявил официальный представитель — сокращать военные расходы в сумме 1,6 триллиона долларов, запланированные на пятилетие...

Прошло полмесяца после выборов, и Американист возвращался к ним, выделив ту тему, которую не мог подробно раскрыть

при общем анализе итогов, — тему антивоенного движения, развернувшейся борьбы за замораживание ядерных арсеналов. Эта тема была ходовой, оправданной и пропагандистски выгодной. К новому американскому общественному движению у нас возник острый интерес. Появились, однако, и иллюзии, от которых следовало предостеречь.

Сын отставного адмирала, бывший военный моряк, а ныне обеспокоенный угрозой ядерной войны адвокат Билл Броккет боялся, как бы не пришили ему антипатриотическую связь с «красным». Еще накануне встречи, согласившись на нее, он предупредил по телефону, что запишет их предстоящий разговор на магнитофон. Он звонил Американисту в отель, и это его телефонное предупреждение направлялось, похоже, сразу в два адреса. А когда они сидели в кабинете, магнитофон демонстративно лежал на столе и дверь была демонстративно раскрыта настежь. Разговор шел у всех на виду. Билл Броккет не хотел рисковать: да, я принимаю «красного», во все вы свидетели, что никаких секретов у меня с ним нет.

И тень подозрительности не покидала его мальчишеского лица. А гость между тем, задавая вопросы и записывая ответы (по старинке в блокнот), успевал с грустью думать, что девушка внизу у входа, которая принесла ему кружку кофе, пока он ждал адвоката, чем-то похожа на его младшую дочь — так же готова помочь незнакомым людям и так же застенчива и угловата. Как уязвимы эти чистые, не защищенные коростой возраста и опыта существа перед жестоким и равнодушным напором жизни! Как сберечь и защитить их?

В репортаж из Сан-Франциско не поместились последние слова Билла Броккета, записанные Американистом.

— Будьте терпеливы — вот мой призыв к советской публике, — с чувством сказал адвокат. — Будьте терпеливы и знайте, что американцы действительно озабочены угрозой ядерной войны. Может быть, при этой администрации и не будет перемен к лучшему, но придет другая — и будет учитывать настроение наших людей...

И это был не первый призыв к терпению, который он слышал от хороших и обеспокоенных людей Америки.

Конгресс, распущенный перед выборами, еще не возобновил работу, а новый должен был собраться лишь в январе. Сенаторы и конгрессмены, переизбранные, впервые избранные или неизбранные, но не досидевшие остаток срока, еще не

вернулись из своих городов и весей или из поездок по белу свету.

— Его пет в городе...

— Он еще не вернулся...

— Обещал быть через неделю.

Такие ответы пресс-секретарей и помощников слышал по телефону Американист. Те немногие, кто был в городе, ссылались на занятость. Он обнаружил, что и сотрудники посольства, с их богатыми связями на Капитолийском холме, не могли помочь ему. Шпиономания вернулась на Капитолийский холм, а кто-то не хотел встречаться с «красным» по тем же соображениям, что и Чарльз Уик, — соображениям идеологической несовместимости.

Журналисты охотнее шли на контакт. Американист встретился с заведующим вашингтонского бюро влиятельной газеты — высоким молодежавым блондином с мягкой улыбкой и обаятельными манерами. Когда-то он был корреспондентом в Москве, и мягкость, улыбочивость, обаяние очень ему пригодились. По возвращении написал такую книгу, что путь в Москву был ему на долгое время закрыт, но зато открыт путь наверх в собственной газете.

В вашингтонском бюро работало множество политических репортеров высшей квалификации, известных всей политической Америке. Они, как трудолюбивые пчелы, ежедневно собирали и переносили на газетные полосы мед информации из Белого дома, Пентагона, госдепартамента, с Капитолийского холма. Завбюро дирижировал оркестром, давая волю солистам и находя время для писания собственных обстоятельных материалов. Он был журналистом либерального направления, не совсем ко двору в нынешнем консервативном Вашингтоне, но не терял надежды. Как у всякого либерала, надежды его быстро умирали и так же быстро возрождались.

Последнюю по времени надежду он связывал с особой нового госсекретаря Джорджа Шульца. Госсекретарь, внушал он Американисту, обладает негромкой, по основательной убедительностью и способен благотворно влиять на президента. Вкупе с Шульцем в направлении сдержанности и умеренности воздействуют на президента и некоторые его ближайшие помощники. Манера Шульца, слышал похвалы Американист, — постепенно, но глу^* боко вникать в ту или иную проблему, выработать свой вариант решения и исподволь убеждать Рейгана в своей правоте. У госсекретаря еще не было

времени как следует войти в сложную проблему контроля над вооружениями, а когда он войдет, доберется, возьмет бразды в свои руки, ждите перемен к лучшему, более широкого и здравого подхода с американской стороны, обнадеживал Американиста его осведомленный и обходительный собеседник. В конгрессе тоже есть надежда. Там Рейгана сдерживает большинство демократов в палате представителей и позиция некоторых умеренных сенаторов, серьезных и влиятельных людей. Предстоит битва за военный бюджет, и он будет расти, сомнений нет, но не такими темпами, как хотела бы администрация.

О сдерживании Рейгана завбюро говорил так, как будто это была общая задача двух журналистов, американского и советского. И в анализе его была не только надежда либерала, но и капли реальности. Оставалось посмотреть, будут ли эти капли накапливаться и множиться или, ударившись о реальность ближайшего будущего, разлетятся вдребезги.

Собеседниками Американиста были и два известных обозревателя из крупнейшей вашингтонской газеты. Один из них, молодой, красивый и, пожалуй, слишком уверенный, говорил, что Рейган на второй срок не будет переизбираться, потому что против Нэнси, его супруга, она хочет возвращения к спокойной частной жизни, и вообще президентская работа оказалась более хлопотной, чем Ронни предполагал; военный бюджет, внесенный администрацией, может быть, и не пройдет, конгресс всерьез намерен его сократить, не исключено, что зарубят и проект создания межконтинентальных ракет МХ, ио президента вряд ли удастся поколебать в вопросе о контроле над вооружениями.

Суждения самоуверенного молодого человека, пользовавшегося большим весом в своей газете и некоторым весом в вашингтонском обществе, тоже в чем-то звучали резонно.

Второй обозреватель, постарше возрастом, с выражением скорби на лице, очень искренне говорил, что мы не понимаем друг друга, и не хотим понимать упорно и отчаянно, и видим козни, заговоры и дьявольские планы даже там, где на самом деле есть всего лишь случайность, сочетание разрозненных и не увязанных друг с другом действий. Эту мысль — о торжестве непонимания — од избрал темой своей книги. Работая над книгой, он провел некоторое время в Москве, в академической командировке.

Землю закрывали облака. Когда они редели, земля проступала сквозь их белесые летучие космы, пасмурна земля, горный край,

оставивший в небо пики осенних лесов. Под крылом самолета плыли Аппалачи.

Куда он сейчас летел, он обычно ездил, и путь начинался от Вашингтона — сначала на запад по 50-й дороге, бегущей по пологим волнам холмов мимо белеющих постройками больших вирджинских ферм, потом при пересечении с 81-й он сворачивал на юг, косым взглядом автомобилиста ловя слева тускло-сиреневую дымку Блю-ридж (Голубой гряды), и снова держал на запад, старая 60-я крутила и петляла, принаравливаясь к горным аппалачским складкам, а новая, 64-я, бросала дерзкий вызов горам, прорезая их, — пустынная, прямая, скоростная автострада, которая, как река, легко и стремительно несла на своем горбу и легковые автомашины, и тяжелые урчащие траки, а по ее берегам, отодвинутые и усмиренные, властно остриженные, причесанные и приглаженные строителями, безопасными ярусами поднимались каменистые кручи.

Американист и на этот раз мечтал об автомобильной поездке, чтобы после шестилетнего перерыва вновь пересчитать и вспомнить эти американские мили и насладиться духом веселого товарищества, которым когда-то прельщали его поездки вдвоем и втроем. Увы, на подъеме оказались тяжелы и его давние друзья и коллеги, которые уже в третий, а то и четвертый раз тянули корреспондентскую лямку в Америке. Поначалу, правда, двоих привлекла идея прокатиться в Западную Вирджинию и отразить злосчастия этого бедствующего шахтерского края в газете и на телеэкране. Потом оба раздумали, сославшись на дела, а один Американист не рискнул, уже отвык от американских автомашин и американских дорог, по которым туда и обратно надо было бы проехать не менее полутора тысяч километров.

И вот он не ехал, а летел в Чарлстон, столицу штата Западная Вирджиния, и это не был полет на широкофюзеляжном гиганте через весь континент. Авиакомпания «Пидмонт» так же мало известна за пределами Соединенных Штатов, как город Чарлстон, куда он следовал. Ее самолет уходил не с просторного международного аэропорта Даллас, под Вашингтоном, а с Национального аэропорта, втиснувшегося прямо в столичные предместья на правом берегу Потомака, что давно вызывало протесты и жалобы жителей, порой приводило к авариям, но, в общем, не мешало этому занятому аэропорту каждые сутки выпускать и принимать сотни самолетов, много больше, чем его более современному и красивому сопернику.

Воздушная дорога до Чарлстона занимала меньше часа. Рядом сидела пухлогубая негритянская мадонна в Джинсах,

и младенец с черными выпуклыми глазами и головкой в редких курчавых волосиках орал как резаный от самого Вашингтона вплоть до Чарлстопа. Мать не могла его утихомирить, да и не очень старалась. Пассажиры будто бы и не слышали рев, что позволило Американисту еще одним примером подкрепить два давних вывода: во-первых, американцы не имеют обыкновения вмешиваться в чужие дела; во-вторых, черная мадонна с орущим младенцем путешествовала в незримой капсуле отчуждения от белых. Одного он не мог понять, привыкши разгадывать американские загадки: что делать негритянке в Чарлстоне, белокожем на сто процентов? И оказался прав — в Чарлстоне делать ей было нечего. Чарлстон был первой остановкой на ее пути. Дальше самолет шел в Чикаго, где негр — каждый третий житель и скоро будет каждым вторым и где даже мэром недавно стал чернокожий.

Когда самолет шел на посадку, невысокие, по-осеннему неприветливые горы все еще тянулись без конца, и, словно не найдя более ровного места в этом краю, самолет сел на срезанной вершущке горы, и, пока бежал, тормозя, к скромному зданию аэровокзала, сбоку мелькали старые пузатые, пятнистые, как десантники, самолеты национальной гвардии.

Аэровокзал был не больше положенного городу с населением в шестьдесят четыре тысячи человек, по раздвижная «гармошка» сразу же нацелилась своим жерлом на люк прибывшего самолета, и, войдя в здание вместе с другими пассажирами, Американист сразу же увидел вывеску «Херц», самой известной из компаний, сдающих автомобили напрокат. Он мог, заплативши, взять машину прямо в аэропорту и катить куда угодно, хоть на другой конец Америки, потому что всюду есть отделения «Херц» и каждое из них примет машину, арендованную тобой у «Херц». Но, советский гражданин, он не имел права пользоваться этим удобством. Хотя, дай бог память, в свое время два или три раза он все таки прибежал к услугам компании «Херц» и ее соперницы «Авис» Это было в первые его американские годы, когда запрет еще не вышел. Потом, кажется в шестьдесят третьем году, специальным разъяснением госдепартамента советские граждане, работающие в Америке, были отлучены от этого вида американского сервиса, опять же в порядке неукоснительного соблюдения принципа взаимности, что в данном случае предполагало существование советского эквивалента «Херц» для американцев, работающих в Советском Союзе.

Американист посмотрел на вывеску «Херц» платоническим взглядом и вышел из здания аэровокзала к желтым такси

и маршруткам, которые в Америке именуются лимузинной службой. К лимузинной службе и такси он допуск имел.

Такси скатилось с горы в долину, залитую солнцем, оставив облачность в горах. В долине текла река Кэнэуа, которую давайте переиначим по-русски — Канава: какой станет река, если берега ее еще с прошлого века оккупировала индустрия? По старому грохочущему железному мосту они переехали на другую сторону этой довольно широкой и полноводной Канавы. На другой стороне и находилась основная часть старого промышленного города, столицы маленького штата Западная Вирджиния (население около двух миллионов), который для своего герба избрал камень в центре и фигуры фермера и шахтера по бокам, а внизу герба значился и соответствующий девиз по-латыни: «Горцы всегда свободны».

Американист заметил многоэтажный корпус чарлстонской «Холидей Инн», где в свое время пару раз останавливался, и рядом с ним, этажей на двадцать, главный чарлстонский банк и смутно припомнил, когда проезжали, главную торговую улицу с большими магазинами и витринами.

Таксист между тем вез его дальше, туда, где на отшибе, среди стройплощадок и стальных скелетов будущих сооружений, высилось новенькое здание отеля принадлежащего корпорации «Мариотт». В последние годы эта корпорация усиленно внедрялась в прибыльный гостиничный бизнес, раздвигая локтями соперников типа «Холидей Инн» и переманивая повышенной престижностью и комфортностью тех мобильных деловых американцев, которые не скупятся на траты и любят пускать пыль в глаза — преимущественно за счет своих фирм, по чьим делам они путешествуют и в чьих интересах должны — и обязаны — выглядеть как можно обеспеченнее и богаче. Все ли могут себе позволить и захотят из собственного кармана выложить семьдесят или восемьдесят долларов, чтобы переночевать в гостинице маленького провинциального городка?!

Отели, гостиницы — повторяющийся элемент во многих путешествиях наших дней, в том числе и в путешествии Американиста. Гостиница в скромном Чарлстоне столь же властно, как фешенебельный и эксцентричный сан-францисский отель «Хайятт-Ридженси», возвращала его к повторяющемуся мотиву — не в своей тарелке.

Что он Гекубе, что ему Гекуба? Но чужое расточительство и помешательство на престижности возмущали Американиста,

тем более что, заботясь о престиже своей газеты и своей страны, он и в провинциальном Чарлстоне должен был подчиняться не своим, а американским понятиям престижности, хотя внутренне и бунтовал, жалея казенные доллары. Кстати, насчет престижности. Престиж был и раньше в русском языке, а престижность появилась совсем недавно и, по наблюдениям Американиста, пришла из-за океана как русский эквивалент английского — status symbol.

Сметы, утверждаемые Министерством финансов в Москве по статьям расходов советских граждан, командированных в Соединенные Штаты, менялись в сторону повышения, особенно в последние годы, но не поспевали за американскими реалиями, которые менялись еще быстрее, за американской инфляцией, которую прозвали галопирующей. С этого диссонанса, с этой частной истины начинались заботы нашего героя в каждом американском городе, как только он добирался до очередного отеля. И мы не можем отмахнуться от этого, как от мелкой досады, не изменив при этом главной истине о диалектической взаимосвязи вещей. Да-да, не смейтесь! В нашем мире, где все диалектически переплетено, смета расходов, предусмотренных па гостиницу, опять и опять выводила Американиста на магистральную тему материальной, финансовой, политической, психологической, нравственной - и какой еще? - несовместимости между нами и американцами. Если позволительно сравнение космическое у двух держав, живущих такой разной жизнью, пет унифицированных стыковочных узлов, они движутся по разным орбитам и разными курсами, и всякий раз, что ни возьмешь, от платы за гостиницу до межгосударственных соглашений, проблема одна как состыковаться?

Молодой клерк, по-провинциальному гордый оттого, что работал в самом новом и модном чарлстонском отеле, оформлял шестидесятипятидолларовый номер, пытаясь по фамилии, одежде и чемодану нового постояльца определить, что за птицу занесло. Американисту не понравился ни клерк, ни модернистский изыск парадного входа в отель, ни лишенное света дня фойе.

Номер в отеле «Мариотт» заказал старый знакомый Американиста, чарлстонский издатель Нэд Чилтон. Теперь, стоя перед хлыщеватым клерком, Американист мысленно сокрушался: не состыкуешься даже с добрым знакомым. Хотя, понимал он по здравом размышлении, Нэд и не мог поступить иначе. Разве это не долг истинного чарлстонского патриота — не ударить лицом в грязь перед гражданином из соперничающей державы? И

разве это вина Нэда, если он не задавался вопросом, поспевают или нет за американскими реалиями Министерство финансов в Москве? Сам он привык путешествовать на свои собственные доллары, от газеты, в которой был хозяин.

Они познакомились десять лет назад, когда Американист, решив взглянуть на очередные американские выборы через глубинку, впервые очутился в Чарлстоне и нанес визит вежливости в «Чарлстон газетт». Нэда Чилтона удивил и заинтриговал неожиданный гость. Нэд был приветлив и насмешлив. Хотя и узкогруд, но заядлый теннисист и любитель подводного плавания. Теннисом и плаванием Американист не занимался, но чарлстонский издатель привлек его своей живой и доброжелательной насмешливостью, либеральными взглядами и критикой тогда еще продолжавшейся американской войны во Вьетнаме.

Нэд вызвался помочь Американисту и выделил одного из своих репортеров. Вдвоем под октябрьским дождем, в осеннее аппалачское ненастье они ездили по окрестным шахтерским поселкам — в хвосте агитационной автоколопны Джея Рокфеллера, старшего в четвертом поколении знаменитой династии миллиардеров. Старшему тогда не перевалило и за тридцать, и он предпринимал первую попытку попасть в губернаторы штата Западная Вирджиния, куда переселился лишь недавно и где был еще чужаком, новым человеком. Его прокатили — поначалу. Американист написал очерк о Чарлстоне и об издателе Нэде Чилтоне, критикующем вьетнамскую войну, о трансплантации Рокфеллера в политическую почву Западной Вирджинии и о бедствующих шахтерских поселках, которых, подобно чуме, опустошили механизация добычи угля и падение спроса на него.

Уголь... Уголь... Уголь... Джей... Джей... Джей... Эти два слова рефреном шли через очерк Американиста, перемежаясь картинками аппалачской осени. Джей Рокфеллер на следующих выборах попал в губернаторы Западной Вирджинии — трансплантация состоялась, и миллионы чужака сделали ее удачной. И спрос на уголь временно вернулся в годы катастрофического роста цен на нефть, что, однако, не вернуло работу шахтерам, в отчаянии покинувшим родной край.

А Нэд Чилтон стал добрым знакомым Американиста.

Их отношения нельзя было назвать дружбой — по большому российскому счету. Им не хватало доверительности, российской жажды исповедоваться, вывернуть душу наизнанку, а если

понадобится, по старинному выражению, положить живот за други своя. Мы не назвали бы эти отношения дружбой еще и потому, что в глазах Нэда Американист все еще видел вопрос, некое сомнение или тень сомнения. Нэд не мог окончательно избавиться от подозрительности: только ли журналист этот его знакомый или еще кто-то? И нет ли все-таки какого-то скрытого умысла в его пристрастии к их городу и штату, таким далеким от международных путей?

Виделись они редко, последний раз шесть лет назад. Тогда летом, па студенческие каникулы, к Американисту приезжала в Вашингтон дочь, учившаяся в Москве на журфаке, и он, созвонившись с Нэдом, отправил ее в Чарлстон для пополнения жизненного опыта и для практики в американской провинциальной газете. То-и да такое еще было возможным — разрядка. Несколько дней Танюшка жила в доме Чилтона, на другом высоком берегу реки Канава, познакомилась с его женой Бетси и приемной дочерью, осматривала Чарлстон с чилтоновскими репортерами, которые возили ее в муниципалитет, суд, местную тюрьму, и дала первое в своей жизни интервью для «Чарлстон газетт», которое сопроводили фотопортретом — милая смущенная девушка. Танюшке было девятнадцать лет. Скольких уговоров стоило послать ее одпу в Чарлстон — смущалась, боялась, отнекивалась. Но испытание выдержала и в пугающе незнакомой среде вела себя с тактом и достоинством. А когда Американист с женой и сыном приехали забрать ее, она с удовольствием сбросила непривычный груз ответственности и спряталась под родительское крыло, показав, что дети не спешат взрослеть и предпочитают оставаться детьми, пока это им — с помощью взрослых — удастся.

Нэд всегда помогал Американисту и в этом смысле был настоящим другом. Они не поддерживали письменной или телефонной связи, и времена переменялись не к лучшему, по Нэд откликнулся как ни в чем не бывало, едва Американист позвонил ему из Вашингтона и сообщил, что опять, временно, очутился в Штатах и что в порядке возобновления знакомства с американской глубинкой хотел бы навестить Чарлстон. Нэд составил ему программу встреч в Чарлстоне, обеспечив, как он выразился, cross section, то есть разрез местного общества, встречи с мэром, в торговой палате (деловые круги) и отделении АФТ-КПП (организованные рабочие), посещение университета и верховного суда штата, а также осмотр шахтерских поселков. Но и на этот раз не обеспечил Нэд Чилтон встречу с Джейем Рокфеллером, который отбывал уже второй срок на посту губернатора и время от времени со значением бросал взгляды в сторону Белого дома в Вашингтоне. От свидания с советским

журналистом Рокфеллер IV уклонялся с упорством суеверного человека, боящегося сглазу.

Первым в расписании встреч, через час после прилета, стоял мэр Чарлстона.

И вот Американист, не разглядев толком белоснежный, как одеяния девственницы, номер в отеле «Мариотт», шагал по грязному от только что прошедшего дождя шоссе в сторону городского центра, поругивая гостеприимного Нэда, поместившего его — чтобы не ударить лицом в грязь — в новенький отель на отшибе. Провинциальная, предельно автомобилизированная Америка давно изжила тротуары — за ненадобностью. И он шагал по шоссе пешком, явно не свой, па виду у всех. И чарлстонские жители, проносившиеся на колесах мимо, с удивлением вглядывались в чудака и чужака, идущего по обочине дороги, принадлежащей их автомашинам.

Кабинет в старом здании чарлстонского Сити-Холл — с письменным столом темного орехового дерева и таким же столом, только поменьше, позади — на нем стояли телефоны. Толстый красный ковер. Тяжелые кресла и диваны. Звездно-полосатый флаг на специальной подставке в углу. Типичный кабинет американского должностного лица, и Американист, бывавший там при другом мэре, силился вспомнить, все ли осталось на месте. Да, это все как будто было и тогда. Но фотоснимка мэра с Джимми Картером, улыбающимся слишком широко и белозубо, ие могло быть — тогда Картеру еще предстояло стать президентом (и экспрезидентом). Двери, раскрытые в комнаты секретарши и помощников и делавшие кабинет мэра как бы проходным, должно быть, были, но вряд ли висела на стене эта черная фуражка с эмблемой чарлстонской полиции, — покидая это место, каждый уходящий мэр забирает с собой все подаренные ему сувениры и даже кресло, на котором сидел. Фуражка — подарок нынешнему мэру.

Того мэра звали Хатчинсон, и сидели они, помнится, вот тут, он — на диване, а мэр в кресле. Нынешний предложил кресло, сам оседлал стул напротив, принял без пиджака, шариковые ручки выглядывают из карманчика белой рубашки с красным галстуком, весь внимание и слегка побаивается гостя — что у него на уме? Каким ветром занесло в Чарлстон? И опять двери в смежные комнаты открыты — никаких секретов. Сплошные дни открытых дверей.

Прежний мэр за годы отсутствия Американиста в Чарлстоне успел побывать в конгрессе, вылететь оттуда и удалиться в

частный бизнес. Нынешний восемь лет был членом городского совета, пять — городским казначеем, два с половиной года на нынешнем посту. У него простое лицо и самое что ни на есть простонародное имя — Джон Смит.

Мэр — не главный человек в американском городе, где в общем независимо от городских властей правит частный бизнес. Но и далеко не самый последний. Под началом мэра полиция, ему подчинены все личные школы и коммунальные службы, и он должен примирять интересы разных групп населения или тайно служить мафиям и кланам, делая вид, что демократически служит всем.

Джон Смит, прибегая к цифрам и фактам, пытался нарисовать иностранцу картину города, в котором население в последнее время снизилось на десять процентов. Но округа, Большой Чарлстон, все эти годы растет, в нем порядка трехсот тысяч человек, экономически он процветает благодаря, главным образом, развитию химической промышленности в долине реки Канава. В Большом Чарлстоне безработица ниже, чем в среднем по стране или по штату Западная Вирджиния. Город, обслуживающий процветающую округу, переживает строительный бум. Раз гость остановился в отеле «Мариотт», он, должно быть, заметил это. Рядом с отелем сооружается местный коллизей (проектной стоимостью в двадцать два миллиона долларов) для концертных выступлений и спортивных состязаний. В прежнем Муниципальном центре разместили выставочный зал, и, кроме того, на окраине строится большой торговый центр, где откроют свои филиалы главные городские магазины. Новый частный госпиталь, новые административные здания, где снимают помещения страховые компании, разные финансовые учреждения, врачи, адвокаты и т. д.

Чарлстон — в очень хорошей форме, говорил мэр, и от строительного бума в частном секторе кое-что перепадает муниципальным властям — приток частного капитала означает и приток налогов в городскую казну. Что касается деятельности непосредственно муниципалитета, то восемьсот с лишним городских служащих, с удовлетворением отметил мэр, поддерживают коммунальное обслуживание на должном уровне.

По партийной принадлежности мэр был демократом в городе, где демократическая партия традиционно получала большинство голосов, и в штате, где губернатор тоже был демократом и где большинство традиционно голосовало за демократов при выборе президента и в конгресс. Это внесло некую партийную окраску в его беседу с советским журналистом. Мэр не одобрял республиканцев, правящих в Вашингтоне, и жаловался, что

правительство мало помогает Чарлстону и, более того, при Рейгане помощь эту сократили против прежней и против ранее запланированной. И на стене у мэра висел не нынешний президент-республиканец, а бывший президент-демократ.

Американист был профессионально перекормлен цифрами и фактами и, записывая, скучал. Факты интересовали его только тогда, когда будили новую мысль или чувство. Но цифры и факты Джона Смита будили лишь плоскую мысль о том, что в экономически неблагополучном штате главный город может экономически процветать.

Перешли к международным делам. Мэр пошутил, что министра иностранных дел ему в муниципалитете не положено. Но заговорил толково и интересно. Международный опыт мэра сводился к военной службе на Дальнем Востоке, в войсках под командованием генерала Дугласа Макатура. Он не распространялся о том, какие уроки вынес из тех давних лет. Однако в его высказываниях господствовал незамысловатый и, слава богу, несокрушимый здравый смысл.

— Чтобы враждовать, стрелять не обязательно,— так бывший солдат выразил свою тревогу по поводу странного и опасного положения, в котором мы не воюем, но и не живем в мире.

— Если хотите, мир — это спокойствие,— так уточнил он свое понятие мира.

Здравый смысл подсказывал чарлстонскому мэру, что связи между двумя супердержавами должно укреплять, а их лидерам нужно стремиться к личным контактам и взаимному пониманию.

Теперь они говорили за жизнь, о том, что нас связывает и о чем важно говорить, встречаясь друг с другом. Обнаружилось согласие. Смит хотел, чтобы обе державы больше занимались «делами своих народов», то есть внутренними делами.

— Слишком много денег расходуется вами и нами из-за того, что и вы и мы слишком озабочены нашими отношениями.

Он избрал такую дипломатическую формулировку, чтобы осудить гонку вооружений. Потом и прямо сказал, что не во всем согласен с военными программами американского президента. Нужны ли они? Не лучше ли усилить контакты и искать области общих интересов? Военные расходы двух держав строятся по типу — а что у Джонса, то есть у соседа, у возможного противника. В итоге «мы продолжаем идти не в ту сторону».

А ведь наличие ядерного оружия создает совсем другие «условия игры». И мэр подытожил свои рассуждения любимым выражением президента Джонсона, которое одно время часто приводилось в газетах: «Давайте соберемся и вместе раскинем мозгами».

Джон Смит — это все равно что наш Иван Кузнецов. Человек с народным именем говорил голосом народа. Здравый смысл неискореним, как неискоренимы два инстинкта человека — инстинкт сохранения жизни и инстинкт продолжения рода. Где, в каких сферах и на каких высотах теряется этот немудреный — и мудрый! — народный здравый смысл, умение ради главного пренебречь второстепенным?

Американиста тянуло в американскую глубинку увидеть жизнь народа, прикоснуться, по американскому выражению, к корням травы. Тянуло в провинцию — и к простоте. И он давно нашел профессиональное объяснение этой тяги. Там, в провинции, здание общества сложено из тех же кирпичей, но, лишённое столичных узоров и украшений, оно лучше поддается обозрению и описанию. Там лучше видишь главное, суть. Так думал он еще в годы первого своего соборства в Каире, отправляясь время от времени в деревни или города Нильской дельты. Этому следовал и в Америке, хотя с годами стал понимать, что простота — сложное понятие и что есть не только простота здравого смысла, но и простота умственной лени и неразвитости и просто глупости, что есть даже жестокая простота — и дурость — бурбонов и что истинная высокая простота так же редка и драгоценна, как мудрость.

С годами он стал понимать и другое: его тянуло в провинцию, потому что он сам был оттуда родом. Это был зов детства, предков, возвращение к истокам. Если хотите, комплекс провинциала. Там было его место, там, казалось ему, осталась простая, цельная и здоровая жизнь, и даже в его поездках в американскую глубинку сказывался порыв блудного сына, который, возвращаясь после скитаний в больших городах, преклоняет колена у родительского порога.

В напряжении своего заграничного и преимущественно служебного существования Американист не чувствовал себя свободным даже в таком произвольном деле, как выбор воспоминаний. Другая жизнь незаметно и властно навязывала другой строй души. Он взял с собой в командировку несколько томиков любимых поэтов. Но стихи, которые дома твердил целыми днями, не шли на ум за океаном. Книжки невынутыми

лежали в портфеле. Он снова попал в плен изменившегося внутреннего ритма, и этот ритм, независимо от его воли, был навязан другой землей. Каждая земля создает свою поэзию, подлинные стихи как бы сами собой выделяются из ее воздуха — и не могут с той степенью свободы, которая нужна поэзии, переноситься в иную атмосферу иной земли и существовать там.

То же относилось к воспоминаниям.

А ведь некоторые воспоминания были совсем свежи и в некотором роде по делу, потому что тоже относились к глубинке. Поздней осенью Американист путешествовал по Америке, а в конце лета, в августе того же года, на несколько дней съездил в одну глубинку российскую, к себе на родину. Признаться, он не был там дольше, чем в Чарлстоне или Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, Панама-Сити, Каракасе, Гаване, Париже, Бонне, Гамбурге, Стокгольме, Каире, Бейруте, Аммане и т. д. Он не был там десять лет, с тех пор как старшая его дочь, без родителей жившая в Москве, вдруг огорошила их сообщением о намерении выйти замуж, и он прилетел из Вашингтона и, обретая новое, поразившее его качество отца замужней дочери, решил причаститься к отеческим местам. Тогда было тревожное лето лесных пожаров, сизость и гарь доходили до Москвы, а на его родине, окрест города со смешным — для посторонних — названием стояли черные, обгоревшие, еще дымившиеся леса.

Тогда, десять лет назад, он приехал в Кулебаки не из Москвы, а из Горького — как всегда. Два города были неразрывно связаны годами детства. Его родители переселились из Кулебак в Горький, когда ему было три года, а брату — вдвое меньше. Печать сознания, сформировавшегося в детстве. Дорога в Кулебаки всегда начиналась из Горького и была первой дорогой ребенка, ехавшего вместе с матерью по воде до Муром, или по железной дороге до станции Навашино, или же на машине по тряскому булыжному шоссе, длиннее которого не существовало в его детском довоенном мире. И через тридцать с лишним лет после переезда в Москву он не представлял иной дороги на родину, кроме той, что начиналась в Горьком.

Не глядя на карту, он мог сказать, что город Итака лежит примерно километрах в двухстах на северо-запад от Нью-Йорка, но спроси его, в какой стороне света лежат относительно Москвы его родные Кулебаки, он затруднился бы с ответом. Детство не ищут на географической карте. Родина - не населенный пункт, а заповедное место.

Но имел ли он право с чистым сердцем произносить эти два

слова — заповедное место? Американист вместе с сестрой и братом долгими годами не навещал даже родительскую могилу в Горьком, оставив ее на попечение дальней родственницы. И не туда он отправлялся с Курского вокзала, а в Симферополь или Кисловодск. Из московских аэропортов лучше всего знал международный, в Шереметьеве. И лишь на шестом десятке своей жизни открыл, что есть прямая дорога на родину из Москвы.

С Казанского вокзала до детства было всего семь часов. А билет в детство стоил всего шесть пятьдесят. Пассажирский поезд № 662 Москва — Сергач был составлен из общих и плацкартных вагонов, лишь три — купейных и ни одного — мягкого, ни одного спального вагона прямого сообщения, которые раньше назывались международными. Старые вагоны и грубоватые проводницы приземлили нашего международного, вызвав в его душе эхо далеких лет и напомнив о скромности родимых мест. Вместе с женой он влился в толпу пассажиров, увешанных сумками и баулами с продуктами из Москвы, и его поразила простая мысль, он осознал, что в старых пыльных вагонах едут домой его земляки, которые в отличие от пего никуда и никогда от родной почвы не отрывались.

Выехали в самом начале долгого еще августовского вечера, от ветра пузырились занавесочки на открытых окнах вагона, стучали колеса через леса и болотца под огромным, низким, затратно золотившим сосны небом, в потом пала тьма, и был пустынный перрон в Муроме, и железно гремел мост над Окой, и ровно в полночь они вылезли в Навашине — и название это тоже отозвалось в его душе. Здесь и тогда, в детстве, на несколько минут останавливались идущие дальше поезда, и их с братом, маленьких, угревших среди баулов и узлов, будили среди ночи, одевали, торопили, спускали в темь и сырую прохладу с высоких ступенек довоенных вагонов, пахло шпалами, углем, шипящим паровозным паром, раздавались резкие и сиротливые, внушающие тревогу и тоску гудки маневровых кукушек. Двухколейка, отходившая от Навашина, связывала Кулебаки с большим миром, с Казанской железной дорогой. Конечная станция двухколейки называлась Мордовщики — и это тоже было слово из детства, и у дощатого строения станции они с матерью ждали утреннего рабочего поезда на Кулебаки, лоя запахи и звуки ночной железнодорожной жизни, в полусне мечтая о мягких перинах, пышных лепешках и малине с молоком в бабушкином доме.

Так было. Однако в последний раз, в августе, хоть и общим поездом, по приехал он на родину как знатный гость. И встречал

их с женой председатель горисполкома, кулебакский мэр в черной «Волге», и, не успев разглядеть новое бетонное здание навашииского вокзала, по пустынной заасфальтированной дороге, на которую искоса поглядывал низкий густо-золотой месяц, они понеслись в родной город, вырывая фарами кусты на опушках и дыша таинственной свежестью родных лесов.

Той первой ночью он не узнал своего города, в котором не был десять лет. Их разместили в общежитии металлургического завода, вернее, в заводской гостинице, которая занимала часть здания общежития. (Хотели разместить в гостевом коттедже при заводууправлении, но там жили другие международники — двое английских инженеров-консультантов.)

Он не узнал своего города и утром, когда проснулся. Новый микрорайон, в котором они себя обнаружили, не отличался от других микрорайонов других городов. Белье сушилось на балконах, под окнами был разбит цветник и между пятиэтажными панельными домами гуляли молодые мамы с колясками. Жена Американиста, настроившись после рассказов мужа на бревенчатые избы, была удивлена видом новых кварталов, над которыми витал дух вчерашних стройплощадок и позавчерашних пустырей.

Их опекал предгорисполкома Александр Михайлович Хлопков. Он был худ и жилист, черноволос, с морщинами на впалых щеках и черными раскосыми глазами. С иронией, обращенной на собственную персону и присущей живым, умным и обаятельным русским людям его склада, Александр Михайлович наградил себя двумя прозвищами: Городничий — по служебному своему положению — и Осколок Чингисхана — по внешности. В нем чувствовалась интеллигентность врожденная, а затем и развитая жизненным опытом, а не ранним приобретением академических знаний. За спиной Городничего, отнюдь не похожего на гоголевского героя, стояли университеты жизни. Он начинал ремесленником, электромонтером, был начальником смены и начальником цеха. Заводской его стаж исчислялся двадцатью тремя годами, когда он был выдвинут в председатели горисполкома, и на этом посту бессменно прослужил девятнадцать лет.

Американист любил Городничего — его ум и иронию, его тайную грусть. Встретиться пораньше, они, наверное, стали бы друзьями и он звал бы Александра Михайловича Саней.

Александр Михайлович знал все и вся — и всех в городе, где живет без малого пятьдесят тысяч человек. Он наизусть помнил все цифры и проценты о жилом фонде — обобщественном и индивидуальном (до половины жителей все еще жили в частных домах), о газе, водопроводе и канализации, школах, детских садах и учреждениях здравоохранения, о магазинах и квадратных метрах их торговой площади, о столовых и кафе и, разумеется, о промышленных предприятиях — завод радиоузлов, завод металлоконструкций, швейная фабрика и молочный завод, типография, деревообрабатывающий цех, нефтебаза и две заправочные станции, не говоря уже о металлургическом заводе.

Собственно, с этого завода, выплавлявшего чугун из болотных руд, все и началось еще в прошлом веке. Без завода бывшее село не стало бы маленьким промышленным городом. Наконец, не будь этого завода, оба деда нашего героя не пришли бы сюда из окрестных деревень, и его мать с отцом не встретились бы и не поженились, и читатель был бы избавлен от описания путешествия Американиста, которое вдруг завело нас на его родину, в лесной и болотный российский край.

Но, с другой стороны, согласитесь, есть у нас явная и скрытая тоска по необычному и неожиданному, и вот вам — американист из Кулебак. Умный и деятельный Городничий тоже не лишен был распространенной отечественной слабости к разного рода экзотике. Это он своим обаянием и юмором, своей мягкой настойчивостью заманил нашего международного в родные пенаты. Кулеба-кам — как городу — исполнялось пятьдесят лет. Александр Михайлович, приподнимая скромные торжества, по всей необъятной стране вылавливал таких земляков, которых не зазорно было бы предъявить если не миру, то хотя бы ближайшим городам-соперникам Выксе и Мурому. Был один генерал армии, правда, уже скончавшийся, был известный генерал-полковник, нашелся художник, композитор, полярный исследователь... И среди них, пополняя коллекцию, — журналист, долго проработавший в заокеанских краях, к тому же с физиономией, которая маячит иногда на всесоюзном телеэкране. Кроме того, как упоминала и брошюра, выпущенная к пятидесятилетию города, дед Американиста по отцу был известным кулебакским революционером, а отец — одним из первых вожakov кулебакской комсомольской организации.

Как ни рассказывай, а получается одно: Американист попал в Кулебаки почетным гостем через своего деда — и через Америку. Не пригласили же его младшего брата, хотя тот тоже кое-чего

добился в своей неэкзотической профессии геолога.

И Городничий на черной «Волге» показывал Американисту достопримечательности и достижения, возил его с женой в Велетьму, где был большой Баташовский пруд (по имени первого владельца местных металлургических заводов), и в Гремячево, где относительно недавно построили комбинат по производству стройматериалов. Они посетили подновленный к юбилею Народный дом, где размещался и городской музей, а в музее среди других экспонатов висел на стене смутный, расплывчатый фотопортрет деда, сделанный с небольшой фотокарточки. И, стоя на зеленом берегу Теши, рассказывал Александр Михайлович Американисту местную легенду, выдаваемую забыль,- что американцы-де предлагали очистить эту быструю и холодную речку, петляющую меж живописных дубрав, и даже заплатить три миллиона долларов за то, что поднимут и увезут к себе те мореные дубы, которые столетиями ложились в нее, слой за слоем. Чего больше в этой легенде - не изжитого еще российского хвастовства богатством, которое под ногами валяется да все нагнуться недосуг, или же самокритики и восхищения перед деловитостью тех, кто и оттуда, из-за океана, готов нагнуться и поднять?

Городок был маленький. Все концы в нем — короткие. Пять минут —и уже окраина, пустая дорога, бледно-голубое небо над ровной землей, березы и елки по сторонам и кряжистые сосны на песчаных косогорах со своими растопыренными ветвями и шелушащейся, золотящейся па солнце корой.

Американист делал все, что полагалось знатному земляку, осмотрел город и окрестности, выступил перед активом в горкоме, но помимо этой официальной была в его визите и частная сторона. Он приехал на свидание с детством. И в казенной черной машине, ио уже без деликатного Александра Михайловича, отправился он со своей женой на одну из окраинных, мало тронутых последними десятилетиями кулебакских улиц — улицу Крисапова, где по-прежнему ездят и ходят, утопая ногами и колесами в песке, и в этот песок выдвинуты палисадники деревянных домов, приютивших на своих задах огороды и старые, ненужные уже сеновалы и коровники. В одном из таких домов жила тетя Маня, старшая сестра его покойной матери, последняя живая ниточка, связывающая его с Кулебаками.

И сердце по-иному забилося, когда он увидел это старый

дом, когда па шум заморозившей машины пока залось в окошке веранды лицо Андрея Ивановича, мужа тети Мани. Стало стыдно, когда он несколько мгновений топтался возле тестового забора, забыв, как открывает в нем дверь. И оба старика, как малые дети, свалил со ступенек веранды в расставленные для объятия руки племянника, слабо охали и тянулись целоваться, и их были дряблы и морщинисты, лишены сока и цвета жизни, и, легонько обнимая их, он чувствовал невесомую, немощную плоть.

Дом-пятистенок был угловым, выходил на улицу и на проулок, в котором весной, к ребячьей радости, бежал ручей. Вторая половина принадлежала когда-то дедушке и бабушке по материнской линии. На той-то половине и останавливались они, трое-четверо внуков, приезжая на школьные каникулы из Горького и Иванова — в Иванове жила другая сестра матери, Нюра. Они спали вместе на перине, расстеленной на полу, и под потолком реела подвешенная на шнурочке деревянная пичужка с раскинутыми крыльями, а из угла, над зажженной лампадкой, светились в окладах лики святых во главе с Николаем-чудотворцем. И прадед Американиста по материнской линии был Николай, и отец был Николай, но бабушка уважала и побаивалась «партийного» зятя и молиться Николаю-чудотворцу заставляла лупоглазого Женьку, сына Нюры, и, когда Женька не слушался, ставила его на колени перед открытым подполом в кухне и грозила упрятать туда, в темь и сырость, среди крынок с молоком и бочонков с огурцами и капустой и противных, скользких лягушонков...

Уже первые военные годы разом прибрали обоих дедушек и обеих бабушек (им было едва за шестьдесят), как бы погребли их под лавиной общего горя, лишений и напастей. Прекратились поездки в Кулебаки на летние каникулы, а после войны дедушкину половину купили другие, неродные люди. Они менялись, и сейчас там жила молодая рабочая пара, помогавшая старикам. Своих детей у тети Мани не было, Вера, единственная дочь Андрея Ивановича от первой, давно умершей жены, обосновалась с семьей на Урале. Старики — обоим было за восемьдесят — одиноко доживали свой век, и Андрей Иванович мечтал умереть в один день с Марьей Михайловной. Последняя мечта жалкой, беспомощной старости.

Повидаться с племянником, поколесившим по диковинным заморским краям, тоже было давнишней мечтой, о которой регулярно доводил до его сведения Андрей Иванович в своих поздравительных открытках, не забывая сообщать, как слабы они стали, до магазина дойти не могут, слава богу, помогают молодые соседи. И вот племянник, не предупредив, свалился

как снег на голову.

Успокоившись и отдышавшись, выпив по рюмочке водки и отведав жирной селянки из русской печи, вместе поехали они на кладбище к родным холмикам с металлическими пирамидками, увенчанными крестами. Имен па пирамидках не было, и тетя Маня, сидя на скамеечке в ограде, приговаривала, объясняла: «Это мама. А это папа и покойный. Это свекровь. А вот Нюра, мое место отняла, а тут меня положат...»

Покойным она называла своего первого мужа, а Нюра, отнявшая место возле умерших родителей, была ее сестра.

Андрей Иванович сидел молча, сняв свой старый белый картуз. Тетя Маня причитала, сообщая мертвым, что собирается и все никак не соберется к ним. Андрей Иванович был когда-то красивым, добрым и деятельным человеком, хорошим работником и общественником, прошел войну. А тетя Маня всю жизнь прожила на улице Крисанова и выезжала лишь на богомолье. Жизнь чудом держалась в ее больном, изношенном теле, но ум сохранился прежний, ясный и лукавый, и, слушая ее причитания, Американист читал живую, бессильную тоску в глазах тетки: с жизнью расставаться все-таки неохота, по нужна ли кому, скажи, эта моя жизнь?

На скамеечке у могил ей неожиданно стало дурно. Глаза закатились, рот раскрылся и обмяк, лицо залила бледность, она не могла вымолвить ни слова, как будто последние запасы жизненных сил извела на свой разговор с мертвыми. Все испугались — дохнуло близкой смертью. Жена Американиста, не зная, чем помочь, дула тете Майе в лицо, поддерживала ее и шептала: «Тетя Маня, миленькая, что с вами?» Тетя Майя не отвечала, молча заваливалась на бок. Андрей Иванович плакал, как малое дитя. Почетный гость Кулебак тоже растерялся от такого поворота событий, побежал за «Волгой», оставленной у ворот, но машина не могла подъехать по узким кладбищенским аллеям.

Когда обморок прошел, тетя Майя, приходя в себя, бочком полежала на могильном холмике. Под руки ее довели до машины, отвезли домой, уложили, вызвали врача, который сделал укол...

Оставив машину жене, Американист пошел в гостиницу пешком, через весь город. Испытывал себя: найдет ли без подсказки дорогу к дому, где жили другой дед и другая бабушка— по отцу. Туда они ходили редко, в гости. По выходным дням его

с братом мыли, причесывали, одевали в короткие одинаковые штанишки с ляпочками и матроски и таких примерных вели пешком к другому деду и другой бабушке, через весь город. Большого расстояния в ту пору он не знал. И сейчас он шел как бы па ощупь забытой дорогой детства: по улице Труда почти до заводских ворот, откуда на платформах выкатывали тогда нестерпимо красные и жаркие болванки, и вниз, вдоль заводского забора, к дымящемуся теплой водой техническому пруду и через парк, где тоже был пруд с насыпным островком посередине... Боже, какое здесь все было маленькое. Как будто с тех пор он все рос и рос, а его город все уменьшался. И за парком, за узкоколейкой, улица, которую он никогда не проходил до другого ее конца, потому что дом деда был в ее начале... Она ли? — спрашивал он себя теперь. Неужели не узнает? На помощь памяти призывал интуицию, инстинкт. Этот? Или тот? Четкого сигнала не было. Он вернулся к узкоколейке и снова прошел эти несколько десятков шагов, и что-то смутно выплыло из дальней дали, и он окончательно уверился: да, этот, первый за железнодорожным полотном, одноэтажный деревянный дом, разделенный на две половины с двумя палисадничками — и вот эти ступеньки, вот эта крайняя правая дверь. Сорок лет там, за дверью, жили другие незнакомые люди — такой срок! Он не стал беспокоить их своими воспоминаниями.

Этот его дед был по своей природе истинный пролетарий. Инстинкт собственника начисто отсутствовал у него, и даже в городе, где почти у всех были тогда собственные дома, он жил с бабушкой в казенной квартире. Но корову и они держали — тогда у всех были коровы. В казенной квартире окна были больше, чем в избе другого деда, потолки — выше, белый кафель печи-голландки и — ванна. Да, кажется, там была даже ванна.

Деда Петра Васильевича все уважали, и квартира, полученная от завода, тоже свидетельствовала о признании его заслуг. Но будущего американиста дед пугал своей сумрачной молчаливостью и стеклянным глазом. Стеклянный глаз вставили после того, как в настоящий попала металлическая стружка. Руки у деда подрагивали — еще с тех пор, как его в 1905 году жестоко избили и проволокли па аркане за казачьей лошастью; во время той первой революции дед участвовал в разгроме квартиры пристава, пытаясь освободить арестованных товарищей, а их, молодых рабочих-металлистов, в свою очередь громила казачья сотня.

Дед Петр Васильевич пришел на металлургический завод

еще в конце прошлого века четырнадцатилетним учеником слесаря. После Октябрьской революции работал бригадиром в бандажепрокатном цехе. Он был превосходным мастером, более того — изобретателем-самородком. За изобретения, связанные с бандажным производством, и за участие в революционной деятельности постановлением ВЦИК деду присвоили звание Героя Труда. Да, существовало такое звание в начале тридцатых годов и соответствующая грамота — большой лист, украшенный изображениями заводских труб и первых громоздких колесных тракторов, за собственноручной подписью М. И. Калинина, — выцветшей семейной реликвией висел теперь в московской квартире над кроватью Американиста.

Сохранилось и несколько фотографий. Но, вызывая в памяти облик деда, Американист почему-то видел его всегда в одной позе, не запечатленной фотографиями, — молчаливо сидящим на гнутом венском стуле. Доживя почти до дедовских лет, он хотел теперь разгадать молчание деда, и однажды ему пришло в голову, что это была, в сущности, поза Достоевского на известном портрете работы Перова — нога на ногу, руки, соединенные на коленке, чтобы унять их дрожь, не проходившую после казацкого аркана, и узкое лицо хотя и без бороды, но также углубленное в не находящую разрешения мысль. Дед молчал, потому что не любил болтунов и пустых разговоров, это качество унаследовал и отец Американиста. Но о чем он так напряженно думал? Порой казалось, что ответ будет равен разгадке генетического кода, собственного, фамильного.

О будущем Американисте и его брате, будущем геологе, дед думал меньше, чем о другом своем внуке, рыжем и конопатом хвастуне и выдумщике Вовке, который постоянно жил у них в доме. Они были дети старшего сына, а рыжий Вовка был от среднего сына. Средним сыном дед мог гордиться — он первым в их семье получил высшее образование, стал инженером и партийным работником на одном из ленинградских заводов. В конце тридцатых годов, когда у многих круто и внезапно ломалась жизнь, Михаила арестовали — «враг народа». Дед не верил этому обвинению. Дед сам был народ, и сын его не мог быть врагом народа. Жену Михаила тоже арестовали, Вовка остался один, и они с бабушкой взяли его к себе, в Кулебаки. И, быть может, эта мысль мучила молчаливого деда: пропадет парень... И мысль о судьбе Михаила и снохи и общая мысль: что же делается?..

Что такое простой человек? Дед был простым — и непростым — рабочим, простым — и непростым! — человеком. Дю он

жил простой жизнью простого народа в глубине России. А сын его, став инженером и парработником, вышел за круг простой жизни — и вот что из этого получилось. Быть может, и об этом думал дед, сидя в позе Достоевского, соединив дрожащие ладони на коленях и не улыбаясь глядя на своих маленьких несмышленных внуков.

Пришла беда — отворяй ворота. Позднее деда ударила и внезапная смерть младшего сына, самого видного и красивого в семье. Он служил моряком-подводником на Дальнем Востоке, питая юный романтизм восхищенных его бескозыркой и клешами племянников, и в извещении командования значилось коротко и невнятно — смерть от замерзания. Когда к личному горю добавилось безмерное потрясение войны, дед Петр Васильевич вместе с бабушкой Анной Алексеевной сошли в безымянную могилу. Он так и не узнал, что средний его сын умер ровно за год до Дня Победы, о чем было сообщено примерно через двенадцать лет, когда его посмертно реабилитировали, что реабилитированная сноха вернулась из заключения живой и нашла своего уже взрослого, рыжего сына, который сохранил сиротскую неприкаянность на всю свою жизнь. Трое же детей его старшего сына под родительским крылом убереглись от жизненных бурь, губительных для неокрепшего возраста...

Американиста провели по металлургическому заводу и в бандажном цехе показали паровой пятнадцатитонный молот. Молоту было сто пять лет, но работал он по-молодому сильно. Легко и бесшумно взлетал в грохоте цеха и, прицелившись, тяжело и крепко бил по раскаленному толстому слитку, поданному из нагревательной печи. С каждым ударом молота земля гулко ухала и нац бы приседала вместе с людьми. Начальник бандажного цеха сказал, что слышит уханье дома, живя в двух километрах от завода.

Начальник был молодой, интеллигентный. «На этом молоте работал ваш дед», — сказал он Американисту, смущенному, польщенному и взволнованному.

Американист осматривал завод вместе с секретарем парткома, Александром Михайловичем и своей женой. Они стояли метрах в пятнадцати от молота, а двое рабочих, забралами надвинув жароупорные стекла на лица, своими ухватами ворочали огненный, адски пышущий слиток, подставляя его молоту. На рабочих была черная, промасленная и прокопченная одежда. Оба деда Американиста — Петр Васильевич и Михаил Николаевич — были когда-то на их месте. А он стоял сейчас

почетным гостем в сторонке и испытывал волнение и смущение оттого, что ради него демонстрировали молот в работе. Когда двинулись дальше, в прокатный цех, Американист задержался и подошел к одному из рабочих. Рабочий был немолод. Он уже поднял свое забрало и снял рукавицы и поначалу непонимающе посмотрел на протянутую руку незнакомого человека. Рука рабочего оказалась неожиданно вялой.

Американист не мог удержаться от этого жеста. Он ничего не сказал рабочему, помня неприязнь деда и отца к пустым разговорам. Но через рукопожатие ему захотелось хоть как-то соединиться с дедом — почти через полвека — и дать понять ему, давно не существующему, что внук помнит его и не прошел мимо его далекого сменщика у этого столетнего молота...

Как сюрприз и как чудо показали заводскую оранжерею, где во влажной истоме росли пальмы и какие-то тропические лианы и кусты с сочными мясистыми листьями. Пальмы достигали пятнадцатиметровой высоты, и, чтобы не стеснять их рост, в оранжерее надстраивались стеклянные стены и поднимался стеклянный потолок. Кулебакские металлисты в извечной любви детей Севера к знойному Югу не стояли перед затратами ради этих пальм.

Там, а не возле молота, и щелкнул их фотограф — в оранжерее, у толстого мшистого ствола пальмы, среди экзотических кустов и прочих лиан.

Наше затянувшееся и ставшее лирическим отступление подошло к концу. А жаль. Автору и его герою, Американисту, в очередной (и, надеемся, не последний) раз простившемуся с детством, не хочется покидать ни малый дом его скромной родины, ни большой дом Отечества и снова перемещаться на далекую чужую почву. Дома и стены помогают — и земля, и небо. И свои люди.

Так бы и остался автор на родной земле и не спеша описывал бы, как пасмурным, с дождичком па дорогу утром одиноко выехала из Кулебак черная, прикрытая сзади занавесочкой «Волга», увозя Американиста с женой в Москву, как, поникнув мокрым листом, простились с ним родные леса, и гулко отозвался понтонный мост через Оку у Мурома, и на другом, правом берегу побежали вдоль дороги, откатываясь назад, владимирские деревеньки с палисадниками, и другие, не менее родные леса с сосной и березой, и как там же, совсем недалеко от его пятидесятилетнего города, попал Американист проездом в древние, славные в русской истории места — Суздаль с красотой пустых белых церквей и братскими кельями за

красными стенами Спасо-Евфимьевского монастыря, Владимир с его великолепным Успенским собором и певучей итальянской речью чернявых интуристов, выходявших из «икарусов»,— в соборе шла служба, толпились старушки в платочках, и Американист, привыкший любопытствовать за границей на храмы католические, а не православные, увидел и в этом богослужении нашу особую простоту и привычку к роевой жизни, все стоя, а не на католических скамейках, все купно, в страхе перед богом, а не в договорных, рационалистических с ним отношениях.

Мог бы автор и подробнее описать высокого и красивого шофера Валентина, который смущался необычного земляка, и еще больше смущалась Надя, его жена; в машине они разговаривали только друг с другом, что могло показаться невежливым, а па самом деле выдавало крайнюю степень стеснительности двух молодых провинциалов, которые со столичными жителями впервые ехали в столицу. (Как волновался Валентин, влившись при въезде в столицу в многорядное движение на шоссе Энтузиастов!) Наблюдая молодую кулебакскую пару, Американист попимал, что сам-то он почти изжил свой комплекс провинциала...

Что говорить: из родной стихии легче пригоршнями черпать, чем из чужой — жалкие капли. Хотя, с другом стороны, больше черпающих, больше пишущих, доскональных знатоков и придирчивых критиков и жестче, суровее спрос. Черпать легче, да писать труднее — и отвечать за написанное. Мы успели сказать кое-что о профессиональных бедах и тяготах международного писателя, пишущего из-за границы и о загранице. Не пора ли для баланса упомянуть о его преимуществах и льготах? За написанное им об Америке Американист полной мерой отвечал лишь перед судом других американистов — и перед своей совестью. Только они, знавшие предмет и побывавшие в такой же шкуре, как он, и только она, совесть (стыд, обращенный внутрь), могли по-настоящему строго и пристрастно судить, насколько искренне им написанное, насколько соответствует истине или грешит против нее. Международный пишет о жизни, которая неведома подавляющему большинству его читателей, а они к тому же доверчивы и великодушны, снисходительны и охочи до экзотики (не будем забывать эту нашу давнюю отечественную слабину). А вдруг найдется какой прохиндей и воспользуется этой доверчивостью читателя, вытекающей из недостаточного знания, вдруг польстится (на то он и прохиндей, чтобы польститься) соблазнами дешевой популярности и легких вознаграждений? Всегда ли в ответ объявится на него управа, знающий человек и к тому же с качествами андерсеновского

мальчика-смельчака, который, показав пальцем на прохиндея, воскликнет при всем честном народе: «А король-то голый!»

Международнику верят на слово, и в этом его завидная защищенность, и мера его ответственности, и привилегия, которой нет у пишущих о своей стране. Потому что из родной стихии, из своей жизни не только пишущий черпает, но и все мы без исключения* Жить это и есть, хочешь ты того или нет, черпать из жизни. Иногда и больше, чем душа просит и готова перенести.

В начале нашего повествования, представляя Американиста, мы говорили, что его мучили — и все сильнее приступы невысказанности. Не все у него укладывалось в газету, в статьи и комментарии о текущих международных делах. Он предпринимал попытки выразить себя, выскочив за стальную газетную раму. Они были малоудачными. Профессия стала образом жизни и самой жизнью. Его так и представляли: журналист, пишущий на международные темы. Или в лучшем случае, как титул жалуя, — публицист. Журналист или публицист, не все ли равно, ио как расскажешь о времени и о себе, минуя главное и во времени, и в себе — свою собственную страну?

И вот в порядке первого, хотя и позднего, опыта мы открыли Американисту отдушину — и выпустили его из Чарлстона, Западная Вирджиния, в Кулебаки, Горьковская область. Там он немножко отдышался от угрюмых реалий ядерного века. Старая тетя Маня доживала последние деньки в ожидании собственной смерти и могилки рядом с покойными родителями, ее не тревожили видения всеобщего небытия. У Александра Михайловича, кулебакского мэра, Американист не брал никаких интервью насчет войны, мира и советско-американских отношений — на эти злободневные темы больше мэр спрашивал журналиста, чем журналист — мэра. Теперь же, дав Американисту отдышаться, снова пошлем его с заросших дубравами берегов Теши, впадающей в Оку, которая в свою очередь впадает в Волгу, на берега индустриальной Канавы, впадающей в реку Огайо, которая в свою очередь впадает в Миссисипи.

Отвалившись на спинку кресла, с ногами для удобства на столе Нэд Чилтон, издатель «Чарлстон газетт», разговаривал по телефону. Увидев Американиста, входящего в его кабинет, ног со стола не снял, но жестом свободной руки пригласил садиться. Американист сел на диван у другой стены, разглядывая

издателя и его рабочее помещение. Нэд постарел и выглядел пожилым подростком: совсем седые, по-мальчишески коротко постриженные волосы и морщинистое, но сохранившее мальчишеский овал лица. Такой же худой, щуплый, в глухом свитере, обтянувшем грудь. Он продолжал разговаривать, извиняющимися жестами давая понять, что разговор нельзя отложить.

Когда Американист связывался с ним месяц назад из Вашингтона, Нэд сказал, что готов принять и помочь, но что приезжать надо в начале двадцатых чисел ноября, потому что в конце месяца он улетает на Фиджи отдохнуть, заняться подводным плаванием. На другой конец света, к черту на кулички, точнее, в райские места, спасаясь от промозглой западновирджинской зимы, — и всего на пару недель. Сейчас по телефону он с кем-то обсуждал детали поездки в своей отрывистой и деловито-ироничной манере.

Среди новых предметов в кабинете Американист увидел на подоконнике вазу в форме огромной коньячной рюмки, наполненной отборно-мелкими перламутровыми ракушками. Новое увлечение. Ракушки напоминали о безлюдных пляжах, теплом белом песке, в котором по щиколотку тонешь босыми ногами, о волне, лениво накатывающей на берег, о солнце, висящем среди зщ мы — в беспредельной лазури над беспредельным океаном. Для Американиста это были всего лишь кадры из американских кинофильмов, в которых детей сверхиндустриальной страны все чаще возвращают в девственное лоно природы. Для Нэда Чилтона ракушки в вазе были воспоминанием о лучших днях его нынешней, уже немолодой жизни, которые вернуться, надо лишь уметь ради

них откладывать все остальные дела.

— Шикарно живут миллиардеры, — польстил Американист своему чарлстонскому приятелю, когда тот копчил разговор, и они обменялись рукопожатиями.

— Я не миллиардер, хотя не прочь был бы им стать, — парировал Нэд.

— В таком случае шикарно живут миллионеры, — отступил Американист.

— И миллионером буду, только если продам свои акции в газете, — опять уточнил Нэд, и получилось, что не только миллионеры летают из Соединенных Штатов на Фиджи, спасаясь от зимы.

В «Чарлстон газетт» он был и издателем, и главным редактором,

и владел ею вместе со своей тетушкой, у которой, как говорили, акций было больше, чем у него.

Так, подтрунивая друг над другом, встретились они после шестилетнего перерыва. Жена и дочь Нэда отдыхали во Флориде. Американист, удовлетворяя любопытство Нэда, сообщил о жене, дочери и подростке сыне, который в прошлый их приезд в Чарлстон так смутился маленькой чилтоновской девочки, что Нэд прозвал его женоненавистником. После кратких расспросов перешли к делам, и в кабинет был вызван заместитель главного редактора — Дои Марш, немолодой человек с квадратной головой, большим лбом и суховатым юмором. Обсуждали программу встреч, подготовленных для Американиста, и тут неожиданно возникла заваyka и разгорелся не слишком серьезный, по темпераментный спор.

— Завтра за ленчем ты, Стэн, встретишься с раввином Кохлером,— сообщил Нэд, врасстяжку произнося имя «Стэн», которым он нарек Американиста.

Нэд, но я не просил о встрече с раввином.

Стэн, узнав о твоём приезде, раввин Кохлер захотел встретиться с тобой.

Нэд, ты же знаешь, я приехал сюда как репортер задавать вопросы, и, представь, у меня нет никаких вопросов к раввину Кохлеру.

Не кипятись, Стэн. Это у раввина Кохлера есть вопросы к тебе. Что-то насчет положения евреев в Советском Союзе. Неужели ты откажешь ему в любезности?

— Извини меня, Нэд, но ни с каким раввином ни за каким ленчем я встречаться не намерен. Я приехал посмотреть на Чарлстон и Западную Вирджинию, а если раввину Кохлеру так уж хочется задавать вопросы, то пусть он задает их Бегину, Шарону и Шамиру: что они сделали с Ливаном? Как бомбили Бейрут? Для чего пустили убийц в Сабру и Шатилу? И, кстати, где был раввин Кохлер, когда детей и стариков в Ливане убивали шариковыми бомбами, сделанными у вас в Америке?

Американист кипятился. Его появление в Чарлстоне кое-кто хотел бы использовать в своих целях. Раввин с ним встретится, чтобы где-то в отчетах перед своими людьми поставить галочку и, чего доброго, в газете того же Чилтона дать отчет с антисоветским текстом и подтекстом. Ему же предлагают включиться в эту игру. Нелепица усугублялась тем, что это был всего лишь заштатный Чарлстон — не Нью-Йорк, Лос-Анджелес или Майами-бич, где никто из политиков

или издателей не может поднять голос против сионистских организаций. Впрочем, нелепица ли? Значит, и здесь знают, где надавить, и чем пригрозить, и как постоянно быть в центре внимания. Обработали, наверное, и Чилтона — и вот он решил подстраховаться на случай возможного обвинения в «мягкотелости» к «красным».

— Стэн, но ты же сам говорил, что хочешь увидеть разрез общества.

— Но этого я не просил, Нэд. Ты же знаешь, как много проблем в этом проклятом богом мире, да и Западную Вирджинию они не обошли.

Дон Марш дипломатично молчал при споре хозяина с гостем, по гость находил поддержку уже и в его молчании. Однако Над, не желая портить отношений с раввином, гнул свою линию до конца.

— Стэн это невозможно. Раввин — приятный ДОСТОЙНЫЙ человек. Ты убедишься. Он отменил ленч с дру. гими людьми, чтобы встретиться с советским журналистом. Подумай, в какое положение ты меня ставишь. Если ты откажешься, мне придется раззвонить об этом на всю Америку.

— Нэд, не бери меня на пушку. Нет и еще раз нет...

Инцидент на этом был исчерпан, и Чилтон к нему не возвращался. Вместо ленча с раввином в программу включили Чарлстонский университет и ленч с его президентом. Университет находился на другом берегу реки, как раз напротив резиденции губернатора штата. Крошечный — на две с половиной тысячи студентов. Частный, с ежегодной стоимостью обучения в пять тысяч долларов. И относительно богатый, с бюджетом порядка десяти миллионов долларов в год (помимо платы за обучение, получаемой от студентов, и пожертвований от бывших выпускников). Крошечный университет, но вполне американский, со своими имперскими замашками — заграничные филиалы в Риме, Токио и Рио-де-Жанейро. В каждом из филиалов обучаются и стажируются примерно по сто студентов. И каждый год совет попечителей, то есть богатых и уважаемых покровителей университета, одно из своих заседаний проводит за границей, в том или ином филиале.

Президентом университета оказался высокий моложавый мужчина. Внешним видом он смахивал скорее на избалованного плейбоя, чем на серьезного ученого или хотя бы администратора. Все посмеивался, рассказывая о заграничных филиалах и о том,

как попечители любят проводить свои выездные заседания в трех знаменитых столицах. Американист так и не понял, что стояло за его смешочками: гордость (а есть ли у вас такие университеты?) или насмешливое смирение (мы такие маленькие и скромные, что хочется хоть чем-то щегольнуть). Как и у его коллег из крупных университетов, главная связанность президента заключалась в том, чтобы находить и обеспечивать регулярное и достаточное поступление средств, которых с каждым годом требуется все больше.

За ленчем сидели в отдельной комнате университетской столовой и говорили об американских католических епископах, о которых в те дни много писали в газетах: они разрабатывали проект пастырского послания к своей многомиллионной пастве с осуждением безнравственности и безбожности! ядерного оружия и с призывом к замораживанию ядерных арсеналов. Президент университета с теми же своими смешочками утверждал, что этот вопрос — о замораживании ядерных арсеналов — человека с улицы не греет и не волнует. С ним не соглашались и спорили его заместительница, которую запросто звали Сэлли, и Дои Марш, сопровождавший Американиста.

— Джей Рокфеллер доказывает, что деньги унаследовать легче, чем мозги,— обронил в разговоре обозреватель газеты «Чарлстон дейли». Этот афоризм, кажется, смутил его самого своей дерзостью и скрытым антиамериканизмом,— как ни относиться к богатому наследнику, бросать тень на большие деньги не по-американски.

В одном и том же здании, деля одну типографию, уживались газеты двух политических оттенков — более либеральная, чилтоповская, и более консервативная — «Чарлстон дейли». Сожительство диктовалось коммерческими соображениями, давало экономию расходов. Это было выше политических разногласий, поскольку определяло главное — прибыльность или убыточность обеих газет, их выживаемость.

Теперь Нэд Чилтон поделился со своими соседями- консерваторами и гостем из Москвы, поддерживая добрососедские отношения и, быть может, как и Билл Броккет из Сан-Франциско, демонстрируя заодно, что никаких секретов с «красным» у него не существует.

Две редакции размещались на одном этаже, и совсем рядом с чилтоновским кабинетом был кабинет главного редактора соперничающей газеты. И там Американист разговаривал с господином Чеширом, главным редактором «Чарлстон дейли», и молодым обозревателем, которого он пригласил на подмогу и,

быть может, в качестве свидетеля, подстраховываясь, так как новая «охота за ведьмами» заставляла осторожничать и самих охотников.

В разговоре сквозила неприязнь к губернатору с самой капиталистической фамилией, и объяснялась она очень просто. В отличие от других Рокфеллеров западновирджинский был по партийной принадлежности не республиканцем, а демократом и к тому же имел либеральную репутацию и биографию человека, ходившего в парод. В середине шестидесятых годов, прервав дипломатическую карьеру, которую он начал было делать — с ориентацией на Японию — в госдепартаменте, Джей Рокфеллер вдруг впервые отправился в бедствующий шахтерский штат участником «войны с бедностью», объявленной тогда президентом Джонсоном. Было время активного участия молодежи в общественной жизни — антивоенный протест, борьба за равенство негров. «Война с бедностью» направляла эту энергию по каналу, за которым присматривал официальный Вашингтон. Джей Рокфеллер жил и работал несколько месяцев в эпицентре шахтерской нищеты — поселке Эммонс, в пятнадцати милях от Чарлстона.

Когда-то Американист навестил и Эммонс, интересовался, как Рокфеллер четвертого поколения пытался лично благотворить народу, и не нашел следов его победы над бедностью, поселок по-прежнему умирал, работы не было, многие уехали в другие места, но те, кто остался, отвергнутые обществом, сломленные жизнью люди, сохранили добрую память о молодом, отзывчивом миллиардере.

Главный редактор «Чарлстон дейли» работал одно время в штате ультраконсервативного сенатора Джесса Хелмса. В его глазах нынешний губернатор Джей Рокфеллер был «розовым», и эта старая неприязнь породила убийственный — и верный — афоризм: деньги унаследовать легче, чем мозги.

Что касается народа, то и либералы и консерваторы с пафосом говорят от его имени, если сам народ безмолвствует. Исконный пород здесь, в Западной Вирджинии, живет замкнуто и провинциально, снова слышал Американист знакомые характеристики. Хилл Билли, Билли с гор — так прозвали этих людей, приобретших репутацию нелюдимов, которые и не хотят спускаться со своих гор. Их язык, поверите ли, сохранил архаичные, чуть ли не шекспировских времен, слова. Но это народ гордый и очень патриотичный, заверили оба консерватора. В годы второй мировой войны Западная Вирджиния дала едва ли не самый высокий в стране процент новобранцев; добывавшим уголь шахтерам предоставляли бронь, но они отказывались от льгот,

шли в армию, воевать.

— Просто они считали, что в сражениях безопаснее, чем в забое под землей, — добавил главный редактор Чешир, шуткой смягчая пафос своих похвал патриотизму земляков.

Сейчас в шахтах «фантастическая техника», процесс подготовки забоев и добыча угля полностью механизированы, и шахтер, соблюдающий правила общения с машинами, находится в полной безопасности. Шахтер, рассказывали Американисту, получает до ста и более долларов в день, если работает...

Если... Главные опасности подстерегали шахтеров не под землей, а на поверхности. Уровень безработицы в Западной Вирджинии составлял четырнадцать процентов, один из высочайших в стране. Но этот средний уровень не передавал масштабов народной беды, обступившей сравнительно благополучный Чарлстон. Об угле вспомнили, когда начались трудности с нефтью. Однако надежда недолго светила горняцкой Западной Вирджинии. Положение с нефтью стабилизировалось, энергетический баланс выровнялся — и спрос на уголь снова резко упал. А в сухопутной глубинке Западной Вирджинии нет морских портов, которые давали бы выход к миру за американскими пределами, через которые можно было бы удобно и экономно вывозить уголь за океан куда-нибудь в Западную Европу, в страны, где существует на него спрос. И вот фантастические машины сильнее и эффективнее, чем когда-либо, выталкивают из-под земли шахтеров.

...Самое ужасное положение — на юге штата. Там безработица среди шахтеров доходит до восьмидесяти процентов. Нефтяные корпорации, неизмеримо более богатые и хищные, скупили угольные корпорации и месторождения угля и преднамеренно снижают добычу, «сидят на угле», как собаки на сене, пока не выжмут последний цент из нефти...

Фантастическую цифру безработицы — восемьдесят процентов — и страшные подозрения относительно нефтяных корпораций Американист услышал в другом разговоре, ие с газетчиками.

Для другого разговора он пришел на Брод-стрит, в новенькое здание, которое притулилось около вздымающейся на своих мощных бетонных опорах дорожной развязки. Магистральная автострада, бегущая в другие штаты, врывалась тут в Чарлстон и тут же, для других автомобилистов, покидала его, и только люди, привыкшие жить в шуме и грохоте, могли выбрать такое малоуютное место для своей штаб-квартиры. Правда, земля там

наверняка стоила дешевле. В новеньком коричневом здании у большой дороги помещалось западновирджинское отделение крупнейшего американского профобъединения АФТ — КПП.

В центральной вашингтонской штаб-квартире АФТ — КПП сидят рьяные антисоветчики и антикоммунисты. Направляясь на чарлстонский Брод-стрит, Американист готовился к бою. Но вместо словесной перепалки получился дружеский разговор в кабинете председателя отделения, где на письменном столе лежали два деревянных, отлакированных председательских молотка, а на стенах висели разнообразные профсоюзные вымпелы. Сам председатель отсутствовал, его замещали секретарь-казначей и вожаки местных профсоюзов строителей и сталелитейщиков, а также директор отдела исследований и публикаций.

Американист с интересом приглядывался к чарлстонским профсоюзникам. Это были несколько грузноватые, физически сильные люди с широкой костью. Аккуратные костюмы, начищенные ботинки, белые сорочки, галстуки и очки в тонкой металлической оправе, но в широких, пористых лицах, знавших трудовой пот, в тяжелых руках и принужденных позах проступали вчерашние рабочие. Они имели право говорить от имени народа, живущего в рабочих поселках за пределами Чарлстона, и со знанием дела могли судить о его нуждах и самочувствии.

Кризис охватил не только угольную промышленность. Среди строителей, узнал Американист, примерно шестьдесят процентов безработных (опять фантастическая цифра!), поскольку рекордно высокие проценты, под которые в банках выдаются кредиты, заставили резко свернуть строительство. Упадок распространился и на сталелитейную промышленность, поставляющую продукцию для строителей, а последние полтора-два года численность организованных в профсоюзы рабочих, членов АФТ — КПП, упала в Западной Вирджинии с семидесяти двух тысяч до шестидесяти тысяч, ослабив рабочее движение и его способность противостоять предпринимателям. Люди, оказавшиеся без работы, получают пособие в течение двадцати девяти недель, его могут продлить в общей сложности еще примерно на двадцать недель — а что дальше? Унизительные подачки по программе вспомоществования? Все больше случаев самоубийств, люди все чаще ищут и находят утешение в бутылке. Семьи распадаются под гнетом лишений, отчаяния, авторитет кормильца пропадает, перестает объединять членов семьи. Более того, оставшись без работы, кормилец свой последний долг перед семьей видит в том, чтобы ее покинуть, уйти из дому

— в его отсутствие семья получает право на дополнительное пособие.

Ужасны последствия безработицы. Но...

Но каждый страдает в одиночку, с собой и своей семьей. Массового организованного протеста не наблюдается. И об этом говорили, и этому удивлялись профсоюзники.

Они крыли Рональда Рейгана перед советским корреспондентом. С их точки зрения, он зарекомендовал себя чужим и враждебным президентом — для богатых, обрушивающим топор жестокосердной экономии на те программы помощи безработным и другим категориям нуждающихся, которые были нелегким завоеванием профсоюзного движения и прогрессивной Америки.

Но Рейгана не все жаловали и по другую сторону классовой баррикады — за то, что он миндальничал и недостаточно жестоко обрушивал свой топор. Эту точку зрения изложил Американисту авторитетный представитель другой стороны — председатель Чарлстонской торговой палаты, защищающей интересы местного бизнеса. Он, к примеру, не скрывал своего недовольства тем, что Рейган так и не поднял пенсионный возраст с нынешних шестидесяти пяти лет до семидесяти. Американцы живут все дольше и дольше — и пусть. Сам Джон Чэпмен пребывал еще в сильном среднем возрасте, полный здоровья и энергии, он в принципе не имел ничего против увеличения продолжительности жизни соотечественников. Его смущало, и даже возмущало, то обстоятельство, что социальное обеспечение, эту американскую пенсию, распространили теперь едва ли не на всех, достигших шестидесяти пяти лет. А они сплошь и рядом живут еще по десять, пятнадцать, а то и двадцать лет, и каждый ежемесячно получает из казны по пятьсот — шестьсот долларов да еще половину этой суммы на жену, даже если она не работала. Непомерное бремя для федерального бюджета — для налогоплательщика, который питает его своими долларами.

Но в целом с той стороны баррикады, по которую стоял мистер Чэпмен, дела шли хорошо. Лично он появился в Чарлстоне восемь лет назад, приехав из Чикаго, где натолкнулся на объявление о вакансии в Чарлстонской торговой палате. Решил попытать счастья и приехал сюда «для интервью». Его опросили, проверили — и взяли на работу. Он недурно устроился и успел полюбить здешнюю жизнь, которая привлекла его своим спокойным темпом. Здесь никто не давит тебе на бампер, сказал он, и Американист подивился новому

выражению: в предельно автомобилизированной стране друг другу наступают уже не на пятки, а на задний бампер автомашины. На автострадах люди вежливы, еще раз выделил эту черту Джон Чэпмен. Семьи большие и хранят старые традиции тесной связи между поколениями и уважения младших к старшим. Да, шахтеры бедствуют, но ведь в здешней округе лишь один из двадцати работающих занят в угольной промышленности. В медицинских заведениях и то больше людей. Химическая индустрия, главная в районе Большого Чарлстона, не подвергалась колебаниям экономической конъюнктуры. В округе за последние годы прибавилось восемнадцать тысяч рабочих мест. Ради дополнительных доходов все больше женщин оставляют хлопоты у домашнего очага, ищут — и находят — работу. Зайдите в рестораны, в магазины — разве мало там посетителей и покупателей? И т. д.

У каждого, с кем встречался Американист, было свое место в Чарлстоне и своя точка зрения. Своя работа — или отсутствие опой. И жизнь, в которой каждый по одежке протягивал ножки.

В свою толстую университетскую тетрадь Американист, обдумывая чарлстонские впечатления и вспоминая поездку в Кулебаки, заносил ту мысль, к которой часто подступал и которая продолжала его мучить, потому что он ни разу не смог выразить ее удовлетворительно:

«Кулебаки и Чарлстон — продукты и образы двух общественных систем и двух цивилизаций. У них разное обличье, разная этажность и архитектура, мостовые и автомобили, экономическая ориентация. Разные мэры, хотя оба по-своему умные и опытные люди... Один, чтобы двинуть городские дела, рассчитывал на средства при реконструкции завода, а другой — на частное строительство, привлечение частного капитала... В родном городе люди спокойнее и конечно же уверены в завтрашнем дне; если чего и боятся, то войны, а не безработицы. Жизнь менее подвижна, чем в Чарлстоне, но разве возрадуешься этой подвижности, если она выбросит тебя за борт при очередной передрыге, которые все время «организуют» законы капиталистической конкуренции? Кое-чем похожи мы друг на друга, очень многим не похожи, в одно и то же время живем разной жизнью, друг от друга — далекие».

Сохранился в той же тетради еще один, вашингтонский, вариант этой мысли, занесенный под влиянием непосредственного впечатления:

«В эти годы наших ожесточенных споров и возросшей подозрительности,

когда приезжаешь сюда на несколько недель и еле протягиваешь себя через это время, тоскуя без родных и родины, подъезжая с ясноглазым коллегой из ТАСС к его временному жилищу в вашингтонском предместье и в багровом ноябрьском закате разглядывая их машины на их автострадах, и х дорожные знаки, очертания и вывески и х зданий и жилых домов, в тысячный раз думаешь о том, что давно объяснил себе рационально, но все равно не можешь до конца осознать: зачем эта странная жизнь в чужой стране среди чужих? Ради каких-то заметок в газету? Зачем они нам? Мы — им? Но мы не можем не вглядываться друг в друга — и не просто в силу любопытства, как во времена гончаровского «Фрегата «Паллада», не просто как досужие путешественники. Люди ядерного века, мы никак не можем наладить совместную жизнь — и никак не можем обходиться друг без друга...»

Более поздний вариант той же мысли возник в тетради по возвращении в Москву:

«Вот одна из самых невероятных сенсаций, не американских, а отечественных. В необитаемых дебрях Горного Алтая были обнаружены староверы-отшельники Лыковы. О них подробно и выразительно написал Василий Песков. В своих домотканых одеяниях, с посошками и котомками старик Карп Лыков и его дочь Агафья стояли на фотоснимках рядом с геологами обнаружившими их, и мы дружно удивлялись: соседство XX и XVIII веков. В колец нашего просвещенного века каким-то анекдотическим чудом заскочила дикая и дряхлая, заскорузлая старина. Разве назовешь Лыковых нашими современниками? Случай из ряда вой, из категории «очевидное — невероятное». И он, этот случай, как раз и подошел к соответствующей телевизионной передаче, и примерно в этом духе толковали его профессор С. П. Капица и В. М. Песков, рассматривая фотографии вместе с телезрителями. Но разве не к тому же разряду относятся другие расстояния в очевидных пределах нашего века, внутри его, которые в голову не придет измерять веками и считать невероятными? Говорим, что Лыковы не понимают современных людей. А как быть с непониманием между современными людьми? Мы не сомневаемся, что американцы — наши современники, люди XX века, а не XVIII. А ведь они — в своем роде — дальше от нас, чем Карп и Агафья Лыковы. В домотканости ли дело? Всего невероятнее другая очевидность, к которой мы так привыкли, что не замечаем ее: множественность, емкость, бездонная вместимость XX века...»

Простая, в сущности, мысль билась в своих диалектически связанных противоположениях, выскальзывая из-под пера: мы

— разные и мы все — люди, все дети и частицы одной семьи человечества.

На свидания в Чарлстоне Американиста возил Дон Марш, а для загородной поездки ему выделили репортера Стива. Приятные люди, с ними было легко и просто. Дом не принадлежал к чарлстонской верхушке, но был, можно сказать, вхож в общество. Стив был рядовым провинциальным газетчиком, трудягой-репортером, тридцать лет протрубившим в «Чарлстон газетт». Когда заходил разговор о Нэде Чилтоне, оба, оставив обычный той газетной подначки, отзывались о нем уважительно и осторожно. Нэд был их боссом, хозяином, а мнение О хозяине берегут про себя. В умолчаниях и осторожных ответах сквозило: богатый, многое может себе позволить.

Худого, горбоносого Стива жизнь потрепала, но он все еще любил работу и получал удовольствие от своих репортерских разъездов и писаний. За границу ни разу не выезжал, даже в Канаде не был, все лишь собирался туда — порыбачить. Западную Вирджинию знал как свои пять пальцев, и с машиной своей прямо-таки сливался — распространенное свойство американцев, прирожденных автомобилистов. Холостяк, он жил с матерью примерно в ста километрах от Чарлстона и каждый день ездил на работу и с работы. В словах его чувствовался человек, равнодушный к природе, охоте и рыбалке, к мужским занятиям на открытом воздухе. Приближался День благодарения, главный праздник поздней осени, и вместе с ним сезон охоты на оленей — самой популярной в Аппалачах. От Стива Американист узнал, что в Западной Вирджинии на два миллиона жителей насчитывается примерно полмиллиона оленей и что охотничья лицензия местным жителям обходится втрое дешевле, чем приезжим.

Но не на охоту они выехали из Чарлстона по дороге, ведущей на восток.

На склонах невысоких гор пасмурное небо скребли гребенки голых деревьев. Из-за гор, низкого неба и начинавшего темнеть дня даже за городом не приходило ощущение простора. Долина была тесной от проложенных шоссе, от железной дороги, по которой гроыхали тяжелые грузовые составы, от рабочих поселков с серыми домишками, в которых даже рекламные вывески были какими-то серыми, блеклыми. С шоссе свернули на проселочную дорогу, она бежала вдоль горного склона, пока не уткнулась в тупик. Там они оставили машину, прошли к зданию очистительной фабрики, увидели, как черно

поблескивающие куски каменного угля лавиной сыпались из ярко-желтых больших самосвалов на ленту транспортера, которая подавала их в открытые вагоны...

Американист впитывал эти картинки и штришки. Он так и не мог заставить себя пользоваться фотокамерой, хотя снимки были бы незаменимым подспорьем при последующих описаниях. Его профессиональный прием состоял лишь в том, чтобы запомнить и двумя-тремя словами в блокноте закрепить нужные детали. Газетчику требуется общая картина, и это предполагало кабинетные встречи с руководителями, с аналитиками, которые мыслят цифрами и общими категориями. Хорошо, если от них оставалась и пара метких, образных фраз. Обязательным был также осмотр места — это позволяет раздвинуть стены кабинетов и показать читателю, по возможности зримо, где происходит действие. И, наконец, хорошо бы поместить в картину конкретную о человека, без цифр и общих рассуждений, в конкретной жизненной ситуации — как живую иллюстрацию. Как у кинематографистов. Общий план. Крупный план. И наезд — камера придвигает к зрителю лицо человека...

Ему не хватало такого наезда, интервью на улице — с человеком с улицы. Желательно безработным. Хотя газета Нэда Чилтона не походила на газету Американиста, опытный репортер Стив понял его. Но где найти нужного человека? В маленьких поселочках люди проскакивали мимо них в автомашинах, на улицах никого не было, да и улиц, в сущности, не было, всего-навсего дома вдоль дороги. В дом же не постучишься. Оставались кафетерии, увешанные вывесками кока-колы, заполонившей эти места, или продовольственные магазины — фудмаркеты.

Стив подъехал к фудмаркету по дороге на старый шахтерский поселок Кэбин-крик. По американским стандартам, это был никудашный продмаг, но, без этого нельзя, с площадкой для автомашин покупателей. Парковка, на которой могло поместиться несколько десятков машин, была пуста. Стояло лишь три-четыре старых автоклячи, они как бы списываются из более благополучных мест в глухую провинцию.

В одной были люди — на заднем сиденье двое детей и женщина и на переднем молодой бородач. Другой бородач, вышедший из фудмаркета и несший в обнимку бумажный мешок с продуктами, садился в эту машину. Стив вопросительно взглянул на Американиста и, получив одобрительный кивок, подошел к парню. Холостой выстрел. Это были проезжие, и их слова о жизни в Западной Вирджинии не могли иметь значения. Судя по автомобильному номеру, который не сразу разглядели

охотники за интервью, эти люди и их слова пригодились бы в Пенсильвании.

Больше людей на парковке не было, и Американист со Стивом двинулись к входу в магазин. Из магазина в этот момент выходил пожилой мужчина в рубашке и хлопчатобумажных брюках цвета хаки, но почему-то он не вдохновил двух репортеров, и ОПП отпустили его с миром.

Их свободный поиск был делом обычным, принятым среди газетчиков и телевизионщиков всего мира и, в сущности, нелепым. Наскочить на неизвестного человека, вырвать у него, ошарашенного и смущенного, несколько слов о его жизни или мнение о том или ином событии и тут же навсегда с ним распрощаться, по передать его слова в газету, которую он никогда не прочтет. Чего тут больше — традиционного газетного реализма, требующего конкретных имен и ситуаций, или, напротив, сюрреализма в стиле гениального сумасшедшего Сальвадора Дали? С другой стороны, можно ли требовать от мгновенно творимой газеты и ее творца-газетчика больше, чем они могут дать на своем месте и в предложенных им обстоятельствах? И здравый реалист-читатель берет, что дают, понимая пределы газеты и отнюдь не обязательно считая ее полным и достоверным отражением многосложного мира. Если у кого и существуют иллюзии, то скорее всего у самого газетчика, увлеченного своим сизифовым трудом. Он-то живет (и не может не жить) иллюзией, что газета — целый мир и что он создателем стоит в его центре.

Ни Стив, ни Американист не предавались самокопанию, когда вошли в фудмаркет, чтобы найти там западновирджинца, который, будучи застигнутым врасплох, как на духу расскажет им о своей жизни в обиженном богом краю. Как и во всяком американском магазине самообслуживания, там стояли стеллажи и полки с довольно широким, неизменным для магазинов такого рода и размера выбором продуктов. Покупателей, убедившись они, заглядывая меж стеллажей, почти не было.

Кассирша могла бы выручить, дать сводные данные: много ли бывает людей? Что берут — стейки, мясной фарш или иногда уже и консервированную собачью пищу? Как отразилась безработица на покупательной способности округа? Но кассирша стучала по клавишам кассового аппарата, укладывала покупки в бумажные мешки, ее не оторвешь от дела.

Вглядевшись и посоветовавшись, они подошли к молодой паре с маленьким мальчиком. Мальчик лет трех болтал ножками,

сидя в магазинной тележке, которую толкал его отец, рыхлый детина с болезненным лицом, поросшим рыжеватой щетиной. Когда они подошли, детина остановил коляску и недоуменно посмотрел на них бело-красными глазами альбиноса. Стив представил репортера из Москвы, из России. Наивный, к тому же растрепавшийся рабочий не ухватил скрытый юмор ситуации: репортер из России проделал тысячи и тысячи миль, чтобы добраться до придорожного фудмаркета возле Кэбин-крик и задать ему несколько вопросов. Жена, бледная, невзрачная женщина в куртке и брюках, тоже не совсем понимала, что происходит, но придвинулась ближе, готовая прийти на помощь мужу. Лишь мальчику все было нипочем. Ему нравилось кататься, сидя в магазинной коляске, и, хватаясь руками за ее никелированное плетение, не переставая болтать ножками, он снизу вверх смотрел на остановившегося отца и двух подошедших к нему незнакомых дядей.

— Да, шахтер,— ответил болезненный детина.— Да, из этих мест. Как дела? А разве не знаете?

И вместе с женой, почти слово в слово, они в один голос сообщили, что он четыре месяца пробыл без работы. И что его только что наняли — на два месяца. Те четыре месяца страха и смятения еще оставались с ними, и они уже заглядывали через два месяца вперед, боялись будущего.

Взгляд парня был смущенно-затравленный, и в нем Американист прочел: чего привязались? Какой мне от ваших расспросов прок? Лучше сказали бы, что будет дальше?

Но он не мог ответить, что будет дальше с этим молодым человеком, с его женой и сыном, счастливо дрыгающим ножками в коляске, и прекратил расспросы. Нужным ему, журналисту, штришком он запасся. А дальше шло не профессиональное, а чисто человеческое. И по-человечески он не хотел, не имел права растравлять чужие раны. И худой горбоносый Стив, хотя его и послали помочь русскому репортеру, тоже не хотел растравлять раны своего земляка перед человеком из другой страны и другого мира.

Вечером накануне отлета Американиста из Чарлстона Нэд закатил в его честь прием в частном клубе, находившемся на холме, в уединенной части города. Да, есть такое выражение - to throw a party, что и означает по-нашему закатить прием.

В Чарлстоне, как и в любом мало-мальски уважающем себя американском городе, был свой частный клуб, и в нем, платя

ежегодные взносы, состояли членами не репортеры вроде Стива, а видные состоятельные горожане. Вместе с Нэдом Американист однажды уже побывал в этом клубе в субботний летний день, когда там было шумно, людно, празднично, все знали друг друга и обменивались приветствиями, а с веранды открывался красивый вид на зеленые луга, поля для гольфа и на близлежащие горы. Теперь, ноябрьским вечером, доводь-по-таки вместительное здание с холлами, гостинными, баром и рестораном казалось пустым и за окнами была всего лишь тьма.

Нэд Чилтон, однако, сделал все, чтобы оживить клуб и скрасить последний вечер. На гостя из Москвы он пригласил десятка три своих друзей и знакомых, к услугам собравшихся был для начала бар с барменом и полным набором напитков, включая, конечно, водку «Столичная», креветками, сосисками, сыром и прочими закусками. (Не скупясь на затраты, Нэд заказал из Нью-Йорка даже русскую икру, но сказались изъяны американского сервиса — ее не доставили вовремя.) Потом внизу в отдельном кабинете, он угощал своих гостей вкусным обедом, тоже включавшим одно русское блюдо — борщ холодный — на американский лад. И после обеда — снова бар и «послеобеденные» напитки, коньяки, ликеры.

Но главным угощением щедрого Нэда были сливки чарлстонского общества. А для них, сливок, более редким, чем холодный борщ, блюдом был человек из Москвы.

Сам Нэд в черном мохнатом блейзере с нашивкой яхтсмена на нагрудном кармане подчеркнуто держался в стороне, уступив авансцену почетному гостю. Американист стоял среди собравшихся, и чарлстонцы один за другим подходили к нему поздороваться, представиться и поговорить. И каждый начинал с вопроса о том, как это человека из Москвы угораздило попасть в Чарлстон.

— Я работал корреспондентом в Нью-Йорке и Вашингтоне, а теперь приехал в Штаты на некоторое время и вот решил заглянуть в Чарлстон, где не раз бывал,— объяснял каждому Американист.

Вот перед ним стоял молодой человек тридцати лет с мягкой, располагающей улыбкой под темными густыми усами — адвокат, которого только что избрали в конгресс по одному из западновирджинских избирательных округов, от демократической партии. Он уже собирал чемоданы, чтобы к январю перебраться в Вашингтон, и теперь даже через москвича, когда-то жившего в Вашингтоне, пытался представить, какой будет его новая жизнь конгрессмена в столице.

— Я работал корреспондентом в Нью-Йорке и Вашингтоне, а теперь...

Это Американист объяснял свое появление в Чарлстоне другому человеку, краснолицему промышленнику, владельцу завода металлоизделий. Жена промышленника стояла рядом в костюме из светло-сиреневой замши. Успев подвыпить и горячась, промышленник изливал душу: стальной бизнес — в ужасном положении, сталелитейная промышленность работает лишь на сорок процентов мощности. А кто виноват? — профсоюз сталелитейщиков. Они добились коллективного договора, по которому взяли обязательство двенадцать лет не прибегать к забастовкам, но зато каждый год они требуют теперь повышения зарплаты. Знаете, сколько они сейчас получают в час? — двадцать долларов. Попробуйте с такой дорогой рабочей силой выдержать конкуренцию японцев или западноевропейцев...

— Я работал корреспондентом в Нью-Йорке и Вашингтоне...

Все-таки и негры в Чарлстоне водились. И вот один из них, высокий и красивый, с проседью в черной шевелюре, знакомится с Американистом — президент запад-новирджийского колледжа, в котором учатся четыре тысячи студентов, из них двадцать процентов — чернокожие. Колледж, оказывается, был создан в конце пятидесятих годов, когда развертывалась борьба против расовой сегрегации. Его нынешний президент родом из штата Техас, работал в Атланте, штат Джорджия, и, наконец, добрался до Чарлстона.

Я работал корреспондентом в Нью-Йорке и Вашингтоне...

Все-таки и негры в Чарлстоне водились. И вот один из них, высокий и красивый, с проседью в черной шевелюре, знакомится с Американистом - президент западновирджинского колледжа, в котором учатся четыре тысячи студентов, из них двадцать процентов - чернокожие . Колледж, оказывается, был создан в конце пятидесятих годов, когда развертывалась борьба против расовой сегрегации. Его нынешний президент родом из штата Техас, работал в Атланте, штат Джорджия, и, наконец, добрался до Чарлстона.

— Я работал корреспондентом...

Особо выделяя своего близкого друга, Над подвел к Американисту широкогрудого гиганта с красавицей женой, кокетливо вертевшей лицом, чтобы гость наилучшим образом мог оценить ее острый носик и прекрасные зубы, открытые в радостной улыбке. Нэд говорил, что летом следующего года двумя

супружескими парами они хотели бы проехать «сибирским экспрессом» через весь Советский Союз. «Ведь это самый большой в мире сухопутный маршрут, не так ли? Сколько суток он занимает? И как ты посоветуешь, Стэи, откуда лучше начать — от Москвы и ехать до Находки или сесть в Находке и двигаться с востока на запад?» План путешествия включал также Западную Европу и Японию, но они пока не решили, откуда начинать.

— Я работал...

Мужчина с усами, трубкой и пронизательным прищуром мохнатых глаз занимал пост председателя верховного суда штата Западная Вирджиния и сразу же начал спор об «открытом» и «закрытом» обществе.

Кроме того, были уже знакомый нам президент Чарлстонского университета, один старый мудрый адвокат — Друг Нэда, которого и раньше встречал Американист, Дон Марш с его симпатичной умной женой и другие. Но не было, разумеется, профсоюзников, безработного из фудмаркета в Кэбин-крик. Отсутствовал и раввин Кохлер.

Так Американист расширил благодаря Нэду свое представление о разрезе чарлстонского общества, и общество, подогретое напитками в баре, переместилось в отдельный кабинет за обеденный стол, где Нэд, враг длинных речей, сказал всего лишь несколько слов насчет желательности пристойных отношений между американцами и русскими и предложил выпить на здоровье, произнеся эти два слова по-русски и объяснив их значение другим гостям. Американист ответил ему в топ. Его усадили между красавицей женой гиганта и замшевой светло-сиреневой женой промышленника, и первая все показывала в улыбке прекрасные зубы, а вторая, подкрепившись, как и ее муж, напитками, все делилась своими московскими впечатлениями: люди — теплые, но почему-то неохотно разговаривают с иностранцами. Верховный судья, сидя через стол, в унисон разговорчивой даме развивал тему «открытого» и «закрытого» общества...

Утром шел дождь. По телефонному вызову портье подкатило такси. Город посерел от дождя, под дождем мокли машины с чарлстонцами, спешившими на работу, от дождя сыро дымилась река, и, взирая на эту картину через запотевшее стекло машины, Американист распрощался с Чарлстоном. Ненастье не помешало рейсовому самолету вовремя прибыть, высадить и взять пассажиров и вовремя подняться со сглаженной верхушки

горы, и тогда в долине вновь открылся с высоты и сразу был задернут летящими космами облаков Іарлстоп с позолоченным куполом Капитолия, где заседает законодательное собрание штата, с краснокирпичной резиденцией, где жил губернатор Джей Рокфеллер, истратившим еще восемь миллионов долларов на свое переизбрание, и с осенней, сумрачной рекой Канава, которая впадает в реку Огайо и дальше в Миссисипи, как Чарлстон впадает в штат Западную Вирджинию и дальше — в Соединенные Штаты Америки.

В песочных часах песок, измеряющий течение времени, убывает равномерно, с одной и той же скоростью. Но замечали ли вы, что чем меньше остается песка в стеклянном перевернутом конусе, тем стремительнее сходит он на нет, втягиваясь в воронку? И кажется, что не только песок течет быстрее, но и само время закручивается в воронку, когда его осталось в обрез, всего лишь на донышке. Так происходит с самой жизнью и с теми отрезками, на которые мы — порциями песка в песочных часах — делим свою жизнь. Иногда эти отрезки называются заграничными командировками.

Американист еще беспокоился о том, какой новый материал отправить в газету, которая ничего не требовала и как будто забыла о его существовании, еще работал над корреспонденцией, где в качестве положительных героев выводил людей с благостными и постными лицами, одетых в черное, — католических епископов. Они собрались в вашингтонском отеле «Стэтлер Хилтон», в двух шагах от советского посольства, чтобы обсудить еще один вариант своей анафемы ядерному оружию. Разгорелись новые дебаты о темпах роста военного бюджета (против его роста в принципе никто не выступал). В конгрессе, вдохновленные итогами промежуточных выборов, смелее звучали голоса критиков администрации. Американист хотел смешать эти голоса с голосом католических епископов, написать и отправить в Москву еще одну корреспонденцию о подъеме антивоенного движения.

А между тем он подсчитал, что вступил уже в последнюю четверть своей полуторамесячной командировки* Это был уже остаток дней, и, как песок на донышке песочных часов, они текли все быстрее, закручиваясь в воронку, и дата отъезда, с самого начала проставленная в авиабилете, а также во временном виде на жительство, выданном инспектором Хейсом в монреальском аэропорту Дорвал, была уже четвергом на той неделе, которая наступит через неделю, вот-вот начинающуюся.

Впереди еще был Нью-Йорк, город-гигант, но в сознании,

подхлестывающем дни, и он представлялся всего лишь трамплином для прыжка домой. Легко и радостно нарастало чувство освобождения. И в этом настроении, нанеся прощальные визиты в посольство и вашингтонским москвичам, которые щедро одаряли его своим гостеприимством и дружеским участием, в один пасмурный, дождливый и тем не менее прекрасный полдень позднего ноября Американист покинул отель «Холидей Инн» и по воскресной, сырой и пустынной Висконсин-авеню стартовал на Нью-Йорк.

Собственно, до Нью-Йорка был всего час лета от Национального аэропорта в Вашингтоне, и воздушные челноки компании «Истерн», пренебрегая непогодой, исправно сновали в тот день между двумя городами, но он предпочел другой вариант — автомобилем. Не будем все-таки забывать, что Америка — это прежде всего дорога и автомашина, а наш герой, хотя и называется путешественником, на этот раз не изведал по-настоящему ни того, ни другого. Уже шесть лет он не видел донельзя знакомых автострад между Вашингтоном и Нью-Йорком. И захотелось ему снова ощутить этот бетон и эту землю под колесами и по сторонам от колес на ее примерно четырехсоткилометровом протяжении.

Десятки раз, сидя за рулем, он перебирал когда-то все эти американские мили по белтвеям, фривеям, хайвеям, терипайкам и прочим автострадам. Теперь, как безлошадника, к тому же отвыкшего от баранки, его взял с собой москвич, работавший в Нью-Йорке и приехавший на несколько дней в Вашингтон.

Жизнелюб и весельчак, талантливый человек, тонко чувствующий и выражающий трагикомедийность нашей заграничной жизни, Володя был в Америке в третьей по счету длительной командировке — советский гражданин в положении международного чиновника, занимающего директорскую должность в Секретариате ООН. Во многих отношениях Володя был более сведущим американистом, чем наш Американист, и, несомненно, более обаятельным и остроумным рассказчиком и собеседником, и вообще, коли мы задали этот вопрос об американистах, хотелось бы оговориться, что один из них избран в качестве героя нашего повествования по одной-единственной причине — лишь потому, что именно его путешествие автору удалось проследить от начала и до конца, который, слава богу, уже не за горами. Автор винится перед читателем, что упоминает друзей и товарищей Американиста мельком, и в свое оправдание может сказать следующее: у каждого из них, многоопытных людей, есть свое повествование об Америке, но никто, кроме Американиста, не давал автору

полномочий вести рассказ от его имени. За свое в ответе — вот, вкратце говоря, какому принципу следует автор, не посягая на авторские права других американистов и принося извинение читателю за то, что не описывает подробно наших людей в Америке...

Так вот, в то пасмурное ноябрьское воскресенье Американист был чрезвычайно рад снова увидеть сурового лишь на вид атлета с черепом мыслителя и его верную подругу Майю и разместиться сзади них, на сиденье маленького «плимута», слегка потеснив двух молодых соотечественниц, работавших под Володиным началом в ООН и впервые открывающих Америку; они еще находились под впечатлением своего знакомства со столицей.

От Вашингтона до Нью-Йорка примерно пять часов езды при строгом соблюдении лимита скорости, исключаящем неприятные встречи с дорожной милицией. Этот лимит допускал максимум скорости всего лишь в пятьдесят пять миль, или восемьдесят восемь километров, — автомобилистов стреножили в начале семидесятых годов, когда сочли, что эти в общем-то жалкие для американских машин и дорог скорости хорошо экономят бензин и резко сокращают число аварий и жертв. Дороги между Вашингтоном и Нью-Йорком не самые лучшие в Америке, изношены интенсивной эксплуатацией но все-таки это американские дороги высокого класса, с разделительной зоной и двухрядным (как минимум) движением в каждом из направлений. На таких дорогах лихач свободно доберется до Нью-Йорка и в четыре часа, если не возникнет вдруг сбоку полицейский «форд» или «крайслер» с мигалкой на крыше и его ездок не махнет повелительно рукой, приказывая съехать на обочину, остановиться, предъявить права и получить по форме извещение о вызове в суд на предмет уплаты штрафа (можно и без очной явки, выслав на адрес суда чек или денежный перевод).

Володя без лихачества рассчитывал добраться засветло, к пяти вечера. И с этим намерением, ведя свой «плимут» резко и уверенно, выбрался на вашингтонскую кольцевую дорогу, потом в нужном месте, повинувшись указаниям нависших над полотном огромных зеленых щитов, свернул на мощную федеральную 95-ю, добавленную к старому шоссе па Балтимор, и влился в стремглав несущееся в брызгах воды автомобильное стадо.

Дождь лил и лил. Неслись, поднимая водяную пыль, в водяных шлейфах других машин, протирая переднее стекло, просвещая неопытных соотечественниц, болтая о том о сем и, конечно, не отрывая взгляда от дороги. Маршрут был прекрасно известен. На очереди был длиннющий тоннель под Чесапикским заливом

в районе Балтимора и перед ним — первый дорожный взнос, за проезд тоннелем. Второй взнос на мерилендской автостраде имени Джона Ф. Кеннеди, потом у крутого высокого моста через реку Делавэр и дальше самый большой отрезок пути, тоже платная сквозная автострада-тёррипайк штата Нью-Джерси и после него, за Ньюарком, на очереди уже и сам Нью-Йорк, в улицы которого выныриваешь из-под земли, из трехкилометрового тоннеля имени Линкольна под Гудзоном.

График их движения полетел на первом этапе, на подступах к тоннелю под балтиморской гаванью. Знакомый путь был перекрыт. Предупредительная электрическая стрела на дорожном указателе, образованная миганием лампочек, бегущих к ее наконечнику, указала направление объезда.

Теперь они не вылезали из пробок. И впереди все время маячили впритык друг к другу мокро блестящие металлические горбы разноцветных и разнокалиберных машин, забив дорогу, казалось, до самого Нью-Йорка. Они потеряли не меньше часа на одном лишь балтиморском тоннеле, который не успевал перерабатывать бесконечные тысячи машин, всасывая и выбрасывая их тремя своими огромными четырехугольными жерлами.

Дальше лучше не стало. Дождь не переставал, кое-где па дорогу лег и туман. Очередь перед Делавэрским мостом и еще одна у контрольных будок при въезде на сквозную автостраду штата Нью-Джерси и самая длинная очередь там, где в эту автостраду влилась такая же автострада штата Филадельфия, добавив еще тысячи машин.

Воскресенье, как всегда, очистило дорогу от грузового транспорта, пугающе огромных тягачей с вагонообразными прицепами. Но это было не обычное воскресенье. Дождь, туман — и сотни тысяч людей возвращались домой, к работе после поездов на четырехдневный праздник Дня благодарения, когда по традиции, уминая индеек за праздничным столом, славят семейный очаг и первых выживших на американской земле пилигримов. Вавилонское столпотворение царило на дорогах, и разного цвета автомобильные номера свидетельствовали о принадлежности автомобилистов по меньшей мере к полутору десяткам штатов Северо-Запада и Среднего Запада, Новой Англии и Юга.

За пять часов, в расчетное время прибытия в Нью-Йорк, пассажиры нашего «плимута» едва сделали половину пути и вынуждены были остановиться и перекусить в придорожном кафетерии, перед которым стояло сотни полторы автомашин и

в котором были заняты все места за обеденными столиками и стойками, и вновь прибывшие ждали в очереди.

Было уже темно, и дождь еще сеялся в лучах автомобильных фар, когда они миновали разветвившиеся в десять — пятнадцать рядов автострады в районе Ньюарка, но непосредственно перед Нью-Йорком их ждало еще одно препятствие — аварийная электрострела своим миганием закрывала дорогу к Линкольновскому тоннелю, который не мог принять устремлявшийся в Манхэттен автомобильный поток, и направляла движение в объезд, к мосту имени Джорджа Вашингтона через Гудзон. Нью-Йорк был совсем рядом, вечернее зарево его огней уже просачивалось справа за завесой дождя, но пришлось подчиниться, и уставший Володя, напряженно всматриваясь в темноту и еще больше втянув голову в квадратные плечи, погнал «плимут» па север, от города и его манящего зарева.

Он плохо видел в темноте. Обнаружилось это при довольно драматических обстоятельствах. На очередной развилке, замешкавшись с выбором, Володя не заметил выросший из асфальта, низкий и узкий разделительный бетонный барьер. Когда спохватился, было уже поздно. Машина па скорости наехала на барьер, который оказался между ее колесами. Металл зловеще заскрежетал о бетой под ногами пассажиров. Барьер расширялся, а машина все еще продолжала движение, и ее могло разодрать как бы надвое, и лишь считанные сантиметры отделяли хрупкие человеческие тела от схватки металла и бетона. К счастью, не растерявшись, Володя резко затормозил и удержал машину. Жизнь бок о бок со смертью длилась мгновение. Пятеро спутников издали лишь первые восклицания. Мужчины были сдержанны в выборе слов, но и женщины сохранили самообладание. Скрежет прекратился.

«Плимут» сидел на разделительном барьере, его колеса оторвались от земли. Справа и слева, слепя их фарами, разбрызгивая воду, как ни в чем не бывало неслись машины к мосту Джорджа Вашингтона, в Нью-Йорк, в Манхэттен.

Попытки собственными силами снять машину с барьера и откатить назад не удались. Они очутились среди стремительного, беспощадного и равнодушного движения. Металлические тела, которым ничего не стоит смять человеческое тело, неслись прямо на них, уставив лучи фар сквозь струи дождя как бы для того, чтобы лучше и безжалостнее осветить беспомощные фигуры людей. Только в последний миг, на последних десятках метров, машины отваливали влево или вправо и, сохраняя ту

же невозмутимую скорость, уносились мимо, и вслед им летели другие.

Дождь, темь, шелест шин, стремглав проносящиеся металлические чудища. И нет телефона, чтобы вызвать аварийную помощь, и даже дорогу не перебежать.

Образ этого жестокого, равнодушного движения возник у Американиста еще в первые американские годы. Он связывался с образом собаки, сбитой на шоссе. Никто не остановится убрать труп, и не у всех есть время его объехать. И каждый давит несчастное, уже мертвое существо. Каждый вдавливает его в шоссе, колесами своей машины — и пронесется мимо, быть может, вздрогнув и ужаснувшись. И вот уже тельце раскатано так, как будто по нему взад-вперед пускали паровой каток, и уже не разобрать, чье это тело — собачье или олень, и вот всего лишь пятно на бетоне шоссе, всего лишь тень униженного существа, и, пролетая над ней, мельком подумаешь: какой же ты по счету, спешащий и, в общем, равнодушный соучастник этого уничтожения?

Спасение пришло быстрее, чем они предполагали. Не более чем через полчаса оно явилось в образе верткого оранжевого грузовичка с лебедкой, со всех сторон утыканного кроваво-красными предупредительными огнями. Грузовичок, оградив себя огнями от летящих автомашин, остановился возле «плимута». Из кабинки прыгнул рабочий человек, мастеровой — его вид сразу успокоил их, пустячная авария, игра воображения, за это чертово воскресенье он справился, по меньшей мере, с десятком таких. В Америке любят четкость в деловых операциях. Не было никакого уклончиво-выжидающего: «Сколько не жалко, хозяин». Спасатель назвал цену, еще не приступив к делу: пятьдесят долларов. И — деньги на бочку.

За четверть часа, взнуздав лебедкой «плимут», аварийщик снял его с коварного барьера. Пятясь красными огнями на летевшие авто, поставил его на дорогу, заменил запаской лопнувшее колесо. Прикрывая собой, позволил Володе набрать скорость и включиться в общее движение и, мигнув на прощание, остался дежурить на автостраде.

Они въехали в Манхэттен в десятом часу вечера. Что-то из ряда вон и должно было произойти, думал теперь Американист. В этом городе необыкновенное стало обыкновенным. Все

случалось, и всего можно было ожидать. Володю, Майю, двух спутниц, начинающих познавать Америку, и самого себя Американист, возвращаясь мыслями к случившемуся, видел как бы на сцене — под дождем и посреди двух огненных, расходящихся потоков машин. Это было жестоко и зрелищно. Завораживающая жестокая зрелищность в характере Нью-Йорка.

Володя высадил его возле отеля «Эспланада» на Вестэнд-авеню между Семьдесят третьей и Семьдесят четвертой стрит.

Люди — рабы привычек, в которых угадывается и прошлое. Бывший нью-йоркский дом Американиста, Шваб-хауз, соседствовал с «Эспланадой», и, приезжая в Нью-Йорк, он всегда старался остановиться там. Это был старый отель с двухкомнатными номерами и кухоньками, снимали их в основном семейные люди или дряхлые старики и старухи. Неудобством было отсутствие прямых телефонов — соединялись через дежурную внизу, а она не всегда оказывалась на месте. Но это неудобство с лихвой перекрывалось близостью корпункта, где корреспондентом его газеты работал теперь Виктор, давний добрый товарищ.

Толкнув вертящуюся дверь, он вошел в холл «Эспланады». На регистрации дежурила старая знакомая Шушанна, сразу же признавшая его. Она располнела, зато лучше говорила по-английски. Нью-Йорк — проходной двор. Каждый третий и даже чуть ли не второй его житель откуда-то приехал, и не из глубины лежащего за ним континента, а с востока или юга, из-за моря-океана. Шушанна приехала из Израиля, и хозяин отеля тоже был оттуда, и внизу, в зале, проходили иногда собрания старых и молодых правоверных иудеев, которых легко можно было опознать по нашлепкам шапочек-ермолок на затылке.

Виктор заблаговременно заказал ему номер, и Американист убедился, что и в этом старом отеле цены выросли за последние десять лет минимум в три раза.

Разложив вещи и умывшись с дороги, он позвонил Виктору и отправился к нему в Шваб-хауз. У лифта при входе в дом два швейцара, подняв за задние лапы, трясли какую-то собачонку. Собачонка жалобно повизгивала. Швейцары поздоровались с Американистом как со своим домашним человеком, будто в последний раз виделись несколько часов назад. В этот дом, где по-ньюйоркски зорко приглядывают за посторонним, его без расспросов пропускали даже новые швейцары и лифтеры, словно на нем до сих пор стояла незримая магическая печать давнего жильца Шваб-хауза. Продолжая держать повизгивавшую собачку вниз головой, швейцары по-

свойски объяснили ему, что она проглотила мяч и они хотят вытрясти его.

Где еще, в каком городе, вы натолкнетесь с ходу на собачку, проглотившую мяч, и на людей, которые вытряхивают его таким странным способом?

В знакомой квартире на восьмом этаже они с Вик* тором разговаривали о московских и американских ио- востях. Рая накрывала стол для ужина. На большом экране телевизора, оставшегося от Виталия и стоявшего там же, в углу у окна, мелькали картинки и коротенькие энергичные репортажи о свежих уголовных преступлениях и разных других происшествиях, за окном завывали сирены полицейских и пожарных машин, спешивших по своим чрезвычайным делам, которые обещали новые сенсации для телеэкрана. Нью-Йорк жил своей обычной оес- сонной жизнью.

Американист не без удовольствия возрождал свои нью-йоркские привычки. После позднего ужина отправился па угол Семьдесят второй и Бродвея за свежим номером «Нью-Йорк тайме». Дождь кончился. Было сыро п зябко. Мокрые серые плиты тротуара знакомо блестели под фонарями. На углу он увидел телефонную будку со створчатой дверью, по которой, чтобы открылась, ударяют кулаком или ботинком. У обочины стояли два темно-синих жестяных ящика высотой по пояс, на коротеньких ножках и с выпуклой крышей: одни — для общей почты и другой -- только для нью-йоркской. Все было на своих местах, чугунные тумбы пожарных гидрантов, большая проволочная корзина для мусора, столбик с металлическими табличками-указателями — Вестэнд-авеню и Семьдесят третья и светофор, на котором ярко вспыхивали красным слова «Не иди» и зеленым — «Иди». В поздний час никто не переходил улицу возле Шваб- хауза, огненные письма светили ему одному.

Каких-то двести метров отделяли Вестэнд-авеню от Бродвея, где шла еще активная ночная жизнь. Их можно было пройти по Семьдесят третьей. Она хорошо освещалась вечерними огнями и на этом отрезке всегда была безопасной — во всяком случае, за шесть лет вечерних прогулок там с ним ничего никогда не случилось. Но все-таки это так называемая боковая улочка и по ее правой стороне стоят старые небольшие дома с опасными полуподвальными выходами, где живут пуэрториканцы. Он решил не искушать судьбу, с Нью-Йорком шутки плохи, а времена и тут изменились не к лучшему. Он избрал другой

путь и быстро зашагал по Вестэнд-авеню: один квартал вниз к широкой, с двусторонним движением Семьдесят второй и по Семьдесят второй мимо углового супермаркета, небольшого книжного магазина, нового салона дамского платья, старого похоронного дома и так далее — к Бродвею. Еще был открыт и тогда допоздна работавший магазинчик «деликатессен» (теперь их называли «дели»), где можно было и за полночь купить все необходимое и где когда-то он по-русски покупал семечки, считая, что они отводят его от курения. Работала и овощная лавка на другой стороне Семьдесят второй, на перекрещении ее с Бродвеем, и у входа в старую станцию подземки старый киоскер, как всегда, выглядывал из-за кипы только что доставленных и положенных на прилавок свежих газет, и вокруг его головы сиял своеобразный нимб из голых молодых женщин и мужчин с обложек иллюстрированных журналов низкого пошиба, развешанных на прищепках внутри киоска.

Бродвей не спал, разъезжали машины, в светящемся полумраке баров сидели завсегдатаи, по тротуарам еще разгуливали поздние прохожие, из-под земли доносилось приглушенное грохотанье поездов подземки.

Ночью ему снился сон. Какие-то молчаливые мужчины в деловых костюмах, проскользнув в бесшумно открывшуюся на его глазах дверь, хозяйничали в его гостиничном номере. Хотя он был у них па виду, они вели себя так, как будто его не видели. Во сне он порывался что-то им сказать, запротестовать, дать понять, что это не по правилам — входить в номер в его присутствии, по одновременно он понимал во сне, что протест опасен, что, обозначив себя, он как бы заставит их решать, что с ним делать. Они как бы получают повод и право убрать его. Во сне у него не было сомнений, что молчаливые мужчины — это, конечно, агенты ФБР и что гостиничный номер — это его номер в «Эспланаде». И сон был как бы неизбежной частью его возвращения в Нью-Йорк — как будто нигде, кроме Нью-Йорка, не может привидеться в первую же ночь такой кошмар.

Утром, слегка приподняв вертикальную американскую занавесочку из плотной бумаги и нагнувшись, он глянул в окно — типичный нью-йоркский колодец, образованный стенами впритык стоящих, разноэтажных, прокопченных кирпичных домов. В его окно на четырнадцатом этаже слепо уставились задернутые занавесками окна стоящего напротив дома. Короткий день разгорался — шелест шип, вскрикивание автомобильных гудков, це столь надрывное, как ночью, завывание сирен и неразборчивые голоса людей взлетали к небесам где-то за

стенами этого молчащего колодца, и слышался слитный гул, дрожанье, пыхтение, вздохи и выдохи города. Стены колодца были неровными по высоте. Над крышами домов нависало небо в тучах, а в узком просвете между степ Гудзон манил пронзительно-холодным осенним простором и волей.

Всякие чувства он испытывал к этому городу. Не было только равнодушия. Нью-Йорк вызывал к себе отношение, как к живому существу. Разобраться с ним было так же трудно, как трудно разобраться с жизнью.

В благодушном настроении человека, обосновавшегося в знакомом месте перед возвращением домой, Американист спустился на улицу и, прежде чем зайти к Виктору, решил прогуляться вокруг Шваб-хауза. Типично нью-йоркское, то есть необыкновенное, не заставило себя ждать. Свернув с Риверсайд-драйв на Семьдесят третью, он нос к носу столкнулся с человеком-полузверем. Великанского роста. С лицом в саже или угле, он явно спал не на чистых простынях и с утра не успел позаботиться о туалете. Воспаленные глаза дико и угрюмо глянули на Американиста. Взгляд исключал какой-либо контакт с другим homo sapiens. Чувствовалось, что контакты давно нарушены и даже порваны и что существо с угрюмотусклыми глазами уже не настаивает на своей принадлежности к высшему биологическому виду. Разлапистой и развалистой походкой гориллы, в широченных, разбитых бахилах-луноходах бродяга шел в сторону Гудзона, где, может быть, и находилось его место в городских джунглях, его лежбище.

Отверженные. Живой труп. На дне. Определения и образы классиков, знакомые со школьной скамьи, Нью-Йорк въяве выводит на свои улицы. Картинно. Театрально-жестоко. Нет, ничего не вымыслено великими. Все это есть и, стало быть, было. Все выхвачено из жизни. Восстал этот угрюмый человек против жизни — или сломился под ее тяжестью? Или восстал — и сломился?

Похожая или разная судьба скрывается у каждого из них за этим общим, бьющим, как плеть, словом loser, проигравший, неудачник? Да, жизнь не знает милосердия, жизнь есть жестокая борьба, и Нью-Йорк прямо на своих улицах показывает конечные (и конченные) продукты этой борьбы.

Нью-Йорк всегда поражал Американиста своей обнаженностью, всеядностью, соседством всего и вся. Нигде, пожалуй, человек не чувствует себя так непринужденно и так растерянно, так

вольно и так покинуто, и по одной и той же причине — здесь никому до него нет дела.

Однажды поздно вечером он возвращался в «Эспланаду» по Семьдесят второй. В маленьком ресторанчике «Коппер пит» со стеклянными стенами, выдвинутыми на тротуар, в плоскостях уютно мигали свечи на крахмально похрустывающих скатертями столах. А чуть дальше, ту половину широкого тротуара, что ближе к мостовой, занимала гора полиэтиленовых поблескивающих черных мешков, набитых мусором,— знак того, что опять бастовали городские сборщики. К мешкам был прислонен вполпе добротный полуторный матрац — кто-то в этом доме, видимо, обновлял мебель, выбрасывая старую прямо на улицу. Он сделал еще несколько шагов, минуя завал мусорных мешков, и за их баррикадой увидел незаметную с той стороны, выброшенную кушетку. На кушетке спала пожилая женщина. Это и был уют бездомной — посреди улицы, рядом с уютом свечек, призывно мигающих на столах ресторанчика. Каждому — свое. Без подушки, и в позе довольно естественной, чуть свесив не уместившиеся на кушетке ноги, женщина доверчиво спала, прижимая руками к груди свою сумочку.

Американист замер на расстоянии, как будто невидимая веревочка ограждала, не позволяя пересечь, жизненное пространство этой бездомной женщины под темным и беззвездным небом, на которое никто не смотрит в Нью-Йорке, под малиновыми праздничными гирляндами, уже перекинутыми через улицу в преддверии веселого рождества. Какая сцена! Все рядом, и как фантастически все сопрягается. Эту кушеточку выставили на тротуар, должно быть, всего несколько часов назад. И они как будто ждали и сразу нашли друг друга ненужная выброшенная вещь и ненужный выброшенный человек...

Ах, если бы глаз обладал свойством современных чудо-фотоаппаратов и мог сохранять все, что снял, и показывать другим как фотоснимки. Женщина на кушеточке сохранилась несколькими строчками на листе бумаги. Но что скажут другим, не видавшим, эти строчки, занесенные в толстую тетрадь? Как приобщить других, не бывавших там, к трагикомической, грустно-величественной и жестокой зрелищности Нью-Йорка?

Тут не лист бумаги нужен, а экран. Не описать, а засиять надо, зримо показать этот город — его Нью-Йорк.

Но как научить оператора увидеть и заснять нью-йоркскую улицу твоими глазами, твоим мозгом, долго и по-своему

работавшим над осмыслением Нью-Йорка? С листом бумаги Американист привык воевать наедине. Навыка коллективного творчества, к тому же в незнакомом искусстве кинематографа, не имел никакого.

Однако кто из пишущих не испытал в наши дни искушения телевизором? Коллега и старый приятель Американиста, сделавший полтора десятка фильмов об Америке, уговорил его попробовать. Попытка — не пытка. Не боги горшки обжигают. И разве не эта мудрость насчет горшков, которые не боги обжигают, положена в основу конвейера — и «массовой культуры»?

И вот пришло время раскрыть один секрет в путешествии Американиста, который он утаил даже от своей редакции; па этот раз он отправлялся в Америку не только корреспондентом своей газеты, но и как начинающий кинодокументалист. Ему любезно согласились по- и°чь его попытке- Работники нашего телевидения в Нью-Йорке получили соответствующие указания своего московского руководства. На его попытки разрешили потратить некоторое количество киноплёнки, а также усилия — не в ущерб прямым обязанностям — молодого спо- соопого кинооператора и молодого деятельного телекор- респондента.

Они встретились, познакомились и выработывали план нью-йоркской квартире кинооператора Жени и его супруги Иры, в доме неподалеку от площади Коламбус-сёркл. Ира, способный режиссер-документалист, помогала Американисту дружескими советами. Женя любил свое дело, бесстрашно выходил на улицы чужого города — и чужого мира — и в упор снимал сцены его жизни. Даже в его осанке угадывался физически сильный человек, привыкший, при всех обстоятельствах не дрогнув, держать в руках свое увесистое орудие производства. Андрей, нью-йоркский корреспондент Гостеле- радио, хорошо водил машину и знал город, готов был возить их, брать интервью и всячески помогать.

Молодые люди жаждали дела, их тоже точил червь певысказанности. Они мечтали о картине, которая останется, не сгинет, как последние новости вместе с их телевизионными сюжетами. Американист впервые выходил на необъятную сцену Нью-Йорка не с блокнотом, а с оператором.

Это было не просто — преодолеть себя и дебютировать на такой сцене. Несчастную женщину, доверчиво спавшую на выброшенной кушеточке, он обнаружил ночью, когда кинокамеры и Жени не было рядом. Угрюмый получеловек-полуживер в разбитых красно-синих синтетических бахилах тоже

пропал незанятым. Перо и сознание не обладало картинной наглядностью кинокамеры, но шире захватывало естественный поток жизни. От образов Нью-Йорка, когда он появился на его улицах рядом с Женей, рябило в глазах, хотелось и это, и то, по все не снимешь, требовался строгий отбор, сортировка и организация хаоса. Как минимум требовался опыт, как максимум — особый талант человека, не смущаясь творящего посреди уличной толпы.

— Вы должны четко определиться, чего вы хотите? Показать пальцем — вот это, вот это и это...

Так, деликатно, но настойчиво, твердили его молодые помощники. Но улица — не письменный стол, сосредоточенность не приходила, и он колебался, куда ткнуть пальцем, и уже понимал, что ткнуть легче, чем отснять. Кадры их будущего фильма проходили, мелькали, уносились в потоке уличной жизни, которая не признавала вторых и третьих дублей. Удача, лишь по обличью легкокрылая, могла быть — как и за письменным столом — лишь итогом крайнего рабочего напряжения. И тут недоставало времени — и своего, так как шли последние дни командировки, и чужого, потому что он не чувствовал себя вправе им распоряжаться. Притом им нужны были не просто дни, а дни световые — они же были самыми короткими на границе ноября и декабря и часто дождливыми, ненастными.

И тут в начале было слово, и слово было — сценарием. По вечерам в «Эспланаде» Американист торопливо работал над набросками сценария, пытаясь словом двинуть дело вперед.

Реактивный гул и рев поминутно садящихся и взлетающих самолетов. Впечатляющие ракурсы зданий разных авиакомпаний в международном аэропорту Джона Кеннеди, автобусы и такси, расхватывающие пассажиров, сумасшедшие дорожные карусели внутри аэропорта, сразу же создающие образ напряженного движения, и летящие навстречу зеленые и синие дорожные щиты-указатели и, наконец, выезд на Гранд сентрал парквей и опять мощная картина движения: четыре четких ряда машин в одну сторону, четыре — в другую. Шум и шелест — и одновременно сосредоточенная рабочая тишина автострады. Врывающиеся в радиоприемник автомобиля, спешащие, как бы скоростные голоса дикторов и оттуда же, из радиоприемника, не имеющая прямого отношения к дороге, но связанная с ней лихая, отрывистая музыка. Как метроном, она отбивает ритм и темп нью-йоркского движения и самого Нью-Йорка.

Именно в этом главная задача вступления в фильм — создать зрительный и звуковой образ движения. Вроде бы физически все

вместе, по психически каждый сам по себе, в металлическом микромире автомобиля, отгороженный от остальных. Образ непривычно отрешенной, самодовлеющей и самодельной, жесткой скорости, передающей отчужденность людей.

С моста Трайборо возникает и сразу же исчезает, как проваливается, единственный в мире небоскрежный силуэт Манхэттена. Промельком! Броском! Как фирменный знак Нью-Йорка. Как символ его.

И все это без авторского текста, лишь под музыку.

И тоже без текста, под музыку шествие парадного Нью-Йорка, один за другим его великие небоскребы. Только архитектура. По возможности без людей. Молчаливые, гигантские, сияющие под солнцем, омытые дождем плоды людского труда. Старые и новые, пониже и повыше. Знаменитый силуэт Эмпайр-стейт билдинг. Стодесятиэтажные близнецы-башни Всемирного торгового центра. Бетонные утесы тридцатых годов в Рокфеллер-сентр. Здание банка «Чейз-Манхэттен» в Дауптауне. «Дженерал моторе» на Пятой авеню. «Галф энд Уэст». Отель «Нью-Йорк Хилтон». Старый респектабельный отель «Уолдорф-Астория». Шестая авеню, застроенная мини-небоскребами по сорок — пятьдесят этажей. И так далее.

Вдруг после парада, величия, многоцветия — старые черно-белые кадры чаплинского фильма «Огни Большого города». Сцена открытия памятника. Отдергивают покрывало — под ним на постаменте спящий бродяга. Он первым приспособил монумент великому человеку для своих нужд. Он почесывает ногу, еще не проснулся и не знает, что его видит собравшаяся перед памятником торжественная толпа. Смешно. За бродягой бегают полицейский, он — от него. Смешно. Опять цветные кадры, опять сегодняшний день. И в нем памятник давно открытый, забытый и невидный, как, впрочем, и все нью-йоркские памятники. Памятник великому Данте. Суровое лицо поэта. Из прошлого он смотрит на нас, опустив взгляд на тротуар. Что же он видит? У его подножия на скамейке — женщина-бродяга. В натуре. С полиэтиленовым пакетом, в котором все ее пожитки. Нет, она совсем не смешная. Одинокая. Одна из многих. Ее видит полицейский, но они порядком надоели друг другу и друг за другом не бегают.

После парада небоскребов, после сценки из чаплинского фильма и бродяжки возле бронзового Данте — обыкновенная, без известных достопримечательностей манхэттенская улица на Вест-Сайде. Не знаменитые, а обыкновенные дома. Обыкновенная толпа, обыкновенная мостовая, обыкновенный поток автомашин.

Как образ, как облик, как блик обыкновенного Нью-Йорка.

Негромкий плеск воды. Шелест ветра в голых ветвях. Широкая река. Безлюдная набережная. Пустынно. В кадре — автор фильма. Идет синхрон.

— Это левый берег реки Гудзон. Там, на правом берегу, штат Нью-Джерси. А тут окраина города, а город называется — Нью-Йорк.

Тихое местечко, не правда ли? Не о таких ли говорят — приют поэтов, мечтателей, влюбленных? В сезон вот у этой ограды собираются, пытая удачу, рыбаки. На этот маленький стадион круглый год приходят любители бега, которых в Нью-Йорке великое множество.

А зачем здесь эта зеленая полицейская машина? Как зачем? Патруль осматривает свой участок и вот подъехал сюда на всякий случай. Как предостережение: мы видим, мы здесь. Ведь это Нью-Йорк.

И зачем мы пришли сюда? Почему именно это место выбрал я, чтобы начать свой рассказ о Нью-Йорке?

С чего начинается заграница? С аэропорта, если приезжаешь на одну-две недели. И с дома, в котором жил, если жил за границей несколько лет. Тут, в двухстах метрах, за автострадой имени Генри Гудзона есть один дом. В нем я прожил когда-то шесть лет, работая корреспондентом своей газеты в Нью-Йорке. В этом районе я обживал этот чужой, отталкивающий и влекущий город.

И это место у реки тоже наполнено для меня воспоминаниями. Тогда, правда, было меньше и бегунов и бродяг. И дети мои и других советских корреспондентов, живших в том же доме, были маленькими, и им казалось, что на этих качелях (кадры детской площадки с качелями) они взлетают до самого неба.

Сейчас они выросли, живут в Москве и сами обзавелись детьми, которые качаются на московских качелях.

Однако судьба журналиста-международника все еще приводит меня в этот город, который стал знакомым, но так и не стал своим.

Вот он, этот семнадцатипятиэтажный краснокирпичный дом, занимающий целый квартал, или, по-здешнему, блок. Вот они, эти окна на восьмом этаже, из которых я шесть лет смотрел на Гудзон и на белый свет. Там сейчас живет коллега, другой

корреспондент моей газеты. Читает толстые американские газеты, смотрит многоканальный и почти круглосуточный телевизор. Познает и отражает эту страну, Америку. И перед его окнами течет большая река. И по вечерам за рекой горят красивые вечные закаты.

Шваб-хауз построили вскоре после войны, и, говорят, одно время он считался чуть ли не самым большим жилым домом в Нью-Йорке — шестьсот с лишним квартир. Теперь, как старик, он растет, можно сказать, в землю, не заметен в ряду других, уступил первенство молодежи, эффективным и дорогим многоквартирным жилищам на тридцать, сорок и больше этажей, которые поднялись по другим авеню и стритам.

Но когда я попадаю в Нью-Йорк, меня магнитом притягивает именно этот старый дом у реки.

Власть воспоминаний? Да. И власть невысказанного. Отсюда, из Шваб-хауза, я писал об общем — событиях, явлениях, проблемах. А личное томилось под спудом — и сейчас рвется наружу. Как дать другому почувствовать этот город, если он не бывал здесь и вряд ли будет? Думаю, только так — через себя и свой личный опыт...

Синхрон у Гудзона они снимали, выбрав погожий день. Молодым телевизионщикам не довелось жить в Шваб-хаузе, и это место ничего им не говорило, а Американист в свое время часто гулял тут вдоль набережной до Семьдесят девятой стрит, до лодочной станции. На станции к лету собирались десятки белых яхт, моторных, с мачтами и парусами. Некоторые из владельцев яхт жили на воде даже зимой.

Андрей проехал на машине почти к самому берегу, через арку под автострадой. Туда не было проезда, но, узрев телевизионное оборудование и удостоверения прессы, двое полицейских в зеленой патрульной машине пропустили их. Андрей налаживал синхронную звукозапись. Женя снимал, вскинув к плечу кинокамеру. Американисту прикрепили к пиджаку микрофон, и он стоял, глядя в бездонно и безответно поблескивающий зрачок объектива и в листок бумаги, который держал в откинутой руке и на котором видными, крупными буквами записал свой текст. Телезритель не любит, когда читают по бумажке, и не должен видеть листок, для него слова должны были рождаться как бы сами собой, экспромтом.

О, это целое искусство, о котором не догадывается простодушный телезритель,— произносить подготовленный текст как бы

экспромтом, а на самом деле по бумажке, которая скрыта от глаз. Но дебют Американиста был слишком поздний. Ему не хватало артистичности и улыбчивости, и, досадуя, он с каждым новым дублем все больше мрачнел. Широкая короткая фигура. Толстое, малоподвижное лицо. И ветер играет не романтической шевелюрой, а редкими поседевшими волосами. Он как бы оглядывал себя со стороны. Унылое зрелище. Он чувствовал это по взглядам американской парочки, прогуливавшейся по набережной. Он не отвечал их представлениям о телевизионных ведущих.

Однако искус оставался велик, обязательства были взяты еще в Москве, и он не прервал эксперимента, разрешенного сверху. Важно втянуться в дело, утешал он себя. Если первый блин комом, то сковороду еще не снимают с огня и кастрюлю с тестом не опрокидывают в раковину. Всякое новое дело вселяет новые надежды, и ему нравилось по утрам ожидать Женю с Андреем в отеле «Эспланада», вместе радоваться солнцу и огорчаться дождям, и вместе с ними работать и ездить по Нью-Йорку, ощущая энергию и любознательность их поколения. Они продолжали съемки, как только позволяла погода.

Снимали обыкновенный Бродвей в районе Семидесятых улиц, где постарели жители и обветшали дома, театральную рекламу на Седьмой авеню, крикливую и вульгарную Сорок вторую, грека — торговца греческими пирожками и индеец — точильщика ножей с его старомодным инструментом, пропойц с сизыми лицами на Бауэри — методом скрытой камеры, богему и студентов Гринич-виллидж, автомобильную пробку на Шестой авеню (Женя при этом наполовину вылез из машины, чтобы в натуре — и в натуральном темпе черепашьего движения — отснять этот обыкновеннейший нью-йоркский сюжет), здоровяков-строителей в их касках, рабочих робах и тяжелых устойчивых башмаках, чернокожих мальчишек и девочек у школы имени Мартина Лютера Кинга, где был памятник великому американцу и на памятнике бронзовые слова, выражающие его веру, что человечество не спустится по спиралям гонки вооружений в термоядерный ад...

Они снимали бездомных, лежащих — днем! — на скамейках, ступеньках лестниц и прямо на тротуарах (их стало намного больше в той части Вест-Сайда, которую хорошо знал Американист), любителей бега трусцой, лавирующих как ни в чем не бывало среди уличной толпы, долговязых, каких-то шарнирных негров, которые на глазах замороженных пешеходов извлекают любые ритмы из любых двух железок. И возниц в церемонных фраках

и цилиндрах, как статуи возвышавшихся на облучках черных старых фиакров в Центральном парке. И бесцеремонных виртуозов-таксистов, и других виртуозов — водителей тяжелых грузовиков, вгоняющих вагоны прицепов в узкие щели складов на узких боковых улицах. И чудных замшелых стариков китайцев у уличных лотков с такими же чудными замшелыми кореньями в Чайна-тауне. И барахолку на Орчард-стрит, которую наши прозвали Яшкин-стрит. И зверинец в Центральном парке, где взрослые и дети с отрешенными улыбками как бы переглядываются с белыми медведями и львами, с моржами в круглом бассейне, и те отводят взгляд, в упор не видят человека и лишь гориллы и орангутаны скользят по двуногим существам на другой стороне решетки своими тускло блестящими глазами, в которых мерцает слабое и странное подобие разума. И конечно, дюжих ражих полицейских в зимних темно-синих бушлатах — от башмаков до фуражки с кокардой, и бляха на широкой груди, и толстый ремень, оттянутый на ягодице тяжестью кольца в открытой кобуре, связками ключей и наручников, и дубинка, машинально раскручиваемая в руке, и взгляд надсмотрщика в зверинце.

И воскресную, солнечную, дышащую радостью жизни толпу молодых и старых людей па широких парадных ступенях знаменитой сокровищницы искусства — музея Метрополитен...

Ему хотелось дать галерею выразительных живых портретов нью-йоркцев, выпустить их всех на экран и не спешить, чтобы телезритель взгляделся в их лица и по возможности углубился в их жизнь.

Чем выше нью-йоркские небоскребы, чем громаднее мосты через нью-йоркские реки, заливы и проливы, тем меньше фигура человека, построившего их. Но никакая современная гигантомания не в силах отменить мудрую истину древних: человек — мера всех вещей. Каково ему, человеку? Как он кует свое счастье? Вместе с другими или против других? И что выковывает?

В замыслах был и проспект богачей — Пятая авеню с ее безлюдными тротуарами и ливрейными швейцарами в подъездах, но что могут сказать эти замкнувшиеся в себе городские крепости богатства? Времена вызывающей роскоши кончились вместе с королями и феодалами. Богатство если и показывает себя, то в укромных местах, в загородных поместьях, а в городе оно маскируется и таится, чтобы не дразнить народ.

Для Американиста Нью-Йорк был Нью-Йорком пестрой улицы, половодьем народа, племса.

Когда наступал вечер и съемки прекращались, он ходил по улицам с блокнотом, занося в него наблюдения, которые могли пригодиться для фильма. Или сидел у себя в номере перед телевизором. Одна из задач была в том, чтобы показать Нью-Йорк в двух контрастных темпах. Чтобы улицу с ее хаосом и естественной взъерошенностью перебивал показ новостей и рекламы — самодовольные телевизионные мужчины и женщины, которые своим видом — и только видом — претендуют на особые, фамильярные отношения с жизнью, судьбой и даже историей. Два темпа — естественный, несколько угрюмый темп улицы и развязно-подпрыгивающий, залихватский, цинично-небрежный темп в отражении жизни на телеэкране. Как сопровождение, как индикатор темпа — бегущие по телеэкрану электронные строчки круглосуточных новостей. И эти же строчки — как перебивка, как переход от частного и личного к общему, или обезличенному.

Воспоминания — волшебные очки, через которые глядишь в прошлое. У каждого свои глаза и свои очки, подогнанные по глазам прожитой жизнью. Один человек через волшебные очки своих воспоминаний с необыкновенной отчетливостью видит свое прошлое, а другой ничего бы в них не увидел, потому что в его воспоминаниях — его жизнь и глядит он на нее через свои волшебные очки. И есть память войн и революций, разрух и голода, сейсмического масштаба потрясений и общего крайнего напряжения, тех эпох, которые переживаются всем пародом, глубоко врезаются в сознание и образуют народную, историческую память. В этой памяти — опыт народа и общества, давшийся ценой героических усилий и больших жертв. Совместно пережитое питает чувство народного единства и сказывается на поведении и общении людей даже в их повседневной будничной жизни.

В отношении воспоминаний, а порою и общей памяти иностранец, долго живший за границей, — особый и в чем-то ущербный человек. Он не может разделить воспоминания своих заграничных лет со своим народом, потому что его народ жил дома, а не за границей и происходившее за границей не переживал. И он не может в полной мере разделить свои воспоминания с чужим народом, среди которого жил, потому что не был частицей этого народа и, соответственно, на происходившее с ним смотрел глазами постороннего человека, пусть даже объективного и доброжелательного.

Американист хотел бы показать Нью-Йорк, как он его видел, тем соотечественникам, которые его не видели. Но как мог он телевизионными картинками показать свои воспоминания, более того — уроки жизни, полученные им от этого города? И кому нужны эти уроки? Американцам? Вряд ли, потому что в них всего лишь опыт постороннего. Своим? Нужны ли своим уроки, взятые у чужой жизни? Что ж в итоге? Потерянное время? Иногда так ему и представлялось: да, потерянное, к тому же осложнившее всю жизнь, какие-то заграничные объезды вместо своих путей. Иногда же он не считал это время потерянным. Совсем наоборот. Он прожил там шесть с лишним лет на четвертом десятке своей жизни, в ту пору, когда молодость встречается с первой зрелостью. Списать эти годы?

С молодостью человек расстается неохотно и, как правило, с запозданием. Американист уезжал из Нью-Йорка в возрасте примерно сорока лет, но еще чувствуя себя молодым и с молодой страстью отрицая крайне ожесточивший его город. Потом начались странные вещи. Чем дальше он отходил от этого периода своей жизни, тем пристальнее в него вглядывался. Это была, пожалуй, тоска по ушедшей молодости. Вместе с ней, казалось ему, он оставил в чужом городе и лучшие годы своей жизни, во всяком случае самые полные. Вот почему с волнением увидел он в ночи небоскрежный силуэт Манхэттена, когда очутился в Америке и транзитом проследовал через Нью-Йорк в начале нашего повествования.

Тогда, в те нью-йоркские годы, он вошел во вкус работы и работал много, не потеряв, однако, молодой безоглядности и способности веселиться в дружеском кругу. Он не принимал себя всерьез, а это до поры до времени помогает жить. И его друзья из советских корреспондентов были полны жизни и молодого бескорыстного интереса к ней.

Тогда в американском городе на Гудзоне Американист поставил, можно сказать, несколько личных рекордов. Во-первых, написал рекордное число материалов в свою газету, не гнушаясь и мелкими заметками, потому что не принимал себя всерьез и был здоров как бык и ложился спать не раньше двух-трех часов ночи, что вызывалось, впрочем, рабочей необходимостью: именно глубокой ночью он диктовал свои опусы по телефону или возил их па телеграф. Во-вторых, тогда он просидел рекордное в своей жизни время на заседаниях, дневных и ночных, в советах (прежде всего в Совете Безопасности), комитетах и подкомитетах ООН, ни разу не поддавшись дремоте. В-третьих, прочитал и перелистал рекордные, для

себя, тонны газет, журналов, пресс-бюллетеней и телетайпных листов (но отнюдь не книг, на которые газетчику не хватает времени). В-четвертых, побывал на рекордном числе митингов и демонстраций, а также в редакциях и университетах, в прибежищах Армии спасения, где опекают людей без крова и куска хлеба, и в рекламных агентствах, от активности которых ослепительным блеском сияет фасад «общества изобилия», на шумных сходках волосатых хиппи и на предвыборных собраниях. И провел рекордное время у телевизора, тогда еще черно-белого, сосредоточившись на последних новостях (прежде всего вечерних, прежде всего по каналу Си-Би-Эс, с ведущим Уолтером Кронкайт- том, который ушел теперь в отставку — и в историю) и отворачиваясь от кинокомедий, детективных фильмов и развлекательных шоу — из-за нехватки времени (впоследствии об этом сожалел как о пробеле в своих американских знаниях).

Кстати, еще раз о времени. Времени всегда было в обрез. Американисту некогда было даже осмыслить, что с ним происходит. Он не заметил, как стал в Нью-Йорке профессиональным журналистом — и американистом. Но в Нью-Йорке у него не доставало времени на Нью-Йорк. Впрочем, есть ли у нас время в Москве на Москву? И можно ли объять необъятное?

В Нью-Йорке он слабо знал Бруклин, Бронкс и Куинс, но исколесил и исходил Манхэттен. И многое там хорошо знал: Вест-Сайд в районе Семидесятых улиц, Бродвеи от Восемьдесят шестой до Сорок второй, Центральный парк, Мидтаун, Бэттери-парк и южную оконечность острова, Сто двадцать пятую в Гарлеме, наизусть дорогу до аэропорта Кеннеди и в поселочек Бейвилль на заливе, где летом дважды снимал с семьей дачу. Знал всех газетных киосков на своем отрезке Бродвея и разных чудачков вроде дамы с собачкой, которая так прогуливала свою собачку, чтобы поводок в ее руке был вечно натянут, помогая скрыть протез на левой ноге, и продавцов, официантов и барменов — и просто жителей. 11 просто примелькавшихся прохожих, которые, оставшись неизвестными, шесть лет шли по бродвейским тротуарам через его жизнь, как и он — через их жизнь.

В подземных гаражах Нового Вавилона обитал чернокожий американский Юг и Африка, начинавшая за океаном свою экспансию чернорабочих, в лавчонках, пиццериях и прочих забегаловках — Азия и Южная Европа; на барахолках Даунтауна — Восточная Европа; среди разносчиков, посыльных, курьеров — Карибский бассейн и Южная Америка; в корпорациях, банках, отелях — Западная Европа. В сложном процессе общения

разноплеменных миллионов все не только разделялось, но и перемешивалось. Даже в гастрономических вкусах здесь присутствовал весь мир, и Американист, впервые приобщаясь к многообразию международного меню, случалось, навещал некоторые из десятков и сотен ресторанов и ресторанчиков итальянской, китайской, французской, полинезийской, русской, немецкой, армянской и т. д. и т. п. кухни. И кухни американской — с толстыми, сочащимися кровью ломтями стейков и зелеными салатами. Он побывал — в порядке профессионального интереса — даже на кухнях Армии спасения, где кормились несчастные, чье око видит, а зуб неймет гастрономические изыски Нью-Йорка.

Даже дома, в Шваб-хаузе, его отрывала от семьи круглосуточная корреспондентская вахта. В любую минуту он мог уйти, в любой день — уехать, соблюдая так называемые нотные формальности, то есть за двое суток уведомив американцев о своих предстоящих передвижениях. По-молодому жестокий, он не понимал, как тяжело давались жене его отлучки. Но она умела любить, ждать, терпеть и прощать, радоваться радостями мужа и не отрывать его от дела и друзей, радушно принимала гостей, водила дочку в школу и в сквер перед домом (детей и тогда не пускали гулять одних) — и однажды ночью он отвез ее на другой конец Манхэттена и через четыре дня привез назад с сыном — краснолицым толстым младенцем, который вздрагивал во сне и сжимал кулачки, когда в его кроватку врывался с улицы пронзительный вой полицейских и пожарных сирен... Как ему найти дорогу в детство? Туда не отправляется каждый вечер с Казанского вокзала пассажирский поезд Москва — Сергач. Когда они вернулись из Вашингтона, после второй командировки, мальчику было одиннадцать лет. Из них восемь прошли в Америке — больше половины детства. Что он будет вспоминать, что вспоминает сейчас?

Молодость не задается такими вопросами. И жизнь не всегда торопится с ответами, но ничего не забывает.

Чужой мир оказался сложнее заочных о нем представлений. Жестокость и отчуждение соседствовали в нем с мощью и динамизмом. Поражали множественность и многообразие всего и вся — вещей, людей, темпераментов, карьер, судеб. Амплитуды человеческих страстей, добродетелей и пороков были шире и неожиданнее, чем заочно представлялось. Плюсы и минусы общественного и экономического устройства диалектически переливались друг в друга, переплетались, изменялись в зависимости от обстоятельств и дозировки,

определяемой борьбой классов, социальных слоев и отдельных лиц. В зависимости от дозировки даже змеиный яд обладает то губительными, то целебными свойствами.

Слово «компьютер» у нас еще не привилось, а там электроника широко входила в быт, цены в магазинах были еще сравнительно стабильными и низкими, новые небоскребы росли, как грибы, на Шестой авеню. «Красиво загнивают» — это банальное выражение, которое Американист слышал от ошарашенных Нью-Йорком москвичей и сам временами использовал, выдавало внутреннее смущение: американскую жизнь нелегко было разложить по полочкам. «Труженики капиталистических полей», — шутил один из нью-йоркских друзей Американиста, и в неожиданном словосочетании была не только насмешка над газетным штампом, повернутым другим концом, но и законное желание гражданина своего Отечества трезво видеть мир и жизнь: умение американцев работать поражало, пожалуй, больше всего. Они вкалывали вовсю — на полях и заводах, в своих офисах, неумелых попросту не держали, их отбраковывал жестокий механизм конкуренции.

Ни Американист, ни его коллеги не могли избежать термической обработки и закалки Нью-Йорком. В шестидесятые годы, это американское десятилетие «бури и натиска», не только из газет и из книг, но из самой жизни, бурной, изобилующей сложностями и сюрпризами, они познавали, что такое классовая борьба и расовые конфликты в развитой капиталистической стране. В обществе индивидуалистов, где личность вознесена выше коллектива и выше государства, американцы боролись не только каждый в одиночку за место под солнцем, но и вместе против зла вьетнамской войны и расового неравенства негров, во имя братства, солидарности, справедливости. На их глазах творилась живая американская история, в которой действовали и массы и вожаки, в которой были и свои герои, самоотверженные люди, доказывавшие, что и один в поле воин, если сражается так, что увлекает за собой тысячи. В повседневной динамике приходилось наблюдать развитие крупнейших общественных движений того времени, а также буйную скоротечность «молодежной революции», на анархическом фланге которой, взбудоражив сознание обывателя, быстро расцвела и отцвела «контркультура» хиппи.

Казалось, что радикальных изменений в самом деле не избежать, так как силы социального протеста многообразны и энергичны. Но перед лицом потрясших его испытаний американское общество доказало своеобразную живучесть, а правящий класс

(неоднозначное понятие) — свое искусство решительно отбивать опасные атаки, отделять радикалов от умеренных, сглаживать острые углы, расширять рамки дозволенного (вплоть до соращения протестующих вседозволенностью порнобизнеса и «сексуальной революции»). Разные группировки правящего класса и двух правящих партий, перестраиваясь и маневрируя, доказали, что умеют приспосабливаться, учитывают новые веяния и не отмахиваются от проблем, а действуют, кое-где уступая, кое-чему давая отпор и рассчитывая, что перемелется - мука будет, переберутся и образумятся, что попыткам бунтарей вы- вернуть Америку наизнанку противостоит законопослушное большинство. Что радикалы увязнут в обывательской типе «среднего класса», исповедующего главную американскую религию — религию материального благополучия и успеха (не поняв этой ставки на «средний класс», мы не поймем живучести американской системы).

Время не поставишь на автопилот. Будущее не любит, когда с ним запанибрата обращаются люди сегодняшнего дня. Мало провозгласить, что будущее принадлежит нам. Во имя коммунистической идеи надо работать лучше их, так, чтобы своими достижениями, всем устройством своей жизни и, главное, нашим человеком в братстве с другими людьми превзойти их материальные достижения и их человека, отделенного инстинктом собственника от других людей. Надо бесстрашно смотреть в лицо меняющейся жизни, в глаза правде и точно оценивать, где стоит твоя страна — относительно других стран и других народов. К этим истинам, простым и очевидным, выученным еще на институтской скамье, возвращался Американист в свои нью-йоркские годы, подкрепляя их практикой наблюдения чужой жизни. Ну и что ж, что они были добыты задолго до него. Мудрецы говорят, что суть истины не отделить от процесса ее постижения. И тот, кто не добыл ее своим горбом, работой своего сознания, владеет не истиной, а всего лишь банальностью.

В Нью-Йорке он ощущал себя частицей, приобщенной к большим категориям политики. Боец идеологического фронта это несколько патетическое определение как раз подошло бы к нему тогда. Он уже начинал понимать обволакивающую власть быта, определяющего бытие и мировоззрение массы, но сам в ту пору — беззаботная молодость — не был отягощен бытом. Вернулся домой без мебели и собственной машины, без дубленок и дачи (слова эти только что входили в обиход) и с накоплениями, которых не хватило на капитальный ремонт

доставшейся ему запущенной квартиры. Там, в Нью-Йорке, работая на свою газету, он обличал приобретательство во в чужом мире и верил, что такое обличение несовместимо с приобретательством собственным. И, видимо, унаследовал от деда-пролетария родимые пятна того раннего социализма, когда существовала священная ненависть к презренному желтому металлу и мечта пустить его на отделку общественных отхожих мест...

В Нью-Йорке всего была масса, и он вернулся оттуда с массой впечатлений и мечтой о том, чтобы уложить их в книгу, в книги. Невысказанность распирала его, и ему казалось, что это личное обстоятельство, а именно обилие впечатлений, накопленных за океаном одним из бойцов идеологического фронта, должно представлять и общественный интерес, должно быть учтено в нашем общем идеологическом хозяйстве. Но для создания книги или книг кроме впечатлений требовалось время.

Он знал, что американские корреспонденты, возвращавшиеся из Москвы, в порядке капиталистической благотворительности — и заботы об их общей идеологической копилке — получали стипендии разных фондов и университетов и полтора-два года свободного времени. Подбив итоги в виде книг, они могли вернуться в свои газеты, и кое-кто из них оказывался при этом автором наделавших шуму бестселлеров, работавших на мельницу их пропаганды. Вот бы нам такое же — в порядке укрепления нашего идеологического хозяйства. Увы, при работе над негизетным отражением своих многолетних впечатлений Американист и ему подобные могли рассчитывать на месяц, не больше, творческого отпуска при хорошем отношении главного редактора, готового сквозь пальцы посмотреть на жесткие требования финансовой дисциплины. При нашем плановом хозяйстве, при учете всех и всяческих ресурсов не всегда учитывался главный ресурс -- человеческой личности. Книга газетчика не относилась к социалистическим формам собственности. Шла по категории подсобного хозяйства, которым разрешено заниматься лишь в нерабочие часы, приравнивалась к парнику частника, с которого ранние огурцы и клубнику везут па колхозный рынок.

«Творческий разум осилил — убил», — писал некогда Блок об освоении материала жизни художником, поэтом, писателем. Американист так и не осилил тему Нью-Йорка, не «убил» ее, и она продолжала жить и будоражить его сознание. Он остался в долгу перед этим городом. И желание погасить долг появлялось всякий раз когда он там оказывался.

Второй синхрон они снимали в Центральном парке. Низкое декабрьское солнце еще не поднялось над фешенебельными отелями и жилыми домами па южной кромке парка и отбрасывало от них длинные тени. Большую лужайку, на которую наши телевизионщики явились со своим снаряжением, ограждал временный заборчик. Восстанавливалась трава, выжженная за жаркое лето, вытопанная любителями бейсбола и просто пешеходами. Сторож пропустил их на обильно политый, отдохавший луг, проверив удостоверения прессы.

Они выбрали сухое возвышение и подготовились к съемке. Все сделали споро, с шутками, но затем камера в руках Жени снова глянула на Американиста без шуток, своим холодным поблескивающим зрачком. И снова он пытался задобрить ее, принуждая свое лицо к улыбке.

— Это большая лужайка нью-йоркского Центрального парка. Ее называют Овечьей, хотя старожилы вряд ли упомянут, когда здесь в последний раз пасли овец. Быть может, в начале прошлого века. Там, на севере, невидимые отсюда, лежат негритянские кварталы — Гарлем. Справа, на востоке — Пятая авеню, где живут богачи. На южной окраине парка — тоже не бедные дома и отели.

Со всех сторон город с его преисподней и поднебесными этажами. С гимнами человеческому труду и проклятиями человеческой корысти. С тайнами и страстями чужой жизни — их нелегко разгадать и раскрыть. Когда смотришь на него, стоя на этой лужайке, вспоминаются слова Пушкина: «Там люди, в кучах за оградой, не дышат утренней прохладой, ни вешним запахом лугов; любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волею своей, главы пред идолами клонят и просят денег да цепей...»

А тут — лужайка и целый парк, прозванный Центральным. Каким чудом он сохранился, большой и нетронутый, почему пощадили его среди города, где иные квадратные метры земли стоят десятки и сотни тысяч долларов?

Наверное, потому, что человек не может жить без природы и поэзии. В городе он звереет, а здесь приручает белок, и они не боятся людей в самом центре Нью-Йорка. Белкам безопаснее, чем людям. Во всяком случае, они не уходят отсюда с наступлением темноты.

Сейчас здесь пустынно. Но бывают дни — и опи запоминаются надолго,— когда эту просторную вольную лужайку до краев заполняют люди...

По замыслу Американиста, это был последний синхрон, за которым следовал финал фильма. Портретная галерея ньюйоркцев, показанная в середине фильма, превращалась в человеческое море. Использовалась кинохроника недавних дней. На экран выплескивалась полумиллионная антивоенная манифестация — по случаю открытия специальной сессии ООН по разоружению. Мощное людское шествие с плакатами и лозунгами текло по рекам улиц и вливалось в море Центрального парка. На Овечьей лужайке, той самой, где они делали свой синхрон, проходил грандиозный митинг. Над морем голов ряли плакаты «Нет — безумию гонки вооружения! Нет — угрозе ядерной войны!».

Эти кадры сопровождал текст:

— Не узнать лужайку, на которой вы только что видели меня в одиночестве. Мы показывали вам разный — и разделенный — Нью-Йорк, вульгарные и жестокие зрелища на Бродвее, а вот здесь собираются иные люди, объединенные общим благородным делом. В мои нью-йоркские годы многие тысячи американцев приходили сюда, чтобы требовать гражданских прав для негров, чтобы протестовать против вьетнамской войны. Здесь выступало много прекрасных людей, украшающих эту нацию. Здесь и мне довелось слышать пламенные речи такого великого американца, как Мартин Лютер Кинг, такого знаменитого и благородного детского врача, как Бенджамин Спок.

Эта лужайка не догадывалась тогда, что люди, приходящие сюда отдыхать, не оставят ее в покое и своими тревогами, что явятся в еще большем числе и по поводу, важнее которого нет. Они устали от гонки вооружений, от страха войны, от чудовищного термояда.

Не овцы, а люди собрались на Овечьей лужайке. Они не хотят быть жертвенными агнцами, не верят в мудрость тех лидеров, которые громоздят до неба горы вооружений. Они хотят жить сами и продолжать жить в своих детях и внуках, не разрывать, а звено за звеном ковать бесконечную цепь человеческого рода.

И это желание объединяет пас с ними.

У средневекового английского поэта Джона Донна есть строчки, которые американец Эрнест Хемингуэй поставил эпиграфом к одному из своих романов. «Ни один человек не есть остров. Каждый человек это часть континента,— писал Джон Донн.— И никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе».

В наш ракетно-ядерный век даже континенты перестали быть островами, изолированными и неуязвимыми. Мы с американцами очень далеки друг от друга, но связаны одной ответственностью — за будущее человечества...

Обнимитесь, миллионы! Так примерно звучал финал. Американист, однако, опасался, что чрезмерный пафос нарушит тональность его фильма. Не пафосом он должен кончаться, а смысловым многоточием, щемящей нотой, далью, в которой был бы и зов будущего, и эхо прошлого. Показать под конец воскресный пустой Нью-Йорк, освобожденный от движения и шума, обнажившийся в своих улицах, красивый и грустный. Чтобы раздумчиво пересекали экран редкие автомобили, чтобы где-то вдалеке элегически слышалась сирена, которая в будни разбудит и покойника. И чтобы снова появилась набережная Гудзона:— и ветер сгребал осенние листья на ступенях лестницы и раскачивал пустые детские качели...

Последний песок быстро таял на донышке часов, закручиваясь в воронку.

На сборы в обратную дорогу духовной энергии не тратилось. Виктор самоотверженно нес крест специфического нью-йоркского гостеприимства, которое распространяется на всех знакомых соотечественников — и даже на знакомых знакомых. Он не жалел времени для коллеги и напоследок возил его за мост Джорджа Вашингтона, в торговые центры лежащего на другой стороне реки штата Нью-Джерси. В этом штате, в отличие от Нью-Йорка, нет высокого налога на продаваемые товары и потому можно с большей отдачей истратить положенные доллары. Повторяющийся бытовой финал каждой поездки. В традиции взаимовыручки Рая тоже несла свой крест, как и жена Американиста, когда они жили в Нью-Йорке, как и все наши женщины, сейчас там живущие. Это по указаниям Раи Виктор сворачивал к тому или иному торговому центру и ставил машину на той или иной парковке размером со стадион. Американист вынимал существующий у каждого командированного, составленный домашними список, и добрая Рая, изучая его и сопоставляя потребности с возможностями, прикидывала, как полнее удовлетворить запросы и заказы ближних Американиста. О, гадкая, презренная проза жизни! Как ее миновать нашим дипломатам, журналистам и даже экономистам и командированным за границу торговым работникам?!

Все виделось через призму скорого возвращения домой.

Однажды субботним вечером Американист очутился пе на Бродвее в районе Семидесятых улиц, который был для него почти домашним, а на том самом Бродвее. Вечер был необычайно теплым для начала декабря, и густая толпа текла по тротуарам, замедляя ход на перекрестках и у магазинных витрин, возле уличных музыкантов, религиозных проповедников и вороватых молодых людей, играющих в три листика на опрокинутой жестяной бочке.

Он пришел на Бродвей в один из громадных старых кинотеатров посмотреть новый фильм «Инопланетянин», вызвавший сенсационный интерес у взрослого и детского зрителя. Кинокритики называли его шедевром. Летающая тарелка приземлилась в лесу около маленького американского города. Ее обнаружили жители. Власти и полиция решили ее захватить. Инопланетянам пришлось свернуть свою экспедицию и обратиться подобра- поздорову, но один из них потерялся в спешке и остался на земле — некрасивый и трогательный уродец с головой умного пресмыкающегося, с коротким тельцем и длинными светящимися пальцами рук, которые обладали волшебной способностью избавлять от боли. Под кожей большой ящерицы у инопланетянина просвечивало, набухая красным свечением и как бы вспыхивая, сердце. Дети обнаружили и спрятали испуганного уродца от взрослых людей, которые и тут готовы были выполнить свой жестокий долг по искоренению всего чужого и пришлого, тем более — внеземного. Дети разглядели и полюбили инопланетянина детской душой, еще не знающей взрослых запретов, отогрели его детской приязнью ко всему живому. Дети звали его И-Ти (две буквы от английского слова «внеземной»).

Симпатичный, сентиментальный, душещипательный фильм, и в переполненном бродвейском кинозале дети И взрослые, грызя кукурузные хлопья из литровых полиэтиленовых стаканов, смеялись, умилялись и чуть ли не плакали. Конец — счастливый. Дети сумели уберечь своего И-Ти от «людей правительства», и он благополучно покинул Землю, потому что инопланетяне, не оставив товарища в беде, вернулись за ним. И-Ти улетел куда-то к себе домой, и единственное английское слово, которое он научился жалобно и щемяще произносить за дни своего пребывания на Земле, было именно это слово home.

Дом... Домой... Пронзительная ностальгия по дому — и по единению всех живых существ чувствовалась в этом фильме о внеземном существе. На шедевр, по мнению Американиста, он не тянул, но колоссальный успех фильма говорил, что

у прагматичных и, однако, не лишенных sentimentalности американцев задета какая-то потаенная струна. Инопланетянину тяжело на той земле, без которой, вне которой мы жить не можем. Всякое живое существо тянется домой. И если ты любишь свой дом и свою страну, ты должен уважать любовь других людей (и даже инопланетян) к их дому, к их стране, к их планете. В такой умной и зоркой любви к своему — залог планетного и межпланетного братства. По существу, этот фильм проповедовал «новое мышление», к которому вскоре после появления ядерного оружия призвали Альберт Эйнштейн и Бертран Рассел и которое может вырасти лишь из «старого» гуманистического мышления.

Так понял «Инопланетянина» Американист, и в его душе, ждущей свидания с домом, тоже отозвались жалкие и требовательные вскрики «home!», издаваемые уродцем с умными выпуклыми глазами и светящимся сердцем.

И наступил канун отлета. Остались один день и одна ночь, и в следующий полдень Виктор отвезет Американиста в аэропорт Ла Гардиа, и прощально засквозят мимо нью-йоркские дома, и дороги, и жители.

Около десяти утра Американист сидел на диване в номере «Эспланады», и перед ним на журнальном столике лежал свежий номер газеты «Нью-Йорк тайме», а у стены тихонько светился телевизор — по одному из каналов (раньше этого не было) круглые сутки бегут на экране телетайпные тексты последних известий — в городе, стране, мире — и на нью-йоркской фондовой бирже. Наш герой был занят своей рутинной утренней работой, просматривая и иногда подчеркивая те места в лежавшей перед ним толстой, примерно на сто страниц, газете, которые могли пригодиться для его последующей работы и для его газеты. Помимо шарикового карандаша в руках у него была безопасная бритва. Этим инструментом он вырезал из газеты самые интересные, на его взгляд, сообщения, готовя пополнение для своего московского архива.

Из каждой командировки газетные и журнальные вырезки везлись домой как документы еще одного отрезка времени, который он провел в Америке. Учитывая прежний опыт бесполезного складирования бумажного хлама, он ввел жесткие самоограничения: газетные вырезки сводил до минимума, из журналов и даже книг безжалостно вырывал отдельные страницы или главы, выбрасывая все остальное. Но даже после строгой отбраковки набиралось обычно с полпуда бумаг, которые — самолетом! — он вез домой и там предавал решительному бесповоротному забвению, хотя каждый раз во

время командировки казалось, что без новых вырезок нельзя ни работать, ни даже жить. Душу газетчика околдовывает и завораживает сегодняшний день. Так околдовывает, так завораживает, что всякий раз забывает газетчик, что завтра сегодняшний день станет вчерашним, то есть ненужным для газеты.

Оправдалась ли его полуторамесячная командировка? Эта мысль продолжала беспокоить его, хотя редакция ничего не требовала и не выражала каких-либо претензий. Последняя его корреспонденция, написанная в промежутках между телевизионными съемками и предотъездными хлопотами, была сыровата. По телефону он просил редактора отдела задержать ее еще и потому, что события развивались. Палата представителей отвергла метод «плотной пачки», или «компактного базирования», для межконтинентальных ракет МХ, основанный на концепции «ракетного братоубийства», и отказала в ассигнованиях на создание этих ракет, пока не придумают другого, более эффективного метода. Это свидетельствовало о сопротивлении конгресса разработчикам ядерной смерти с их чудовищными фантазиями.

Голосование в палате вызвало много откликов, огорчив консерваторов и обрадовав либералов, и еще на полфунта увеличило вес газетных вырезок, подготовленных Американистом в дорогу. Так или иначе это была добрая весть, рождавшая очередную скромную надежду с политической точки зрения она завершала командировку Американиста, и вот утром накануне отлета он сидел перед газетой с безопасной бритвой в руке и готовил самые свежие вырезки в дорогу, а в углу отражением большого мира светился экран телевизора.

Строчки телетайпных новостей бесшумно бежали и исчезали, уступая место другим строчкам о других новостях. И вдруг ворвалось коротенькое сообщение, что в столичном городе Вашингтоне непосредственно в эти убегающие вместе с телетайпными строчками мгновения развивается прелюбопытное и доселе невиданное событие. Конкретнее: неизвестный мужчина угрожает взорвать национальный монумент — обелиск в честь Джорджа Вашингтона и как бы не взорвал в самом деле.

Американист встрепенулся при этом сообщении и отодвинул от себя газету. Между тем на телеэкране бежали новые строчки — в развитие исчезнувших. Итак, еще конкретнее и подробнее: незнакомец каким-то образом подогнал к подножию монумента автомобильный фургон, выскочил из него, полиция не оказалась поблизости, объявил о своей угрозе и о том, что в закрытом фургоне у него одна тысяча фунтов динамита как

доказательство, что он отнюдь не шутит. Злоумышленник взял заложниками первых с утра туристов — посетителей монумента. Твердит, что не пожалеет себя и национальной святыни, если не удовлетворят его требования.

Требования... Требования... Требования... Все чего-то требуют — и все чаще с помощью динамита. Но этот новоявленный подрывник не требовал миллионов или свободы для соратников-террористов. Он требовал то, чего требовали миллионы американцев и многие избранники народа там, под куполом Капитолия, который в этот момент, очевидно, был превосходно виден от подножия обелиска,—общенациональных дебатов об угрозе ядерной войны, а также запрещения ядерного оружия... Иначе... Тысячью фунтов динамита он замахивался на национальный монумент. С динамитом на термомяд! Клин — клином. Чисто по-американски.

Строчки о новой вашингтонской сенсации пропали с телеэкрана. Появились другие, более спокойные сообщения, но они уже не читались, воспринимались как антракт в неоконченной истории с динамитом возле памятника Вашингтону. Давали время очнуться и подумать.

Всяк по-своему с ума сходит — не только человек, но и век. Бедняга свихнулся в стране, где президент требовал — и добивался — сверхвооружений, военные стратеги искали здравый смысл в «ракетном братоубийстве» и где динамит всегда под рукой, как и телеоператоры, чтобы оповестить мир о своем сумасшествии.

Свихнувшийся век и свихнувшийся человек увидели друг друга в зеркале новой сенсации. Не мыслью, а, скорее ощущением, догадкой пробежало это в голове нашего Американиста, и он пожалел, что новейшая новость еще не отлилась в печатные строчки и что нет у него видеомагнитофона, чтобы вырезать ее с телеэкрана.

Высоченный, стосемидесятиметровый гранитный обелиск наши люди в Вашингтоне прозвали Карандашом. На щедро отведенной ему, ничем другим не застроенной территории он и в самом деле торчит как слегка сужающийся карандаш, очиненный на вершине. Наверху смотровая площадка, и ни одна точка в Вашингтоне не дает такого вида на город и его вирджинские окрестности с высоты птичьего полета. К смотровой площадке поднимается лифт — за некоторую плату,

а желающие могут пешком пересчитать восемьсот девяносто восемь ступеней (Америка любит точный счет). Впрочем, пешком больше спускаются, читая по дороге пояснения, какие стройматериалы от какого штата поступили при сооружении монумента. Карандаш открыт для посетителей ежедневно за исключением рождества, с девяти утра. Преступник со своим динамитом появился как раз к началу.

Событие снова вернулось на экран телевизора в номере отеля «Эспланада». Полиция, сообщала теперь бесшумно возникавшие строчки, принимает меры. Она вооружилась снайперскими винтовками и благоразумной сдержанностью. Оцепила район происшествия, перекрыла доступ публике, но сама держится на расстоянии, так как человек, пока отказывающийся назвать себя, курсирует возле своего фургона с прибором дистанционного управления в руках и грозит в случае малейшей для него опасности произвести взрыв. Он также продолжает настаивать на своем требовании...

Сенсация развертывалась. Строчки первоначального сообщения повторялись для тех, кто только что прильнул к телеэкрану, и обрастали новыми подробностями, новым действием. Самый неистощимый на выдумки, сумасшедший и талантливый драматург и режиссер по имени Жизнь еще раз выступал в своем излюбленном жанре документального и одновременно фантастического реализма, который не снился никакому Габриелю Гарсиа "Маркесу.

Гранитный обелиск — это своеобразный географический пуп американской столицы. Если провести прямую линию от мемориала Линкольна к зданию конгресса на Капитолийском холме и другую прямую от Белого дома к мемориалу Джефферсона, то в их перекрестии и очутится торчащий Карандаш. Во всяком случае, такое было задумано еще сто пятьдесят лет назад, когда появился первый проект монумента, но при строительстве, которое закончилось сто лет назад, Карандаш слегка сдвинули, так как точка перекрестия оказалась на зыбком, болотистом месте. «Первый в дни войны, первый в дни мира, первый в сердцах своих соотечественников» — это патетически о Джордже Вашингтоне. От монумента первому до жилища последнего, текущего, президента рукой подать. И динамитчик, по наитию или расчету, фантастически точно выбрал место, откуда обломками памятника первому президенту можно было метнуть в Белый дом, жилище последнего.

Ошеломляющее событие затмило все остальные и шло уже вне конкуренции. Американская жизнь вот так же много раз врывалась на его памяти с неожиданными действующими

героями в неожиданном месте, и Американист понял, что, по существу, с его точки зрения, она пишет теперь неожиданный финал его путешествия. И если новость идет номером один, то где-то непременно должна уже быть карта и к а. Специальные выездные телебригады уже должны быть на месте. И, переключая каналы, Американист сразу же напал на картинку. Ее гнали с места действия живьем.

Ах, вот он каков, издали схваченный телевиком одинокий человек возле гигантского монумента. Вот он, безумец, пока еще без имени, ворвавшийся на сцену, и от океана до океана в телезрительном зале, называемом Америкой, уже сидели миллионы людей, вот так же разглядывая и разгадывая человека, который на их глазах, лоб в лоб, шел против ядерной супердержавы. Это был его час, звездный и, быть может, последний. Но если сейчас в его руках был бы не приборчик дистанционного управления, а портативный телевизор, он увидел бы, что телекамера наблюдает его без всякого почтения, бесстрастно и холодно, как какого-то подопытного зверька. Она смотрела на него как бы холодным и зорким оком самого бога, который со своих вершин наблюдает еще один миг человеческой трагикомедии.

Да, он был один у мощного тяжелого подножия уходящего ввысь обелиска, и камера хотела бы, но не могла схватить их обоих сразу — маленького человека и весь гигантский монумент. И когда камера брала во весь рост монумент, человек терялся, пропадал — вот па что он замахнулся. Потом человек снова возникал в кадре, наедине с серой стеной подножия и своим белым, медицинского вида автофургоном. Он был странно одет — в синий комбинезон и шлем с опущенным забралом на голове. И это одеяние мотоциклиста заставляло думать о космонавтах в их скафандрах. Но походка у него была иной, не походкой космонавта, идущего с чемоданчиком в руке и на глазах у всего мира к автобусу, который повезет его на космодром, к ракете и подвигу. Походка динамитчика, прохаживавшегося взад-вперед у своего фургона, была бодренькой и смешной походкой немолодого, невидного, неспортивного мужчины, который, однако, хотел бы выглядеть сильным и уверенным. В руках его действительно был какой-то приборчик с антенной и он держал приборчик на некотором расстоянии от груди, как будто побаиваясь его.

Он хотел произвести впечатление, но вид его выдавал скованность и напряженность, и, несмотря на страшный замах, на объявленную грозную тысячу фунтов взрывчатки,

впечатление получалось жалкое. В нем угадывался поздний телевизионный дебютант. Только для своего синхрона этот человек выбрал фантастическое место, на котором повторные дубли исключались и которое вполне могло стать для него местом лобным.

На боку белого фургона с динамитом короткой надписью излагалась благороднейшая программа неизвестного «Задача номер один - запретить ядерное оружие». Несоответствие между историческим масштабом задачи и одиноким маленьким человеком в синем комбинезоне было еще более разительным, чем между ним и монументом.

Действие тем временем продолжало развиваться.

Сообщили: он отпустил девятерых заложников, так и не дождавшись официальной реакции на свое требование.

Сообщили: предположение насчет второго человека, соучастника, оказалось неверным.

Сообщили: президента и участников завтрака, который он устраивал в Белом доме, переместили из зала, где в случае взрыва могли вылететь оконные стекла, в другой, безопасный зал. Жене президента посоветовали сторониться помещений в южной части Белого дома. Официально Белый дом никак не отзывался на угрозу монументу, исходя из того, что происшествие входит в компетенцию полиции.

Вовлекая все больше людей и учреждений, событие распространялось, как круги по воде. Эвакуированы служащие министерства торговли и министерства сельского хозяйства, расположенных неподалеку от Карандаша. Закрыт для посетителей Национальный музей американской истории. Федеральное бюро расследования, парковая полиция, непосредственно отвечающая за порядок в национальных парках и сохранность национальных монументов, а также вашингтонская полиция образовали специальную группу по урегулированию возникшей ситуации.

Однако злоумышленник отказывался вступать в какие-либо контакты с властями, а полиция не хотела, чтобы он излишне нервничал. Берегите нервы сумасшедшего с взрывчаткой!

Наконец нашли добровольного посредника, которому доверился динамитчик,— репортера агентства Ассошиэтед Пресс. Он взялся оказать помощь обществу и заодно ревностно, рекламно послужить своему агентству. Теперь на телеэкране появился и репортер, он осторожно поднимался по склону

холма в направлении монумента, вздыбив полы своего пиджака и растопырив руки, показывая отсутствие оружия и тайных намерений. Незнакомый приостановил свое нервное похаживание... Расстояние между ними сокращалось... Они о чем-то говорили, стоя в нескольких шагах друг от друга...

Потом репортер спускался с холма. И сразу же через свое агентство распространил послание человека, который, как выразился репортер, взял в заложники национальный монумент. Послание было коротким и страдало общими местами.

«Вина лежит на президенте и прессе,—честно воспроизводил репортер слова динамитчика.— Они делают вид, что над нами вовсе не висит угроза ядерного уничтожения, они отказываются давать истинную информацию об опасной, неконтролируемой ситуации, в которой находится мир».

Хотя он обличал прессу, в газетах каждый день печатались слова и сильнее, и красноречивее. На что он рассчитывает? Переубедить президента? Поднять против него нацию? Неужели он верит, что один поступок, каким бы драматическим он ни был, заставит прозреть слепых и объединит разъединенных? Неужели думает, что все изменится после его жертвы на виду у всех или даже от принесенного в жертву национального монумента?

Следя за развитием события, Американист пытался понять логику безумия.

Но, с другой стороны, рассуждал он, разве в том дело, какие слова сказаны? Все слова сказаны давным- давно. Только поступки возвращают словам их утраченную силу. Чем ты обеспечиваешь свое слово? Чем готов заплатить за него?

Это у больших людей слова, даже самые пустые или лживые, доходят до миллионов других людей — они наперед обеспечены их известностью или властью. А у маленького безвестного человека, если он хочет, чтобы его услышали, есть, быть может, лишь один случай в жизни и одна-единственная плата — его единственная жизнь. И вот этот маленький и безвестный человек, выбрав фантастическое лобное место в самом центре Вашингтона, клал на плаху свою голову, чтобы его, единственный раз в жизни, услышали миллионы, чтобы на мгновение перекрыть голос сильных, властных, корыстных и агрессивных. Своим актом безумия он взывал к здравому смыслу своих соотечественников.

И так тоже можно было понять его поступок. И об этом тоже подумал Американист, сидя один в своем номере напротив телевизора.

У ветхозаветного прародителя Авраама бог потребовал страшной жертвы — единственного и любимого сипа Исаака. Авраам повиновался богу и встал рано утром, оседлал осла своего, наколот дров для жертвенного костра и вместе с Исааком пошел на место, указанное богом, чтобы принести своего сына в жертву и тем доказать свою веру в бога и свой страх перед ним. Исаак почувал неладное. Когда они восходили на гору, он спросил отца: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам ответил: бог усмотрит себе агнца для всесожжения. Они пришли на назначенное место, и Авраам устроил жертвенник и, связав сына, положил его на жертвенник поверх дров. И когда Авраам взял нож, чтобы заколоть сына своего, Исаак, по Библии, не произнес ни слова. Он молчал, как жертвенный агнец. Бог отвел нож от Исаака и пощадил его, испытал крепость Авраамовой веры.

Но какой веры ждет от нас ядерный дьявол, вселившийся в десятки тысяч впрок припасенных мегатонн? Какой веры и какого страха? И неужели промолчим, как библейский Исаак, под его занесенным ножом?

Маленький человек возроптал от имени таких же безгласных, как он. Он слал проклятия и богу, и дьяволу, и современным кесарям и приносил себя в жертву па холме, дабы отвратить всесожжение жизни на Земле.

И такому толкованию поддавался его поступок.

Он ворвался высокой трагической нотой, остановив суету предотъездного дня Американиста. Движущаяся, возникавшая и пропадавшая цветная картинка для всех на матово блестящем стекле экрана. А там, на холме, в двухстах пятидесяти милях от Манхэттена, не картинка, а живой и страшно одинокий человек в истоме смертного страдания. Телевизионная близость обманчива, телевизионная солидарность эфемерна. Кто из них, сочувствующих и сострадающих по телевизору, захотел бы встать рядом с ним, в оптических прицелах полицейских винтовок?..

Инкогнито динамитчика разгадали по номерному знаку фургона из штата Флорида. К тому же в полиции уже раздавались телефонные звонки от тех, кто узнал своего знакомого, соседа — по синему комбинезону, белому фургону, бодренькой походке.

Теперь голоса и строчки с телеэкрана сообщали исходные данные, лишив безымянности героя дня.

Норман Мейер. Шестидесяти шести лет. Из города Майами, штат Флорида. Владелец пансионата, по возрасту уже отошедший от дел, материально вполне благополучен, имеет некоторый капитал. Искали разгадку его драматического явления нации. Одинок... Бездетен... Муху не обидит... В психолечебницах не бывал, в анархизме, левом или правом радикализме не замечен... Нормальная жизнь американского буржуа. Обывателя. И вокруг — юг, солнце, пальмы и море. Курортный рай — и денежки на безбедную старость. Чего еще? В Майами таких хоть пруд пруди. Никаких загадок. И вдруг этот грандиозный жест с динамитом.

Видения ядерных грибов не давали жить и радоваться Норману Мейеру. Частный предприниматель, веря в частную инициативу, вел свою антиядерную борьбу в одиночку — ходил с плакатами и помещал в газетах платные призывы запретить ядерное оружие, как раньше в тех же газетах помещал платную рекламу своего пансионата. В последние дни приезжал иногда в Вашингтон и один пикетировал с плакатом вдоль ограды Белого дома. Его не замечали и не слышали. Мало ли и таких? И вот он нашел свое жертвенное место и свой способ возроптать.

Белый дом, однако, продолжал высокомерно молчать. Полиция, не оставляя попытки отговорить и урезонить безумца, ни словом не заикалась о выполнении его требований.

...В драмах, которые стихийно ставит жизнь, бывают тупиковые ситуации, когда герои, сказав свои слова, тянут и медлят с действием, а зрители тем временем теряют интерес. Полоса штиля наступила на холме у монумента.

А между тем другие невымышленные персонажи других событий дня толпились у телевизионных подмостков и требовали к себе внимания. И дневные телезрители, в отличие от вечерних, были в массе занятые люди, и каждого куда-то звали дела даже в те минуты, когда на волоске висела судьба национального монумента. В последний свой день Американист тоже не мог без конца сидеть у телеэкрана. Покинув отель, он влился в толпу на улицах, бегал по близлежащим магазинчикам и аптекам, выполняя просьбы знакомых насчет трубочного табака и новых полудолларов с профилем Джона Кеннеди, заклёпок для обивки дверей и ногтерезок, соевого соуса, последнего нумизматического ежегодника и так далее.

Истекал еще один короткий декабрьский день, последний день в жизни американского гражданина и жителя Майами Нормана

Мейера.

Динамита в его фургоне не было.

Динамит он придумал, наперед зная, что без динамита не продержится и пяти минут, а голос его кто же услышит, кроме ближайшего полицейского?

Динамит он придумал, но сценарий свой с угрозой взрыва вашингтонского Карандаша не додумал до конца. Он захватил сцену на глазах у всех и должен был ее удерживать. Он не мог выключить телевизор и побежать по делам, с тем чтобы в вечерних выпусках досмотреть, что случилось дальше. Надвигалась темнота, и окружающий его мир съежился до беспощадно освещенной площадки. Требовалось крайнее напряжение сил, а он устал от долгой ходьбы под дулами винтовок и телекамер, и не было ничего вокруг, что могло бы придать ему новые силы. Люди, ради которых он предпринял свою рискованную акцию, молчали. Во всяком случае, их связь с ним была односторонней, и он не знал, какие незримые и, быть может, в самом деле общенациональные дебаты прошли в душах его соотечественников, видевших его на своих телеэкранах и задумавшихся над его поступком. В конце концов ему было шестьдесят шесть лет пенсионный возраст, он не ел и не пил целый день и вряд ли мог продержаться у гранитного подножия еще и ночь — да и что она могла добавить?

И вот Норман Мейер влез в темноте на сиденье фургона и, предупредив своих преследователей, покатил по Пятнадцатой стрит.

Жаждавшая дела полиция не мешкая открыла огонь. С ее точки зрения, сумасшедший вез в город тысячу фунтов взрывчатки.

Фургон завиял и опрокинулся.

Ждали взрыва, но взрыва не произошло.

Полицейские стрелки с овчарками опасно приблизились к фургону, лежавшему на боку. Их пули попали не только в колеса. В кабине нашли бездыханного Нормана Мейера.

И поздно вечером, когда рабочий день закончился не только на Восточном, но и на Западном побережье Соединенных Штатов, телезрителям показали финал. Они увидели опрокинутый фургон, носилки в руках санитаров и нечто на носилках, прикрытое сверху белой простыней. Комментаторы объяснили,

что это и есть тело мертвого Нормана Мейера. В вечерней темноте, раздвинутой телевизионными огнями, носилки исчезли в чреве «скорой помощи». Взревев сиреной, машина тут же тронулась и умчалась. И тогда Нормана Мейера, только что отправленного в один из городских моргов, воскресили в видеозаписях на телеэкранах — и своей походкой, бодренькой и еще более жалкой и смешной, он опять начал прохаживаться у монумента под итоговые объяснения телекомментаторов.

А живьем теперь показывали шефа парковой полиции. Он проводил импровизированную пресс-конференцию, оправдывая действия своих подчиненных, стрелявших без предупреждения. Когда он попытался заодно объяснить мотивы поведения убитого, Американист подумал, что полицейский начальник берет за непосильную для его ума и воображения задачу. Как, впрочем, взялся за другую непосильную задачу и сам Норман Мейер.

Маленький человек выбежал на площадь Истории с криком отчаяния и проклятия — и расшибся о бесчувственную чугунную машину государства. Сто пятьдесят лет назад похожая драма была описана вечными стихами. Был маленький человек и был монумент — Медный всадник. И был жалкий бунт маленького человека — и преследование, наказание.

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой...

И тот же, в сущности, финал:

...Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.

Началось стремительное возвратное движение.

Американист ехал не из аэропорта Ла Гардиа, а а аэропорт Ла Гардиа и в донельзя набитый старый портфель втиснул не бутылку водки, а свежую «Нью-Йорк тайме» с историей Нормана Мейера, переходившей с первой полосы на двадцать пятую. На мосту Трайборо он не повстречался, а попрощался с небоскребами Манхэттена, которые четкими силуэтами остались за его спиной в свете теплого и солнечного декабрьского дня. Садился не в монреальский самолет, идущий в Нью-Йорк, а в нью-йоркский самолет, идущий в Монреаль,— и в обратном направлении поплыла под крылом все еще бесснежная земля Новой Англии. Но, подлетая к Монреалю, он увидел крепкий белый снег, искрившийся на солнце, и обрадовался ему, как весточке из дома.

И дальше в Монреале его везли из аэропорта Дорвал в аэропорт Мирабель, где он должен был не распрощаться, а встретиться с нашим самолетом. Пассажиры в автобусе были ему незнакомы, но он воспринимал их как попутчиков еще от Москвы, которые полтора месяца назад рассеялись, каждый по своим делам, на Североамериканском континенте, а теперь снова собрались ради общего дела — возвращения домой, все вместе, включая и державшегося в сторонке человека в рясе; батюшка тоже пребывал в загранкомандировке, направленный в ту из двух русских православных церквей в Северной Америке, которая подчиняется московскому патриарху.

В обратном движении не было, правда, прощания с иммиграционным инспектором Хейсом и американскими таможенниками: как человек, улетающий из США, Американист не интересовал американские власти, и всего лишь клерк из авиакомпании «Эр Кэнада» проверил его паспорт, оформляя билет в Нью-Йорке, и оторвал ту анкетку неиммигранта, по которой инспектор Хейс поставил свой штамп в начале путешествия — «Допущен в США» (на сорок пять уже истекших дней).

В Америку они летели вслед за солнцем, удлиняя октябрьский день. Теперь декабрьское солнце успело пройти над Монреалем на запад, и, разместившись в рейсовом «Ил-62», пришедшем из Москвы, они летели на восток, навстречу солнцу завтрашнего дня, сокращая долгую зимнюю ночь.

Наш самолет, наши летчики и стюардессы, наши светящиеся табло, аэрофлотовские запахи, еда и напитки, полотенца и салфетки, и пусть ие во всем на мировом уровне наш сервис и комфорт, Американист в эти первые часы решительно ие годился в критики Аэрофлота. После полутора месяцев скитаний кругом слышалась родная речь, она была главной, и ты опять в своей среде, свой среди своих, и тебя обволакивает и баюкает

чувство дома.

Медитациями на пути домой он почти никогда не занимался, и этот путь не оставлял следов в его дорожном дневнике. Разрядка, в некотором роде межконтинентальная, царила в радостном возвратном движении. Внутреннее напряжение сменялось расслаблением, и даже течение времени как бы замедлялось в московском бытии Американиста, вернувшегося из Америки. И в песочных часах запас, как ни трудно его определить, опять был равен продолжительности всей жизни, а не просто очередной заграничной командировки.

Родные лица, выглядывающие из-за барьера таможенной зоны в Шереметьевском аэропорту, редакционный шофер, узнавание заснеженных окраин Москвы, знакомый дом и двор, лифт, дверь — и встреча в стенах своей квартиры. Хорошо прилетать из командировки в пятницу. Он вволю отоспался и привел биологические часы своего организма в соответствие с московским днем и ночью за окном. Съездил на редакционную дачу в Пахре и после баньки, расслабившись, посидел с другом за столом, и на земле лежал белый снег, и в снегу пестрели стволами голые березы, было холодно и щемяще просторно, и он снова испытал сладостную власть родной природы и неизъяснимое желание раствориться в ней.

Близкие снова были близко, не дорогие иконописные образы памяти, а люди в своем повседневном бытии,— и он уже не мог им сказать, как тосковал вдалеке, и чувства его как бы спрятались — до новой разлуки.

Каждое утро он ездил на работу. Давным-давно редакция стала вторым домом, но в первый рабочий день по возвращении он с какой-то робостью и стеснением входил в знакомое здание, как будто боясь, что никто его там не узнает, что все его позабыли. В длинных коридорах почти все были на короткой ноге, запанибрата. Одни удивлялись: чего-то тебя долго не было видно? Из чего он заключил, что не так уж внимательно даже свои читают газету. Другие спрашивали: Ну как там, в Америке? — и не ждали ответа. Он так долго писал в газету об Америке, что его ответы как бы подразумевались, не представляли интереса. Когда он был молод и еще не стал американистом, расспрашивали его подробнее.

Это был дом, а не заграница, и дома он был известной величиной и шел по жизни в рядах своего стареющего поколения, и его друзья находились в возрасте всезнающих людей, переставших забивать голову подробностями, а коллеги

помоложе, набирающие опыт и силу, с не утоленным еще любопытством, стеснялись его расспрашивать.

Что еще? Его корреспонденцию о католических епископах и антивоенных настроениях в конгрессе, переданную из Нью-Йорка, опубликовали. Больше ничего от него не требовали, никаких итоговых кусков. Лишь бухгалтерия запросила финансовый отчет, и он составил и сдал его вместе с остатком казенных долларов.

Работа Американиста, когда он был дома, в Москве, состояла в основном в чтении текущих материалов и писании о текущих политических событиях, касающихся отношений двух стран. После первых дней раскочки он занялся этой привычной московской работой, тем более что отношения лихорадило больше обычного, американцы вели дело к размещению в Западной Европе своих ядерных ракет средней дальности, и вокруг этой проблемы разворачивалась ожесточенная идеологическая и политическая битва.

Свежесть впечатлений от последней поездки постепенно выветривалась. Прогуливаясь по родному городу, он уже не увлекался произвольной игрой воображения, накладывая московские улицы на нью-йоркские или вашингтонские. Но не проходило ощущение неудовлетворенности и той же проклятой певысказанности. Опять он думал, что не сказал главного. Он даже не знал, в чем же оно, это главное, но понимал, что оно должно выявиться в процессе работы, если он постарается полнее и откровеннее описать свою поездку и, значит, осмыслить и пережить ее заново. В такой работе, считал он, было бы и настоящее оправдание его путешествия. Но, погружившись в текучку редакционной работы, Американист все реже вынимал и раскрывал толстую тетрадь с новыми американскими записями и не находил времени даже для перепечатки этого исходного материала на машинке, чтобы лучше его видеть и чувствовать.

Неужели все, что так заражало и заряжало его там, вся эта напряженная работа мозга пропадет впустую, как не раз пропадала, и всего-то останется от этой поездки четыре корреспонденции с их плотным и как бы зашифрованным, сугубо политическим, текущим содержанием? Ведь они уже исчезли в газетных подшивках — и навсегда. Неужели снова восторжествует этот длящийся всю жизнь парадокс — не было времени, чтобы рассказать о времени и о себе?

Между тем в стране да и в газете происходили большие события.

Ушел на пенсию главный редактор, который благословил Американиста в поездку: «Действуй!» Новым главным в газету вернулся старый главный, дважды главный, как его в шутку называли. Он много делал, чтобы воодушевить коллектив, чаще печатать острые проблемные материалы и рывком поднять терявшую подписчиков газету. Он умел извлекать из-под спуда и пускать в дело творческий потенциал каждого человека и работника. Газета улучшалась, отнимала больше времени и сил.

Так прошло полгода. Американист все-таки перепечатал на машинке свои американские записи, но дальше так и не продвинулся. Он уже тешил себя обломовской мечтой — отложить затею на завтра, на после еще одной поездки.

Вы спросите, что случилось с его телевизионным фильмом о Нью-Йорке? Этот воз забуксовал в самом начале пути, и наш дебютант потерял охоту толкать его дальше. Правда, к его сценарию довольно сочувственно отнесся один телевизионный начальник. Когда-то он и сам жил в Нью-Йорке и считал, что автор имеет право на свой взгляд и подход к теме. Но у другого телевизионного начальника, который в Нью-Йорке не жил, но непосредственно отвечал за производство телефильмов, возникли возражения. Он Нью-Йорка не знал, но зато знал, что требуется от фильма о Нью-Йорке. Американисту он советовал увидеть Нью-Йорк не своими, а чужими глазами—» глазами создателей прежних фильмов. Такой совет не рождал сил и желания. Повторяться было бы и бессмысленно, и малоинтересно. Молодая энергичная женщина, прикрепленная к фильму в качестве режиссера, увлеклась идеей Американиста. Но у нее тоже не было собственного видения Нью-Йорка, и никто, конечно, не собирался направить ее туда ради фильма внештатника. Так и был заброшен этот телевизионный проект с прологом на берегу Гудзона и эпилогом на воскресных нью-йоркских улицах.

Так песком между пальцев впустую протекало время.

Но однажды прекрасным июльским утром неким перстом провидения явился Американисту один путник.

Это был американец среднего возраста и роста, плотный, с бородкой на круглом широком лице и с голубыми, чистыми и внимательными глазами. Американист усадил его в одно из двух финских кресел в углу своего служебного кабинета, а

сам уселся в другое, и довольно оживленно, даже порой не без жестикуляции, проговорили онп полтора часа, и, выведя путника за дверь, наш герой распрощался с ним в редакционном коридоре.

Но почему путник? И свои странники и путники перевелись, а иностранные и вовсе не забредают через государственную границу. И американец не с улицы взялся. Он был известный журналист и писатель, приехал в Москву как гость агентства печати «Новости», и принимал его наш Американист по просьбе сотрудников этого агентства. Почему же путник?

Слово пришло сначала от обличья американца. В жаркий московский день он был небрежно и легко одет — хлопчатобумажные летние брюки, рубашка без галстука п холщовая сумка через плечо. Именно эта холщовая сумка, эта с у м а, в облике иностранца, с которым не избежать определенной дозы официальности, и навела Американиста на русское слово, предполагающее не четыре стены с потолком и какую-то дипломатию на газетно-журнальном уровне, а вольное небо над вольными просторами, кудрявую опушку леса, картины типа нестеровских или стихи типа блоковских: «Нет, иду я в путь никем не званный, и земля да будет мне легка...»

Не иностранец, а некий иностранник.

Но на этом внешнее сравнение с российским путником обрывалось. Из своей сумы гость вынул не краюшку хлеба и кусок сальца в тряпице, а два больших желтых плотной бумаги американских конверта. Из конвертов извлек свернутые вдвое листочки бумаги, из кармана пиджака — черную, толстую ручку из тех, что назывались у нас вечными, пока не уступили место недолговечным, шариковым...

И там, где внешнее сравнение с путником оборвалось, начиналось сравнение сокровенное и тревожное.

Американца привела в Москву работа над книгой о стратегических ядерных вооружениях — тех самых, которые мы готовим друг на друга на тот самый, роковой, случай. Он изучил проблему с американской стороны, но одной стороны в избранном им предмете было недостаточно. И вот на две недели прилетел поглядеть на нас и поговорить с нами. Разве древние философы предвидели, что появится эта связь: системы оружия — политика — смысл бытия? Между тремя звеньями, только тремя, не остается зазора, и впору ставить знак тождества. Сверхплотное сжатие всего и вся. Никогда не было такого, хотя вот уже сорок лет висит над нами Бомба.

И новым путником занесло в Москву голубоглазого бородатого американца с холщовой сумой. Как и других заносит.

Он понравился Американисту. В нем была естественность и ум, искренность и та привлекательная смелость, когда пишущий человек, отказываясь от так называемой солидности, не боится задавать вроде бы наивные, детские вопросы, ответы на которые вроде бы известны взрослым солидным людям. Он хотел понять нас и наше отношение к американцам, и из его вопросов, чувствовал Американист, получался один самый детский и самый мудрый вопрос вопросов: что же мы (то есть мы, и они, и все человечество) за люди, и что же нас, таких, ждет в будущем при наличии такого оружия и такого международного положения, и что же нам делать? А ты, сидящий напротив, что за человек? Сумеет ли мы вместе на нашем общем корабле Земля проскочить между Сциллой и Харибдой нашего страха и вражды в мире, где мы можем утонуть вместе, если не научимся вместе спастись?

Этот путник прилетел в нашу страну, потому что видел в нас спутников, и свою судьбу не мог отделить от нашей. От пашей общей — и общечеловеческой — судьбы. Все мы путники, и не под вольными небесами среди вольных полей, а в угрюмых пространствах ядерного века. Все мы путники — и все мы спутники. К этому заключению пришел Американист, когда, проводив американца, подумал, что стоит, пожалуй, написать об этой встрече и этом американце, и когда, размышляя о тому как писать, под поверхностным слоем их беседы искал сокровенный психологический слой. Сентиментальные заметки дались ему легко и радостно, как дается все, что пишется без оглядки и от души.

«Мир тесен,— писал он о встрече с американским путником и спутником.— Мир — тесен... Безвестный И мудрый предок смело поставил рядом эти два слова еще тогда, когда знакомый ему мир замыкался темными чащобами лесов на горизонте, а незнакомый простирался неведомо куда и таил тьму чудес. Ба, мир тесен — посмеивались старые знакомцы, случайно встретившись в каком-то десятке верст от дома. Ба, мир тесен... Попробуйте так же, добродушно посмеиваясь, сказать это о баллистической ракете, которая всего за полчаса может доставить с континента на континент сотни тысяч неотвратимых смертей, упакованных в трех или десяти ядерных боеголовках индивидуального — и точного — наведения на цель?»

Мир тесен... Встреча поразила Американиста еще и оттого, что он знал этого американца заочно. Его звали Томас Пауэрс. В этом тесном мире, примерно на середине нашего документального повествования, где герои, как путники, появляются и исчезают, Американист повстречался с Томасом Пауэрсом в стратосферном крошечном небе между Вашингтоном и Сан-Франциско. Помните юбилейный, в голубовато-серебристой обложке номер ежемесячника «Атлантик» — ив нем статья «Выбирая стратегию для третьей мировой войны»? Она увлекла Американиста и заставила забыть о кинокомедии, которую предложили в тот трансконтинентальный вечер пассажирам широкофюзеляжного «Ди-Си-10». Тот журнал он привез в Москву целиком и держал под рукой, не затеряв в своем архиве.

И вот они встретились — очно. И Американисту с новой силой и без отсрочек захотелось рассказать об этом странном мире, тесном и трагически разорванном, в котором все мы путники и все мы — спутники.

Но минуло еще четыре месяца, прежде чем он пришел к главному редактору с просьбой дать ему время отписаться. Он сказал, что больше не может откладывать. Что чувствует себя прямо-таки недоенной коровой. Сравнение покорило главного, по в просьбу он вник и отпуск разрешил. «Поезжайте и работайте — о чем речь?» — сказал он и даже предложил напечатать в газете куски из того, что будет написано.

Из его кабинета Американист вышел окрыленный — и озабоченный. Теперь у него было время, и это было время испытания.

В первый же вечер, едва разместившись в келье писательского Дома творчества под Москвой, он приступил к работе и на листке бумаги так определил свою задачу:

Чего ты недоговорил — и то и сё. Хотя бы медитации в самолете. Или инспектор Хейс — их граница на замке. Типизация всего американского, особенно при входе в их атмосферу. Свой Нью-Йорк, в который въезжаешь ночью.

Но не это главное, что ты недоговорил. Ты там в двух крайних состояниях, растянутый, если не распяты между ними. Предельно обнажено твоё частное, личное — жизнь, судьба, тоска, ностальгия. И так же предельно — твоё ощущение общего на стыке двух стран в один ядерный век. Человек частный и человек общественный, через которого причудливо пропущено время. Вот что недоговорено, и вот почему ты

мучаешься невысказанностью и все время едешь туда, хотя тяжел на подъем и все больше понимаешь условность своей тамошней жизни.

Эта центральная мысль, это объяснение твоих мук вдруг приходит в морозный, с высокой луной и искрами в снегу вечер, когда, сев в уединении за письменный стол, приступаешь к еще одной попытке свести счеты со своими впечатлениями...

1983-1984

Бог свидетель, что на высокой лупе, искрах в снегу и полюбившейся ему мысли о времени, причудливо пропущенном через человека, автор и хотел поставить точку в своем описании путешествия Американиста. Или — три точки, вообразив, что это следы, уводящие вдаль, сделанный типографскими знаками намек, что жизнь продолжается, а документальный рассказ о ней надо где-то оборвать. Но время шло, и автор понял, что своими тремя точками загадал такую загадку, которую читатель и не возьмется отгадать. Автор забыл о том, о чем сам же все время напоминал на протяжении своего повествования, а именно о специфике жизни и работы своего героя как одного из наших американистов. Даже самый проницательный читатель вряд ли угадал бы, как продолжалась эта специфическая жизнь и куда вели следы трех символических точек. И еще одно обстоятельство подталкивало к написанию то ли продолжения, то ли эпилога. Пока рукопись вещь в себе лежала где-то в издательском шкафу среди других канцелярских папок с тесемочками, Американист по заданию своей газеты совершил еще одно путешествие в Америку, приуроченное еще к одним выборам.

Новая поездка была короче, всего две с половиной недели, а выборы — важнее, не промежуточные, а президентские. И в

Белом доме избиратель оставил того же человека, которого два года назад не очень-то жаловал. Разве не требовал этот факт сам по себе хоть какого-то постскриптума?

Своей фантастической достоверностью жизнь вдохновляет нас на опыты в жанре документальной прозы. Что может быть достовернее и важнее самой жизни? К тому же она освобождает документалиста от тяжелой работы воображения, изнуряющей собрата-художника, от необходимости сведения концов с концами, потому что берет это трудное дело на себя. Но зато собрату, коли свел он концы, легче поставить точку и обойтись без послесловия. Его не призовут к ответу новыми коленцами, которые выкидывает жизнь, продолжающая, как ни в чем не бывало, творить и тогда, когда документа-* лист закончил. Вот почему не в книге, которую долго пишут и долго издают, законное место документалиста, а в газете, где утром написано, вечером напечатано, а на завтра, быть может, уже и забыто. А раз забыто, то не по призовут ни к ответу, ни к суду.

Все так, но в морозный и лунный ноябрьский вечер, на котором мы закончили было свое повествование, Американист, оторвавшись от газеты, отключившись от быстротечного потока газетной жизни, погрузился в состояние творческого блаженства. «Баста!» — сказал он себе, решительно отбрасывая новые впечатления ради возвращения к прежним, из стареющей американской тетради, заново вживаясь в них.

Медитация длиной в месяц происходила не в самолете, повисшем над океаном, а в номере писательского Дома творчества,— без излишеств, но со всеми, как говорится, удобствами, на третьем этаже четырехэтажной панельной башни, стоящей поодаль от центрального корпуса, похожего на помещичий дворец, и желтых особняков с колоннами, в облике которых сохранились довоенные представления о пристанище муз. Двойные двери, обитые коричневым дерматином, берегли тишину. Ноябрьские и декабрьские дни были короткими, но ясными, морозными, крепкими. Могучий раздвоенный дуб-красавец по дороге в столовую плетением черных голых ветвей оттенял почти испанскую голубизну неба. Бойкие птички садились на переплет открытой форточки, поглядывая на жильца быстрыми бисеринками глаз, клевали крошки белого хлеба, а когда жилец выходил, оставляли на листках его бумаги свои поправки невпопад. И, благословляя психотерапию труда, Американист садился за стол сразу после завтрака, вставал перед обедом и, похрустев крепким снежком на прогулке в очарованном зимнем лесу, после обеда снова принимался за дело, и уже тени от фонарей ложились на снег и птички

умолкали, укладываясь где-то на покой.

Материя, которой он занимался, была мрачной, апокалиптической, а настроение, рождаемое ранней зимой и подвигавшейся вперед работой, легким и бодрым.

В столовой Американист сидел рядом с любителем лыжных походов из Литипститута и поэтом-удмуртом. Умный и скромный поэт, приехавший под Москву с застенчивой женой, делился фронтовыми воспоминаниями и особыми тревожностями человека, который по складу характера не умеет устраиваться с переводчиками и пробивать свои стихи к всесоюзному читателю. Его воображение жило лесной родной Удмуртией, сотрудник Лит-института переводил с латышского, Американист пробивался через описание прилета в Нью-Йорк или видов вашингтонского предместья Сомерсет, и образы этих разных миров витали над обеденным столом в углу возле двери, над вегетарианскими щами и биточками с вермишелью.

Политически накаленные дни подбрасывали, конечно, и вопросы об Америке, и собеседники Американиста своими заочными знаниями выявляли порою досадные пробелы в его очных, но сугубо политизированных знаниях. Неспециалисты, они смотрели в корень и искали там то, что касается нас. Своим простодушием больше всего запомнились ему вопросы массажистки Вали. Мужа ее унесла прочь развеселая, дымная, пьяная жизнь газопроводчика. Сына-школьника поднимала одна, хотя еще жили с бывшим мужем в одной квартире, которую не могли разменять. По-крестьянски сильная женщина ребром ладоней пилила шею, затекшую от усердных занятий американистикой, и при этом, наслушавшись последних известий по радио и телевидению, и вопрошала, и жаловалась, и негодовала: «Чего молчите-то? Расскажите чего-нибудь? Война-то будет или нет? И чего им только надо? Ведь все небось в хрусталях, в золоте, по ресторанам ходят. Чего же им не хватает?..» Замолкала, переводя дыхание, и легко увязывала свое личное с глобальным, всеобщим: «Вот все думаю ремонт на следующий год делать. А вдруг война —на что он тогда, ремонт этот?! У нас рядом воинская часть стоит. Как заведут они там свое, я форточку закрываю, чтобы и не слышать. Неужели, думаю, началось?!»

И в минуты простодушных Валиных откровений, в жарко натопленном медицинском кабинетике, за окном которого стояли деревья в снегу и сиял своим алмазным блеском морозный день, Американист снова убеждался: да, мир тесен...

Так прошел месяц отпуска, и па столе медленно росла стопа исписанных листков бумаги. Он смотрел на нее, с удовлетворением считая исписанные листы, но боясь вчитываться в текст, чтобы не смутить себя несовершенством сделанного. Вернувшись в Москву и перепечатав рукопись, он прочел ее и увидел, что текст еще хуже, чем оп полагал. Типичная незавершенка. И неудобно просить о продлении отпуска, потому что нечем рассчитаться с газетой за ее великодушие.

Оставив стройплощадку, на которой он трудился так увлеченно и радостно, Американист вернулся к газетной работе с ее чередованием авралов и пауз. В ту зиму состояние советско-американских отношений чаще всего определялось фразой: «Хуже, чем когда-либо за послевоенный период». В гонке вооружений и дипломатии, как никогда, лидировали вооружения. Позицией, блокирующей договоренность, американцы добились срыва переговоров в Женеве по ядерному оружию средней дальности в Европе и по стратегическим вооружениям. Впервые за долгие годы представители двух держав прервали свой диалог, а вооружения между тем прибывали, первые «Першинги-2» уже развертывались на боевых позициях в Западной Германии. В газетах замелькал новый термин, известный ранее только специалистам,— подлетное время. Подлетное время, за которое американские ядерные ракеты могли достичь своих целей па советской территории, составляло теперь шесть — восемь, а не тридцать — сорок минут. Захват крошечной Гренады усилил воинственный шовинизм американцев. Линкор «Нью-Джерси» маячил у ливанского побережья, изрыгая полутонные снаряды в сторону горных селений под Бейрутом. Где еще, как еще пальнет эта вызывающе империалистическая политика?

Наступил високосный год, год президентских выборов в Америке, но и сквозь предвыборный треск миролюбивых фраз слышался грохот кулака, демонстрирующего американскую мощь. Накал идеологических битв нарастал, зазорно было бы отставать от коллег, активно выступавших в газете, и на пару месяцев Американист совершенно забросил свою незавершенку.

Время, однако, угрожало зданию, возведенному из кирпичей преходящих фактов, и тогда ему пришлось делить себя между газетой и рукописью. Книга снова была тайным детищем, урывками оп превращал первый черновой вариант во второй, а второй в третий. Когда получил третий с машинки, опять было не то. И он сидел по утрам дома, и домашние отключали телефон и ходили на цыпочках, и весенний день звонко прибывал за

окном, голоса птиц и детей слышались со двора, а с соседней магистрали все громче и жестче доносилось урчащее грузовиков и панелевозов. Приезжая на работу, он видел, что апрельское солнце собирает все больше своих молодых поклонников на знаменитой площади, где бронзовый поэт, заведя руку со шляпой за спину и наклонив голову, задумчиво вглядывался в еще одно поколение, шумевшее вокруг его постамента.

Лишь молодежь забывала все, слушая победные гимны весны. Взрослые люди, мельком порадовавшись солнышку, продолжали жить прозой своих будней. Юноши и девушки, назначавшие свидание на знаменитой площади, не знали, что в близко стоящем, внешне неколебимо спокойном газетном здании гудит растревоженный человеческий улей. Главного редактора, сумевшего поднять коллектив и двинуть вперед газету, забирали наверх. Без его авторитетной руки газета как бы легла в дрейф. Жили ожиданием нового главного и новых перемен, догадками, предположениями, слухами, которые по длинным коридорам кочевали из кабинета в кабинет. Смутные дни. Резкие перепады.

Провожали главного. В круглом конференц-зале, прозванном шайбой, заняв все кресла и стулья, стоя у стен и закупорив двери, набились сотрудники. Главный был взволнован скоплением, вниманием, скрытым возбуждением людей. Говорились слова, приличествующие случаю, в почтительно-шутливом ключе, не без газетного балагурства, но над собранием витал дух еще одного, иного прощания, назначенного на следующий день,— внезапно умер первейший и наиболее признанный в профессиональной среде сотрудник газеты Анатолии А., которого все звали просто Толей, хотя ему перевалило за шестьдесят.

И на следующий день, в другом зале, длинном и низком, стоял обитый красным гроб на месте, где на собраниях всегда стоит стол президиума, собственно, на том же столе, за который садится президиум. Сотрудники газеты, друзья, знакомые, почитатели пришли проводить в последний путь ласково и насмешливо улыбчивого мастера, который в своих эталонных проблемных очерках добивался редкой достоверности и соответствия истине и еще несколько дней назад мягкой кошачьей походкой прохаживался по длинным коридорам и кого-то из младших шутливо и снисходительно напутствовал, похвалил, добавив хрестоматийную строку, которая всегда в таких случаях вертится на языке: «...и в гроб сходя благословил...»

Тайна жизни и смерти. Или жизнесмерти. Мастер умер внезапно и нелепо — хотя подходит ли последнее слово к тому, что необратимо? Радуюсь голубому апрелю, поехал в пятницу отдохнуть на редакционную дачу, а в субботу его увозили в Москву мертвым. Свежим прелестным вечером прогуливался по аллее на высоком берегу реки, солнце еще висело над исподволь оживавшими полями, рассказывал спутнику, что старший сын прислал из Эфиопии письмо, в котором на вопрос отца, какой хлеб они там едят, гордо ответил — свой собственный, отец. Ночью вдруг прижало сердце — и боль не отпускала. Вызвали «скорую». Врач предлагал местную больницу, но их боятся москвичи. Ни Толя, ни Галя, его жена, не понимали фатальности происходящего. Под утро он умер — реанимация опоздала.

Утро было субботнее, в редакции делали лучший помер недели, весть из Пахры распространилась мгновенно. Природа газеты — скорбная весть тут же стала еще одним материалом для нее, и друг Толи, другой известный очеркист, взяв из отдела кадров личное дело, а из своей библиотеки — книги покойного, писал некролог в номер.

Мертвое тело увезли днем из Пахры, но вечером субботнюю сауну так и не отменили. В тесном помещении любителей было как никогда, после устроили подобие поминок — в сияющий апрельский день никто не хотел оставаться наедине, стихийная сила весны и жизни противилась победе смерти. Жизнесмерть.

Через несколько дней в том же низком и длинном зале второго этажа, на том же месте президиума, снова стоял гроб, и в нем с прикрытой колпаком измученной операцией головой лежал Леонид С., работавший корреспондентом газеты в одной западноевропейской стране. Беда не ходит в одиночку, но у жизни свой напор. Через час после панихиды — в главном кабинете на третьем этаже сотрудникам редакции представили нового главного редактора. Новый был сравнительно молод и незнаком, посматривали на него затаенно-испытующе. Он волновался и сказал точные, нужные слова, воздав должное традициям газеты, ее коллективу и своему предшественнику. С новым главным для собравшихся начиналась новая глава их работы в газете и, быть может, в их жизни.

Вдова покойного Толи рассказывала, что в последнюю свою ночь, мучаясь, он повторял: «Маета... Маета...» Не понимая происходящего, мастер и на смертном ложе ио кал точное слово и оставил его коллегам как слово-завещание, как последнюю находку, догадку, разгадку.

Американист долгое время находился под впечатлением этого магнетического слова — так ложилось оно в тот год на разные ситуации и в его жизни. Маета... Его путешествие завершилось в загородной больнице, куда он поступил с язвой двенадцатиперстной кишки и где наконец покончил со своей незавершенкой и однажды июльским днем, между таблеткой и уколом, поставил три точки после слов о высокой луне и морозных искрах в снегу. Все хорошо, пока работа ладится и придает жизни смысл. Американиста подлечили. Два экземпляра его труда оказались в издательских папках с тесемочками, третий — в редакции толстого журнала. В журнале соглашались лишь на сокращенный вариант. И новой маетой, маетой саморазрушения, он занимался в августе в железнодорожном санатории, трижды на дню присоединяясь к тысячам других славянофилов, то есть любителей славяновской воды, и скорым шагом, круг закрутом, опоясывая гору Железную...

Когда он вернулся, на носу были новые американские выборы.

Вступая на этот второй круг, автор отсылает читателя к началу повествования, где была описана типичная процедура приготовления к заграничной поездке: согласие главного редактора, постановление редколлегии, заполнение американских анкет и запрос о визе в посольство США.

В воздухе уже носилась неизбежность переизбрания Рональда Рейгана и возобновления советско-американских переговоров о контроле над вооружениями, после долгого перерыва наш министр иностранных дел вновь встретился с их президентом, который теперь часто говорил американцам о том, что — в свой второй срок — главной задачей поставит улучшение отношений двух держав. В который раз зарождалась надежда, смутная и, быть может, скоротечная, и выражала себя в мелких положительных приметах, в частности в том, что американская виза была на этот раз получена Американистом за несколько дней до отлета, а не в самый последний день.

И снова была самопроизвольная настройка души перед отрывом от родной земли и близких людей.

И снова Американист тщетно пытался спастись от этой большой и непродуктивной траты психических сил, мысленно перепрыгивая через восемнадцать дней командировки в тот день, в ту пятницу, когда возвратный «Ил-62», оставив позади ночной океан и встретив позднюю зарю над норвежскими фиордами, будет с реактивным свистом заходить на посадку над заснеженными березовыми рощами и коснется колесами

родного шереметьевского бетона.

Теперь, когда и эта поездка осталась далеко позади, он вспоминает ее с приятным чувством. Ладилась работа, ладилась контакты с людьми, надежды, без которых нельзя жить, витали в воздухе, и если бы автор подробнее описал это новое путешествие, книга его могла бы, пожалуй, получиться оптимистичнее.

Готовясь в Москве к поездке, Американист обратился за помощью к своим давним и добрым знакомым в советских внешнеторговых организациях. Они дружески откликнулись. Телексные запросы ушли в Нью-Йорк, оттуда пришли четкие ответы: несколько крупных бизнесменов и известных адвокатов, связанных с большим бизнесом и правительственными кругами, согласились побеседовать с советским журналистом. Он летел в Нью-Йорк, имея в кармане расписанную по дням и часам программу встреч с «интересными дядями», как, ие без делового восхищения, назвал своих партнеров за океаном один из опытнейших наших внешнеторговцев. И никто из них не отменял назначенных свиданий. И все выказывали американскую обязательность в ее наилучшем, прославленном виде.

И на следующее утро после прилета вдвоем со своим коллегой и другом Виктором Александровичем он занялся работой, и возле знаменитого отеля на Парк-авеню так привычно влился в спешащую по делам толпу американцев и американок (в жакетах с широкими накладными плечами — по вновь возродившейся старой де), как будто и не было двухлетнего перерыва в его нью-йоркских наблюдениях. Помогала теплая солнечная погода конца октября и конечно же ощущение, что он не теряет даром скупое отпущенное время.

Бизнесмен, к которому они отправлялись на свое первое по программе свидание, жил в маленьком городке Дикейтор, штат Иллинойс, где располагалась штаб-квартира его корпорации. Но дела и удовольствия часто приводили его в Нью-Йорк, и в знаменитом отеле он держал постоянную квартиру. Он был крупный зерновик, торговал зерном и с нами и потому, естественно, стоял за расширение торговых связей.

Более того, Дуэйн Андреас, председатель совета директоров фирмы «Арчер Дэниэлс мидленд» (сокращенно— Эй-Ди-Эм), незадолго до этого был избран сопредседателем Американско-

Советского торгово-экономического совета, в рамках которого поддерживают контакты деловые люди наших двух стран.

В башне отеля их встретил внизу у лифта и препроводил наверх пожилой джентльмен, назвавшийся директором коммуникаций упомянутого совета. Из номера люкс на сорок втором этаже открывался впечатляющий вид на Ист-Ривер, Бруклинский и Манхэттенский мосты, на громады небоскребов, на высоте как будто ставших братьями, придвинувшимися друг к другу,— прочая бетонно-каменная мелюзга осталась внизу, у подножия избранных. В этом идеально чистом высотном гнезде, обставленном светлой антикварной мебелью, маленький, щупленький, энергичный человек с загорелым лицом, с пигментными крапинками возраста на выпуклом лбу и в рубашке с распахнутым воротом, молодившей его, тоже — и по праву — относил себя к избранным. С ним была переводчица, услуги которой не понадобились,—красивая зеленоглазая молодая женщина по имени Марина, бывшая ленинградка, бывшая советская гражданка.

Рассадив гостей и окидывая их веселым цепким взглядом, господин Андреас делился своими прогнозами в отношении ближайшего будущего. Он не сомневался в переизбрании Рейгана, выражал осторожный оптимизм насчет американо-советских отношений, но в торговле двух стран не предвидел больших сдвигов, пока не будет убрано с дороги препятствие в виде законодательной поправки Джексона - Вэника, связывающей предоставление советским товарам режима наибольшего благоприятствования (освобождение от чрезмерных таможенных тарифов) с гарантиями «свободы эмиграции» евреев из Советского Союза. Он здраво судил о некоторых из пружин американской политики, не столь уж скрытых, и выдавал некоторые вполне очевидные секреты. Посмеивался: «В чем-то наша страна похожа на цирк. Если хочешь преуспеть, жонглируй, как цирковой наездник, на крупах двух лошадей — бизнеса и политики. Без политики и поддержки политиков в большом бизнесе далеко не ускачешь».

В политику, рассказал он, его вводил Губерт Хэмфри, ныне покойный, некогда очень влиятельный сенатор- демократ, занимавший одно время и пост вице-президента. С тех давних пор зерновик-мультимиллионер не забывал укреплять свою политическую базу, скача и в политике на двух лошадях, опираясь на людей из двух партий — демократической и республиканской, не порывая с либералами и налаживая отношения с консерваторами, до крайне правых.

Так при новом знакомстве возобновились нью-йоркские уроки

Американиста.

Через полтора часа наши друзья, насладившись по дороге солнечным полуднем, уже сидели в затемненном конференц-зале на тридцать втором этаже другого здания на Парк-авеню и разговаривали с другим крупным бизнесменом и президентом крупной корпорации, с другим «интересным дядей». Джеймс Гиффэй, плотный моложавый мужчина с округлым мальчишеским лицом и челкой, искусно уложенной па лбу, из активистов американо-советской торговли. Он закален испытаниями, лишен иллюзий и все-таки сохраняет веру в будущие времена, хотя его надежды стали много скромнее тех, что были десять — двенадцать лет назад. В Советском Союзе бывал десятки раз, сказал, что знает нас лучше, чем любой из сотрудников американского посольства в Москве, хотя бы потому, что у них нет его возможностей для контактов с советскими официальными лицами, поделился заветной мыслью: как было бы полезно, если бы советские руководители совершали время от времени рабочие ознакомительные поездки по США, а американцы их ранга — по Советскому Союзу. Без знания пет понимания, а без понимания — доверия...

Старый принцип максимума информации на единицу времени выдерживался на этот раз Американистом. В Нью-Йорке он расширил свое знакомство с высотным миром большого бизнеса. И в самом деле в своих встречах с бизнесменами они с Виктором почти не опускались ниже тридцатого этажа.

Правда, было и одно загородное исключение — трех-этажное здание, стоящее среди лужаек и газонов возле озера, из которого выходил — в своем скульптурном воплощении — медведь гризли. На корпорацию «Пепсико» работают более двухсот тысяч человек (десятая в США по численности персонала). Возглавляет ее человек, который с недавних пор стал приобщать нас к пепси-коле, заполучив в обмен право продажи на американском рынке водки «Столичная». Дональд Кенделл тоже был одно время сопредседателем Американо-Советского торгово-экономического совета, тоже испытанный сторонник хороших связей двух стран, тоже хорошо знает нас, что, однако, не мешает ему сохранять кое в чем стойкое непреходящее недоумение: почему при заключении контрактов, касающихся пищевой индустрии, он не может у нас иметь дело напрямую с министерствами, связанными с этой индустрией, и должен идти окольным путем, через министерство внешней торговли.

С другой стороны, бизнес, кроме прочего, предполагает умение терпеть и ждать, и потому Дональда Кендалла от торговых

связей с нами не отвадило даже то обстоятельство, что дважды или трижды из-за острых, хотя и кратковременных, кризисов в американо-советских отношениях вдвое и чуть ли не втрое падала продажа русской водки на американском рынке,— и такого рода бойкотом американские шовинисты утоляли свою особую жажду, жажду ненависти.

Он прислал большой черный лимузин с шофером-негром, чтобы к нужному часу доставить двух советских журналистов в местечко Перчэс к северу от Нью-Йорка, где, презрев городскую суету и тесноту, не отрываясь высотными этажами от земли, привольно разместилась штаб-квартира «Пепсико».

Высокий, сильный, бровастый, с красной лысиной в седых кудрях и пухлым, болезненного цвета лицом Кенделл, как, впрочем, и другие бизнесмены, говорил не о политических теориях и военных доктринах, а о личности американского президента, главным образом из нее выводил свои, тоже осторожные, прогнозы будущего. Угощая гостей ленчем в директорской столовой, рассуждал, как было бы полезно и важно организовать поездку Рейгана в Советский Союз. Может быть, изменит оп свое мнение, сократит недоверие, когда увидит, какие русские прекрасные люди и гостеприимные хозяева? Но, пожалуй, ближе к сердцу принимал Кенделл другую поездку в Советский Союз, уже согласованную и назначенную,— своего семнадцатилетнего сына. Частная школа, где учился мальчик,— своего рода инкубатор будущих лидеров, и Кенделл-старший финансировал эту дальнюю поездку учеников и преподавателей во время летних каникул. Они должны были своими глазами на месте поглядеть на людей и города другой ядерной державы. Мальчик был поздним ребенком. Чувствовалось, что знатный отец трогательно любил и жалел его и, несмотря на все свои связи и капиталы, испытывал родительский комплекс вины и беспомощности, беспокойства за судьбу сына и судьбу мира, в котором сыну предстоит жить, когда он, Кенделл-старший, уйдет...

В Нью-Йорке были также встречи с профессиональными политиками и политическими наблюдателями. Накануне выборов и неминуемого переизбрания президента они были еще сдержаннее и осторожнее в своих оценках будущего, чем прагматичные бизнесмены.

Редактор самого влиятельного внешнеполитического журнала до перемещения в Нью-Йорк долгое время работал в сокровенных недрах Белого дома. Объявил себя сторонником Рейгана, но

тут же выразил надежду, что его победа на выборах будет не слишком внушительной,— иначе, как бы не истолковал президент слишком вольно мандат переизбранного его избирателя.

Нью-йоркский житель Маршалл Шульман тоже одно время был Вашингтонцем. При президенте Картере и госсекретаре Вэнсе служил в госдепартаменте главным специалистом по советским делам. При Рейгане вернулся в Нью-Йорк и к академической деятельности. В Колумбийском университете возглавлял Гарримановский институт по изучению Советского Союза.

Кстати, вот еще один американский парадокс: никогда не говорили так много о «советской угрозе», как в последние годы, и никогда не обнаруживалось так много пробелов в изучении страны, откуда, как уверяли, исходит угроза. Дело изучения Советского Союза, по общему мнению, все ухудшалось и ухудшалось, число молодых людей, вступающих на эту стезю, уменьшалось, что же могло не обеспокоить некоторых думающих и к тому же располагающих средствами американцев. Аверелл Гарриман, посол в Москве военного времени, и его супруга Памелла выделили пять миллионов долларов Колумбийскому университету, после чего тамошний Русский институт переименовали в Гарримановский. Маршалл Шульман, став директором, обязался набрать в общей сложности восемнадцать миллионов, и цель уже была близка. В беседе с Американистом он поделился своей радостью: за год число записавшихся на курс обучения молодых людей увеличилось почти вдвое — до восьмидесяти человек.

Как демократ либерального направления, Шульман не разделял даже осторожного оптимизма других собеседников.

— Неопределенность? — переспросил он, когда Американист пытался подбить итог своим разговорам в Нью-Йорке.— Нет, я бы сказал, что нас ждет продолжение тяжелых времен. Важно, чтобы отношения не ухудшились еще больше. К этому и надо направлять усилия: благополучно пережить тяжелые времена, чтобы затем приступить к строительству более хороших отношений...

Пройдя через разочарования минувшего периода, люди боялись ошибиться. Раз хуже некуда, то должно быть лучше,— дальше этого не шли обычно их самоутешения.

...В своих встречах с американцами Американист так и не поставил ни разу святого в своей простоте вопроса, которым задавалась массажистка Валя, обрабатывая его шею в сиянии морозного солнечного дня, которым задается большинство

людей, считая его главным и едва ли не единственным вопросом в наших отношениях с Соединенными Штатами: «Чего же они хотят-то — войны или мира?» Он был уверен, что опытные и умные профессионалы, с которыми он встречался на тридцатых и сороковых нью-йоркских этажах и затем на более низких, по политически более важных этажах вашингтонских, и рядовые американцы, приближенные к политике лишь телеэкраном и газетами, что все они (или почти все) хотят не воевать, а жить в мире с нами — при Рейгане так же, как раньше при Картере, и еще раньше при Форде или Никсоне, Джонсоне или Кеннеди, при всех президентах, в чьи годы он наблюдал Америку и приумножал свой опыт американиста. Однако наш мир не только тесен, но и сложен, и в сложном мире простой вопрос «война или мир?» превращался в другой вопрос: «Конечно мир, но на каких условиях?» И на этот вопрос простого ответа не существовало...

После шести нью-йоркских дней Виктор отвез Американиста в аэропорт Ла Гардиа, откуда он вылетел в Вашингтон. До выборов оставалось два дня, он хотел наблюдать их в политической столице Америки. Но об этом позже. А пока скажем, что и в этот свой приезд он не миновал крепкого серого особняка, стоящего за железной оградой на Шестнадцатой стрит, и встречи с советским послом Анатолием Федоровичем Добрыниным. Посол работал в том же наглухо отгороженном от внешнего мира кабинете, который посольские остряки прозвали бункером. Он был в хорошем настроении и приветливо принял Американиста. Посол не исключал, что президент Рейган искренен, когда публично выражает желание улучшить отношения с Советским Союзом. Но вот вопрос — на каких условиях?..

Из нью-йоркских записей в дневнике Американиста: «Вечером прилетел из Монреаля, а на следующий день с утра — ошеломительная новость, о которой возбужденно сообщил Виктор, не успев я войти в их квартиру,— убийство Индиры Ганди двумя телохранителями- сикхами. Новость обрабатывали на телеэкране — в репортажах из Дели, а также телевизионные ведущие — леди и джентльмены, мгновенно став специалистами по Индии и отодвинув на второй план даже финальные предвыборные метания по Соединенным Штатам республиканцев Рейгана и Буша и их соперников Уолтера Моидейла и Джеральдины Ферраро, демократических кандидатов в президенты и вице-президенты.

Вспомнил о Саше Тер-Григоряне, о том, как, вернувшись

из Дели, он упорно пробивал в газету тему межобщинной вражды в Индии, непривычную при нашем «бесконфликтном» освещении индийской жизни. Каково ему? Как он встретил эту весть об убийстве Индиры в палате на девятнадцатом этаже онкологического центра, на Каширке, с версткой своей книги об Индии на больничном столе?...

Вчера вечером смотрели с Володей О. мюзикл «Сорбц вторая стрит» — в театре «Мажестик» на Сорок четвертой стрит. Билеты Володя купил на Таймс-сквер, в сводном «билетном центре», где нераспроданными билетами торгуют за полцены перед началом спектакля. Подцепи — это двадцать два доллара за билет. Мюзикл как-то укрепил меня в давней мысли насчет национального американского хобби — механически веселиться под музыку и чечетку. А незадолго до отлета в Нью-Йорк смотрел в Москве один наш спектакль, хороший — и тягостный, о послевоенной женской доле. Все верно, все правдиво, но, боже мой, как выпирает желание показать страдание и пострадать над страданием. Как бы подготовиться к страданию новому. Вот наша, российская черта.

Театральные билеты были выписаны и выданы компьютером. Одно из сильных впечатлений этой новой поездки — быстрый процесс компьютеризации американской жизни. Мини-компьютер, как подсчитано, есть уже в каждой десятой семье, их так и называют семейными. Подсоединенный к телефону, снабженный соответствующей приставкой, он, кроме прочего, ведет денежные дела с банком, распространяя некое безденежное обращение. Володя, дока по библиотечной части, говорит, что в американских библиотеках ликвидировали традиционные каталоги, перейдя на электронные, на компьютеры. Центральный электронный каталог, находящийся где-то в штате Огайо, вводит в свою память приобретения всех подсоединенных к нему библиотек, у которых в свою очередь книжные фонды заложены в компьютеры. Библиотечный компьютер Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе имеет около шестисот выходов, а отстающая библиотека штаб-квартиры ООН — несколько десятков.

На улицах возле банков, в магазинах, аэропортах — всюду видишь дисплеи банковских ЭВМ. Они «разговаривают» с клиентами и выдают денежные чеки или наличные, если клиент наберет свой код, и, конечно, предварительно, электронным же способом, проверив его счет в банке.

Появилось понятие компьютерного и докомпьютерного — 10 студентов. Последний вымирает как динозавр, но опять же с электронной скоростью. Дети легко, как игру, осваивают

компьютерную технику, и банки иногда привлекают их в качестве «интуитивных» программистов...

Сегодня известный телекомментатор Билл Мойерс выступал с утра по каналу Си-Би-Эс. Избирательная кампания кончилась, а проблемы так и не обсуждены,— отправная точка комментария. Среди них — проблема дефицитов федерального бюджета. Ни у Рейгана, ни у демократа Мондейла нет реального плана избавления нации от этого дефицита, составляющего теперь порядка двухсот миллиардов долларов в год, и от национального долга, приближающегося к двум триллионам долларов. Конгресс и все мы, сокрушался Мойере, терпим и бездействуем. Между тем за сегодняшнюю жизнь не по средствам будут платить завтра наши дети: за каждый доллар, взятый государством в долг, им придется выложить двадцать восемь. На среднего налогоплательщика уже сейчас падает примерно тысяча долларов в год в погашение процентов по национальному долгу. Что мы за люди, спрашивал Мойере, если бездумно живем не по средствам, а расплачиваться за наше мотовство придется детям?..

Давно уже американца приучили жить в кредит как индивидуума. Теперь и нация, страна, ее правительство в известном смысле живут в кредит, терпя умопомрачительные дефициты и привлекая выплатой высоких процентов огромные деньги из-за рубежа. Мощная американская экономика — магнит для мирового капитала. Цены на здешнее, манхэттенское жилье еще и потому фантастически растут, что богачи отовсюду скупают тут роскошнейшие квартиры — впрок! — за сотни тысяч, за миллионы долларов. Арабские шейхи в самых фешенебельных кварталах, на Пятой авеню, на Парк-авеню, на Медисон. Отовсюду текут сюда деньги, и особенно оттуда, где деньги бешеные, и оттуда, где пахнет национализацией или радикальными переменами. Старый образ цитадели мирового капитализма наполнился прямо-таки буквальным смыслом в новеньких сияющих небоскребах Манхэттена, населенных денежной элитой со всех концов света. Если мир делится на имущих и неимущих, то первые, похоже, считают, что остров между Гудзоном и Ист-Ривер устоит при всех обстоятельствах, укроет их и защитит от натиска и суда неимущих. Богатеи всех стран, соединяйтесь под защитой Америки!.. »

Верный привычке, а также соображениям удобства Американист, прилетев в Вашингтон, остановился в Знакомом предместье Чеве-Чейс, под боком у Вашингтонских друзей и коллег. Знакомый отель «Холидей Инн» Помер на пятом этаже. Вид из окна на знакомый скверик с фонтаном и скамейками. В

конце короткой, идущей под уклон улицы, образованной пятью новыми огромными домами,— Айрин-хауз, где остались и куда-то исчезли пять лет его жизни.

Он, конечно, навестил Айрин-хауз. Ковровая дорожка в коридоре двенадцатого этажа повитерлась, обновилась у дверей дощечки с именами жильцов, на старой, под дерево, обшивке лифтов добавилось царапин от ребячьих ножей,— по как различить те, что, может быть, оставил его, бойкий тогда, сын? — и старина Джим, милый Джим, по-прежнему дежурил в холле парадного подъезда, гоголевский маленький человек на американский лад, с ласковой улыбкой вставных фарфоровых зубов, с покорной любезностью перед постояльцами — у него всегда было наготове доброе слово для детей советских жильцов, и в пору разрядки, отправившись однажды с экскурсионной группой в Советский Союз, он присылал в Айрин-хауз открытки с видами Москвы и словами о сердечности русских людей...

В этом районе ностальгия всегда подстерегала Американиста, но на этот раз ее приступы были не так сильны. Быть может, потому, что он уже осилил ее на страницах, хранящихся в издательских папках с тесемочками и ждущих своего часа. Или потому, что рядом снова оказались старые друзья — Николай Демьянович и Таня, с которыми в давние годы вместе обживали Нью-Йорк, а теперь знали, как вечерами убивать ностальгию.

А кроме прочего, на ностальгию не оставалось времени; он весь был в пылу своей оперативной корреспондентской работы — в свежих газетах и журналах, в телевизионных. передачах на всех каналах, и везде одно и то же — итоги выборов.

У них выборы — у нас праздник, и в начале ноября каждого четного года опять заявляет о себе и эта проблема несовместимости национальных календарей. Выборы пришлись на 6 ноября, и в результате два праздничных дня стали рабочими: он готовил обобщающий материал для своей газеты.

Посольские уехали на дачу, что милях в семидесяти от Вашингтона. Там, на берегу Чесапикского залива, своя большая территория, тишина и осенняя лазурь, солнечные блики на воде, отдыхающие от трудов поля и голые сквозные леса, в которых между стволов изредка мелькают олени. Там наш праздник, наш отдых посреди Америки. А лишенный праздника спецкор затворником сидел два дня в отеле. Снова ворох вырезок и листки с заметками, заготовками. У окна на шатком, круглом, нерабочем столике — пишущая машинка. Он печатает,

чтобы хорошо видеть текст. Его газета не собирается отдавать американским выборам десятки полос, как «Вашингтон пост» или «Нью-Йорк тайме». Надо ограничить себя, надо выбрать лишь главные из множества аспектов. Какие же? Он не сразу их нашел и не сразу сформулировал. Рональд Рейган и средний американец — вот на чем он наконец остановился. Как и где они встретились и чем скрепили свой возобновившийся союз?

Американист не новичок в своем деле, но трепет перед чистым листом бумаги, перед работой, которую нельзя отложить и нужно сделать в жесткий срок, так и не покинул его. С каждой своей статьей он сдаст экзамен. И хотя экзаменаторы не так уж строги, он каждый раз не знает, сдаст ли. И в этот вечер он волнуется больше обычного, и сам экзамен, как ему кажется, труднее тех, что он держит теперь в Москве,— не зря ведь летел за тридевять земель.

Свежие, яркие, сильные впечатления последних дней обступают его со всех сторон. Тот же транзитный Монреаль, начало нового континента и нового отсчета времени. А потом чехословацкий самолет и вечерний муравейник аэропорта Джона Кеннеди, огни, самолеты, здания, Виктор, вышедший навстречу из толпы ожидающих за дверьми таможенной зоны, и дуновение влажного — нью-йоркского — ветра в окно «олдсмобила», железный перестук старого Куинсборо-бридж под колесами, свежо дышащий знакомец Гудзон, провалом чернеющий за окнами Шваб-хауза... И череда встреч, впечатлений, картин, деланная улыбка и крохотные лакированные ногти богато старика; лающий отрывистый смех актера, играющего великого Моцарта в новом прекрасном фильме; телеэкран, на который выплеснулись сцены народных волнений в Дели после убийства Индиры Ганди; стеклянные небоскребы и их именитые обитатели, сделавшие карьеру и состояние, как бы вознесенные над неслышной им, бесшумно протекающей далеко внизу жизнью; и опять бездомные старые женщины, несущие свои случайные, легкомысленно разрисованные пластиковые мешочки с жалкими пожитками; негр-шофер в черном, отливающим лаком лимузине везет их за город и рассказывает, почти весело, как торговал в Гарлеме домами и как обанкротился; вальяжный главный редактор влиятельной газеты вспоминает поездку в Советский Союз и как грузин-таксист в Тбилиси отказался брать деньги за проезд и сам принялся угощать троих американцев; гимнастический зал в штаб-квартире «Пепсико», диковинные снаряды и приспособления, молодая негритянка с сильными бедрами широко шагает по движущейся, поднятой под углом ленте, имитирующей восхождение на гору; чечеточная лихость и

моторная механическая веселость мюзикла на Бродвее, как бы передающая дух американской жизни...

Калейдоскоп в сознании Американиста — люди, кабинеты, жесты, лица, слова, улицы, дома, толпы, витрины, двери и воскресный, дешевле будничных, самолет из Нью-Йорка в Вашингтон, и Николай Демьянович, переместившийся из кабинета на Пушкинской площади в офис на Эф-стрит, своей раскачивающейся походкой спешит, улыбаясь, навстречу; Саша с подростком сыном; негритянский гогот зрителей, пришедших на фильм о злочлечениях офицера-негра; и ноябрьский прием в посольстве, праздничная и праздная толпа, высокопоставленных госдеповцев куда больше, чем два года назад, обрывки разговоров с многозначительными намеками; обозреватель Джо, такой же изящно щуплый и такой же запятой, легко движется вдоль стола с угощениями, вслед за осведомленным ответсотрудником Белого дома, на ходу закусывая и на ходу собирая информацию, а за стенами посольства — день выборов американского президента и американского конгресса...

Разноликое. Хаотичное. Пестрое. Сейчас, затворившись в стенах своего номера, Американист напрягает мозг, чтобы возвыситься над непричесанностью своих впечатлений, смирить воображение логикой, пренебречь частным ради общего и отправить в газету сжатый политический анализ. Человек, обрабатываемый стихийными, свежими картинками мира, борется в нем с профессионалом-аналитиком, но борьба неравная, исход известен заранее: профессионал снова победит. Ибо профессионала, а не вольного художника послали специальным корреспондентом в Вашингтон.

И снова телефонный звонок около двух часов ночи. И снова полнейшая тишина кругом, отель спит, и Американист не хочет будить соседей-постояльцев. Он вскакивает с квадратной «королевской» кровати и, подхватив приготовленные листочки, босиком удаляется в туалетную комнату, где — время — деньги! — в стенку вмонтирован телефонный аппарат. Он берет трубку и четкий голос американской, а затем и московской операторши, и прекрасная слышимость за десять тысяч верст, и сейчас он перелет свои слова в блокнот редакционной стенографистки в здании, утяжелившем своей монотонной громадой известную московскую площадь, на которой сейчас пусто и тихо, за десять тысяч верст отсюда, и редкие прохожие, каждый на виду, в

сонное утро третьего — и последнего — дня праздника.

По голосу стенографистки Американист чувствует, что пуста и редакция, в праздник не до газеты даже ее сотрудникам, но дежурные на вахте, и сразу же запрос от первого заместителя главного: будет ли материал? Давайте быстрее. Ставим в номер.

Ну что ж, будем работать? — слышит он приветливый женский голос.

И начинает диктовать, отдав первые строчки на некое подобие картинки, в которой читатель должен был он угадать, но наверняка не угадает тот вашингтонский вечер дня выборов, когда на двух машинах они ездили сначала в отель, где собирались демократы, а потом в отель, где праздновали победу республиканцы, у демократов были полупустые залы и та вынужденная бодрость, которой не скрыть уныния, а чтобы попасть к республиканцам, они исколесили в темноте десяток улиц в поисках парковки, и еле втиснули машины у обочины в каком-то сонном закоулке, и долго шли до места торжества победителей, и быстро ушли оттуда, чужие среди многолюдья и механического веселья самодовольных буржуа из «страны Рейгана».

В прохладный лунный вечер минувшего вторника два места в Вашингтоне сильно отличались друг от друга настроением собравшихся там людей, так начал оп.— В залах отеля «Кэпитол Хилтон» подавленные сторонники Уолтера Мондейла не знали, как решать довольно трудную задачу — с невозмутимой миной на лице отметить сокрушительное поражение своего человека и крах своих усилий провести его в Белый дом. А в отеле «Шорэм», еще более дорогом, коридоры и залы были забиты тысячами рейгановцев и хлопанье пробок от шампанского сопровождалось ликующими возгласами: «Еще четыре года!»

Да, они добились своего. Американский избиратель, отдав за Рональда Рейгана пятьдесят два миллиона (или пятьдесят девять процентов) голосов, оставил его на второй и последний срок в Белом доме. К полуночи, появившись на телеэкранах, Уолтер Мондейл (получивший тридцать шесть миллионов, или сорок один процент, голосов) поздравил победителя и, как водится в таких случаях, призвал нацию чтить избранного президента.

Американским выборам, — диктовал он, — всегда сопутствует крайняя экзальтация, прежде всего телевизионная. И на этот раз она длилась целый год и достигла своего апогея к вечеру выборного дня, когда в скороговорку дикторов и комментаторов

соперничающих телекомпаний то и дело начали залетать два магических слова — прогнозы и компьютеры. Но желаемого возбуждения не было. Просто-напросто наконец-то сбылись предсказания, которые делались едва ли не с конца прошлого года,— о неминуемой победе Рейгана.

Претенденту на Белый дом, чтобы победить, нужно много денег в качестве горючего в долговременных президентских гонках, открытая поддержка своей партии и благословение влиятельных людей, действующих за кулисами, а также, разумеется, голоса избирателей. У президента Рейгана с самого начала борьбы были и доллары, и господствующие, по существу монопольные, позиции в республиканской партии, и поддержка крупного бизнеса. Кроме того, он мастерски пользуется трибуной Белого дома для появления в американских семьях с помощью телеэкрана. Этот факт, не всегда понятный издали, нельзя сбрасывать со счетов...

Американист голосом выделил последнюю фразу, как будто надеясь, что это усиление передастся и читателю.

...По общему мнению, — продолжал он, — никто из американских политических деятелей телевизионной эры не обладал и не обладает такой способностью общения с массами и обращения их в свою веру, как нынешний президент. С телеэкрана в сознание среднего американца умело проецировался образ «сильного лидера», родоначальника, «нового патриотизма», при котором Америка «почувствовала себя хорошо».

И все-таки главная сеть, которой Рональд Рейган выловил основной косяк избирателей, была не в этой телевизионной магии. Еще два года назад при рекордной безработице и глубоком экономическом спаде даже «великого манипулятора» ожидало бы на выборах разочарование и поражение...

Этой фразой он как бы объяснял читателю, почему все случилось так, как случилось, хотя в своих корреспонденциях, отправленных из Вашингтона два года назад, он оценивал итоги промежуточных выборов как удар по рейганизму.

...А теперь, уже с начала избирательной борьбы, знающие люди сходились во мнении, что переизбрание президента обеспечено, если к дню выборов сохранится благоприятная экономическая конъюнктура: возросший объем производства, остановившая свой бешеный галоп инфляция и пошедшая на убыль безработица.

Как человеку, за последние двадцать лет так или иначе освещавшему с места шесть кампаний по выборам американского

президента, мне не раз приходилось отмечать, что к внешнему миру Соединенные Штаты обращены своей внешней политикой и соответственно через внешнюю политику воспринимаются другими народами...

...Но, оказавшись в этой стране, заново убеждаешься, что американцы эгоцентрично погружены в свою внутреннюю, и прежде всего экономическую, жизнь, что внешняя политика и внешний мир отодвинуты в их сознании на задний план. Исключение составляют периоды войны, сопровождающиеся большими американскими потерями, и международные кризисы, чреватые ядерной катастрофой. Но даже сейчас, в годы возросшей ядерной опасности что как раз связано с политикой нынешнего президента, средний американец явился в кабину для голосования не с вопросом, поставленным, как пистолет к груди: война или мир?

Этот вопрос он тоже подчеркнул голосом, поскольку он был важным в объяснении с тем читателем, который автоматически считал, что Рейган — это война. Американцы, давал он понять этому читателю, придерживались другого мнения, и голосовали они не за войну.

...Нет, для многих этот вопрос не стоял так остро, ц они больше думали о своем кошельке, экономическом благополучии или неблагополучии,— продолжал Американист.— К тому же, итоги выборов говорят, что средний американец поверил Рональду Рейгану, многократно заверявшему, что он считает мир и разоружение первоочередной задачей своего второго срока в Белом доме и сделает все возможное для хороших отношений с Советским Союзом.

В кратких заметках нет места для подробного анализа итогов выборов. Оставляя за собой возможность вернуться к этим темам позднее, хотел бы немного порассуждать о том, что такое средний американец, давший победу Рейгану, как он нынче выглядит, каково его политическое лицо.

Средний американец, или по здешней политической терминологии «средний класс», «политический центр» — величина неоднозначная, переменная и переменчивая. Для облегчения поиска сегодняшнего среднего американца надо искать его в том большинстве, которое приводит в Белый дом очередного победителя. Само по себе это большинство подвижно и политически перемещает центр то влево, то вправо.

К примеру, в 1964 году средний американец дал победу такого же, как сейчас, «сейсмического» масштаба демократу Линдону Джонсону, преградив дорогу тогдашнему лидеру

американских консерваторов сенатору-республиканцу Барри Голдуотеру, который считается предтечей Рейгана. Голдуотер потерпел поражение потому, что выступал за сокращение программ социальной помощи, хотел ограничить регулирование государством частнопредпринимательской деятельности, грозил, что поставит на место негров, активно добивавшихся гражданских прав. Значительная часть «среднего класса», средних американцев блокировалась тогда с обездоленными слоями общества, с теми же неграми и этническими меньшинствами, с бедняками, живущими ниже официального уровня бедности, а также с профсоюзами, традиционно поддерживающими демократическую партию.

На этом фоне недавней истории обратимся к причинам поражения Уолтера Мондейла. Одна из них, обрекавшая его в глазах нынешнего среднего американца, именно в том, что у Мондейла репутация старомодного либерала, ищущего голоса членов профсоюзов, расовых и этнических меньшинств и выступающего их защитником. Девять десятых негров, как показывают опросы, голосовали за Мондейла, и это помогает объяснить, почему он недосчитался голосов среди поправевшего «среднего класса». Времена изменились...

Тут голос человека, диктовавшего свой опус через ночной океан одной-единственной слушательнице, возвысился как у оратора, который, выступая перед многолюдной и жадно внимающей ему аудиторией, переходит к ключевому моменту в своей речи...

...Времена изменились. На нынешнем отрезке американской истории средний американец перестал быть политическим союзником обездоленных и относит их к разряду иждивенцев и нахлебников, живущих на его налоговые доллары. Средний американец нового образца поддерживает консервативную философию Рейгана, добивающегося сокращения правительственных расходов, причем не военных,— они растут,— а на социальные нужды (хотя и вырывает у президента обещание не трогать касающуюся десятков миллионов людей программу пенсионного социального обеспечения). Широкий консервативный сдвиг — вот решающая причина успеха президента, возвращающего в американскую жизнь эгоистически жестокие «добродетели» американского капитализма, считающего лишней страховочную сетку социальных пособий.

Избирательная кампания объявлена рекордной по длительности, но времени на серьезное обсуждение внутренних и внешних проблем так и не хватило. И это тоже свидетельствует об отпечатке, который наложила на президентские гонки личность Рональда Рейгана, получившего титул «великого у просчителя».

И в этом смысле они тоже нашли друг друга, нынешний президент и средний американец, уставший от сложностей нашего мира тем более ценящий простые, пусть и обманчивые, ответы на тревожные вопросы наших дней.

Выборы проходили в угаре «нового патриотизма», развивал свою мысль Американист. — В этом патриотизме нетрудно разглядеть реванш за унижение во вьетнамской войне, за уменьшение американского влияния в мире, за морально-политические кризисы шестидесятых и семидесятых годов. Америка превыше всего и лучше всех — на таком «новом патриотизме» лежит густой налет старого шовинизма. «Новый патриот» готов рукоплескать бесцеремонному захвату Гренады, но в то же время смиряется с выводом американской морской пехоты из Бейрута, как только свыше двухсот американских солдат погибнет от террористического взрыва. Он не против демонстрации американских военных мускулов, но за то, чтобы они обходились без американских потерь. Он поддерживает политику «мира с позиций силы», но не желает, чтобы эта сила вела к угрозе ядерной войны. Кстати, об этих настроениях неплохо свидетельствовало предвыборное поведение Мондейла. Тщетно пытаюсь перетянуть на свою сторону такого избирателя, он пел не меньше гимнов американской военной мощи, чем Рейган.

Вот всего лишь несколько штрихов к портрету среднего американца — и заодно несколько причин, объясняющих победу консерватора Рейгана над Мондейлом, не избавившимся от непопулярного ныне образа старомодного либерала. Они нашли друг друга, нынешний президент США и нынешний средний американец...

Эту коронную фразу Американист, будь его воля, выделил бы в газете жирным шрифтом.

...Однако нелишне добавить, что популярность президента шире популярности его партии, его политики и даже его философии. Итоги выборов в конгресс — тому свидетельство. Республиканцы, хотя и сохранив большинство в сенате, потеряли там два места, а в палате представителей так и остались в меньшинстве, приобретения их вдвое меньше, чем они рассчитывали.

Трудно сказать, как долго продлятся искусственно подогреваемый оптимизм и «политика радости», но трезвые наблюдатели американской жизни, с которыми приходится встречаться в эти дни, предсказывают, что с облаков завышенных надежд на землю малоприятных фактов вернуться придется довольно

скоро и, возможно, без парашюта. Один крупный экономист с Уолл-стрита назвал нынешнюю конъюнктуру «раем для дураков», полагающих, что завтрашний день не настанет, если от него отмахиваться...

Он вспомнил пожилого человека с галстуком-бабочкой и умным выражением одутловатого лица. Человек побаивался простуды и сидел в зашторенном, утепленном кабинете. В его оценках были и беспокойство, и смиренно перед обстоятельствами: обстоятельства, даже заведомо глупые, остаются сильнее нас.

...Он имел в виду астрономические дефициты федерального бюджета, формируемые прежде всего военными расходами. Дефициты все в большей мере финансируются за счет денег, притекающих в цитадель мирового капитализма из-за границы. Знатоков мучают кошмары: что станет с американской экономикой, когда в один прекрасный день, при перемене экономической погоды, сотни миллиардов долларов вдруг будут мгновенно изъяты их заграничными вкладчиками, потерявшими возможность стричь купоны высоких процентов?

Надолго ли они нашли друг друга, президент Рейган и средний американец? Как показывает опыт последних десятилетий, и внушительные победы бывают недолговечными. После триумфа 1964 года Линдон Джонсон отказался баллотироваться на второй срок в 1968 году, завязнув во вьетнамском болоте. Ричард Никсон в 1972 году был избран на второй срок подавляющим большинством, а через два года ушел в бесславную отставку по причине уотергейтского скандала.

Словом, многое зависит от того, как победитель надумает распорядиться своей победой. В американской традиции, которую сейчас часто вспоминают, избранный на второй срок президент заботится о своем месте в истории. Есть испытанные способы остаться в благодарной памяти потомков, да и современников. Может быть, поэтому в своих послевыборных заявлениях президент Рейган возобновил тему мира и ограничения вооружений. Тут любые искренние и конкретные шаги встретят ответные движения с советской стороны. Надо думать, они найдут одобрение и среди подавляющей массы американцев.

Итак, еще до выборов была, по существу, определенность в вопросе о том, кто будет занимать Белый дом еще четыре года. Зато в другом смысле неопределенность остается и после выборов: как американский президент распорядится своей победой, будет ли выполнять свои обещания мира и процветания американскому народу?

Американист поставил в конце знак вопроса. Поживем __ увидим. Это самый лучший прогноз. С ним не ошибешься.

Его соединили с первым замом главного. Первый зам в упор спросил: «Сколько?» Американист ответил: «Семь».

Хотя чувствовал, что получились все девять страниц. Первый зам сказал: «С местом неважно, но-постараемся».

Американист повесил трубку, собрал листочки, лежавшие на умывальнике, и расстался с кафельной белизной туалетной комнаты. Он был возбужден и, не зажигая огня, стоял у окна. Вниз по улице в сторону Айрин-хауза удалялась одинокая машина, горя рубинами задних огней. В темных громадах домов горело всего два-три окна, и их свет кричал в ночи о чьей-то радости или беде, о чрезвычайном событии, неурочном деле или просто бессоннице. Вдруг снова зазвенел телефон. Из Айрин-хауза звонил коллега, спрашивал, о чем говорил с ним первый зам. Голос коллеги был встревоженным. Его подняли среди ночи вызовом из Москвы и у сонного потребовали каких-то объяснений. Там, в Айрин-хаузе, шла корреспондентская жизнь, связанная телефонной пуповиной с московской газетой, донельзя знакомая и все-таки чем-то незнакомая Американисту, потому что работа была одна, но люди, делающие ее,— разные.

Солнечным и холодно-пронзительным, ветреным утром вашингтонского ноября, выжидая назначенное для свидания время, они прогуливались по тротуару Семнадцатой стрит напротив тяжелого и одновременно затейливого старого административного здания. Если смотреть со стороны Пенсильвания-авеню, здание примыкает к Белому дому справа. В этом здании с темно-серыми завитушками рококо работает часть президентских помощников, а также персонал, обслуживающий их.

Охранники в черных костюмах специального подразделения ФБР, сверившись со списком, пропустили двух советских посетителей, когда к ним вышла средних лет дама. Они поднялись наверх и по широкому гулкому коридору, по которому свободно проедет средних размеров грузовик и в который выходили большие высокие двери, навечно укрепленные в железных (как сообщила дама) побеленных косяках, попали сначала в служебник «предбанник» американского типа, а затем и в кабинет к плотному низенькому человеку примерно пятидесяти лет. Он был профессиональным дипломатом, долгие годы работал в американском посольстве в Москве и в центральном аппарате госдепартамента и хорошо знал ветский Союз — по меркам американской дипломатической службы. Теперь он не только территориально, но и в силу

обязанностей приблизился к Белому дому, входил в аппарат Совета национальной безопасности США и докладывал по советским делам самому президенту.

Предшественником дипломата на этом важном посту с регулярным доступом к особе президента был одиозный антисоветчик в профессорском звании. Свою особую приближенность профессор использовал для саморекламы п поджигательских спичей, для широкого обнародования концепций, из которых следовало, что с русскими никак нельзя иметь дело. В президентское ухо он, видимо, шептал те же слова, что трубил на весь мир. Потрудившись таким образом года два, профессор снова удалился в академические рощи, и публика быстро забыла о шумном антисоветчике. А может быть, его удалили, так как подошло время для дипломатов, которым язык дан, в частности, и для того, чтобы уметь удерживать его за зубами.

Во всяком случае, невысокий плотный человек не рвался со своей политической философией на страницы газет или в теленовости. Но принял двух советских журналистов в своем служебном кабинете, выходящем окнами на зеленые газоны и на Белый дом, и любезно сообщил им, что регулярно, дважды в неделю, видит президента, иногда проводит с ним час, а порой даже и два. О чем он докладывает? Как реагирует на его доклады президент и какие задает вопросы о стране, важнее которой так или иначе нет для его Америки и в которой он ни разу не был? Американец не коснулся этих вопросов, а они понимали, что интересоваться ими было бы просто неприлично.

Как-то нервно пожимая плечами, официальное лицо долго и энергично развивало одну тему — что президент совершенно серьезно настроен на улучшение отношений с Советским Союзом, что, вопреки упорным слухам о его небрежности и нелюбви к подробностям, этим важнейшим вопросом он занимается подробно и глубоко, в деталях и что его администрация готова к новым переговорам с Советским Союзом, на которых обсуждались бы все вопросы ограничения вооружений. Но это должны быть — неременное условие! — конфиденциальные переговоры, чтобы публичным оглашением позиций не связывать друг другу руки, не сокращать поля для маневра и компромисса, не вынуждать партнера па спешный и однозначный ответ — да или нет. Еще один мотив в рассуждениях ответственного лица состоял в том, что отношения двух держав не так уж плохи, что жесткость последних лет лучше расплывчатых иллюзий разрядки, так как каждая сторона точно знает, где стоит другая, и потому проявляет больше «ядерной сдержанности».

Ответственное лицо предпочитало говорить, а не слушать, справедливо исходя из того, что слушать пришли журналисты, но двое, не преступая правил вежливости и, однако, давая отпор, все-таки сумели застолбить наш взгляд и поспорить с американцем, доказывая, что разрядку подорвала не «советская угроза», а американское суперменство, перенесенное на арену международной политики, опасная тяга к превосходству, пренебрежение в отношении разных взятых обязательств и даже подписанных, но не ратифицированных договоров. Они не сошлись во взглядах при оценке положения в горячих точках планеты, в частности относительно Никарагуа, потому что чиновник, приближенный к особе президента, наотмашь отвергал право этой маленькой страны на самозащиту от происков североамериканского колосса и вопреки всякой логике, кроме суперменской, империалистической, видел и отстаивал лишь право колосса на самозащиту от лилипута.

Расстались, однако, с улыбками и рукопожатиями. Все так же нервно пожимая плечами, как будто сбрасывая досадный груз, американец уже в дверях своего кабинета снова заверил их в миролюбивых намерениях президента и его администрации и подчеркнул, что, главное, надо торопиться с договоренностями о сокращении уровней ядерных вооружений, помня, что все, что происходит сейчас, всего лишь цветики, а ягодки впереди, что настоящая опасность возникнет лет этак через пятнадцать — двадцать, в случае если ядерное оружие расплзется по всему миру и другие государства — его обладатели, с безответственными руководителями, не будут проявлять такой же «ядерной сдержанности», как Соединенные Штаты и Советский Союз...

Где можно, Американист шел в Вашингтоне по старым следам, полагая, что через старых знакомых лучше замерять перемены в атмосфере и настроениях. Это не всегда удавалось. Нарушив золотое правило своевременной договоренности, он слишком поздно созвонился с известным обозревателем Джо. Неутомимый Джо улетал в Сеул, время его перед отлетом было расписано до минут. Они встретились в толчее торжественного приема в посольстве, и Джо как тень проскользнул между гостей и столов с закусками, и Американисту пришлось знакомиться с его взглядами лишь в газете, где «колонки» Джо по-прежнему печатались с железной регулярностью и их автор вместе с другими журналистами внушал президенту, что две главнейшие проблемы на его повестке дня — хромающая внешняя политика и астрономические бюджетные дефициты.

В запарке короткой командировки Американист и по телефону не связался с другим знакомым — обаятельным завом вашингтонского бюро влиятельной нью-йоркской газеты. Но, заглянув в свои записи двухлетней давности, с удивлением обнаружил, что тогдашний прогноз обаятельного зава, пожалуй, сбывался — государственный секретарь Джордж Шульц набирал силу в вашингтонской иерархии и его голос при разработке политики в области контроля над вооружениями и переговоров с Советским Союзом звучал все весомее.

В прошлый свой вашингтонский визит Американист тщетно искал бесед с типичными рейгановцами-консерваторами, и потому — как исключение — запомнился ему разговор с единственным и вряд ли самым типичным из них — молодым, цветущего вида отпрыском известной в политических кругах семьи, который внешне мягко и деликатно, но внутренне непреклонно и высокомерно доказывал ему, что то, что хорошо для его Америки, не может не быть хорошо для всего мира.

Молодой человек тоже сохранил воспоминания об их встрече и споре и охотно принял Американиста в своем кабинете в здании госдепартамента, где был одним из официальных советников по прессе.

Изложение их беседы нуждается в кратком предисловии.

Буквально на следующий день после ноябрьских президентских выборов какие-то провокаторы из вашингтонских бюрократических недр подсунили в прессу так называемые сырые данные разведки и раздули невообразимый шум: что-де советское судно доставило в Никарагуа боевые самолеты «МИГ-21», а они-же представляют смертельную угрозу соседним центральноамериканским государствам и даже самим Соединенным Штатам, так как-де способны в случае необходимости нести даже ядерное оружие. Судно и в самом деле было, но не было никаких самолетов и, стало быть, угрозы. В этом, однако, и состоит провокаторская природа сырых разведданных: врем, но за вранье ответственности не несем, так как данные — сырые. Чистейшей воды липа. Но в промежутке между тем, как липа появилась в печати, и тем, когда Пентагон и Белый дом официально признали, что это липа, истерия и враждебность к сандинистам усилились. Новой подозрительностью хотели в зародыше придушить робкую надежду на поворот к лучшему в отношениях с Советским Союзом, которую порождали довыборные президентские заявления.

И вот из-за Никарагуа, как и два года назад, столкнулся Американист с молодым и красивым идеалистом — империалистом.

— У вас нет ни одного доказанного факта, а вы нарочно раздули скандал,— обвинял Американист своего собеседника, по привычке употребляя множественное число, присоединяя и сидевшего перед ним американца к политическим злоумышленникам.

И тот, хотя прямой ответственности и не нес, не хотел нарушать перед советским гостем круговую поруку, по признавал поначалу ложность сырых разведанных и в своей мягкой, невозмутимой манере отвечал, что в вашингтонской администрации не обязаны верить и не верят опровержениям Манагуа или Москвы, даже официальным и категорическим, потому что по «вашей» морали дозволяется говорить неправду и обманывать в интересах «вашего» дела.

И снова выплыл этот проклятый вопрос о доверии и недоверии; и снова Американист бросил его в лицо своему собеседнику:

— Как же мы в принципе сможем строить отношения с вами, если к каждому человеку с другой стороны вы подходите как к заведомому, завзятому профессиональному лжецу?

Молодой человек не нашелся с ответом, по поначалу- казалось, что это его ничуть не смутило. Очевидной лжи, если она исходила со своей стороны, он верил больше, чем очевидной правде, если правда принадлежала другой стороне. И такая мораль увековечивала проклятый вопрос, потому что всякое доверие между сторонами исключала в принципе. Тупик. Полный тупик.

И вдруг, будто почуяв смертельную опасность такой нравственной и психологической западни, американец отступил. Какая-то трещина зазмеилась в патриотическом кольце круговой поруки, какая-то личная откровенность проникла в его рассуждения. Он признал (и даже как будто пожаловался), что внутри администрации идет борьба разных групп и подходов, идеологических и прагматических, непримиримо жестких и разумно-умеренных, и что разумным людям трудно противостоять преднамеренным, провокаторским утечкам информации, которые устраивают в своих целях сторонники жесткой линии. Не блокироваться же в таких случаях с чужими против своих?

Так что же, опять напрямик спросил Американист, выходит, что заведомые провокаторы и политические злоумышленники всегда могут взять вас, людей, называющих себя разумными, в заложники вашей общей групповой подозрительности, враждебности, ненависти? И его собеседник вдруг согласился: да, так оно и есть! Поймите это, войдите в наше положение, проявляйте терпимость, отличайте официальную, более

сдержанную позицию от заявлений и действий тех людей и групп, которые хотели бы еще больше ссор, разногласий, вражды, непримиримости между двумя странами. Он сослался даже на какие-то законы, которые, по существу, потворствуют провокаторам, не дают возможности вытащить на свет божий и наказать тех, кто промышляет утечками лживой, поджигательской информации.

Его слова звучали искренне. И снова тот же проклятый вопрос разделенного века: так верить или не верить ему? Верить в его искренность или, следуя той же логике, по которой он сам в принципе исключал доверие к словам Москвы или Манагуа, увидеть и в его оправданиях обман, притворство, еще одну маску лжи?..

Один из братьев американца был крупным пентагоновским чиновником, успешно хлопотавшим о расширении американского военно-морского флота, другой занимал видный пост в госдепартаменте, и у семьи в целом была в политике репутация ястребов. Завершение беседы требовало шуток, и Американист избрал не очень удачную: так кто же из вас, троих братьев, голубинее и кто ястребинее? Американец уточнил: их четверо, но четвертый не состоит на государственной службе, взгляды же свои все они заимствовали у отца, бывшего военного моряка. Он взял под защиту брата, всю укрепляющую мощь военно-морского флота, сказав, что он ястреб всего лишь в вопросе обычных военно-морских вооружений, а ограничение вооружений ядерных поддерживает,

— И все-таки, согласитесь, у вашей семьи ястребиная репутация?
— настаивал гость.

и услышал скрытую обиду — и уязвленную гордость — в ответе американца.

— Быть может, и ястребиная, по мы — цивилизованные люди...

Он проводил Американиста по коридору и вниз, до полицейских стражей у входа, расспрашивая о московской погоде и о том, в какую пору года всего приятнее навестить советскую столицу, где он еще ни разу не бывал.

Два года назад, в прошлый свой приезд в Вашингтон, Американист встречал и Строба из известного политического еженедельника.

Тогда Американист записал в своей тетради, что в первую пятерку американских обозревателей Строб еще не входит, но, пожалуй, со временем войдет, научившись писать злее и короче. Строб стал писать длиннее, а не короче, издал книгу и перед выборами приобрел широкую известность как первый

политический журналист сезона, о чем Американист узнал еще в Москве. Для многих американцев, связанных с политикой, книга Строба стала настольным пособием по переговорам об ограничении ядерных вооружений, об их текущем, довольно плачевном состоянии. Ее использовал против Рейгана демократ Мондейл в ходе своих телевизионных дебатов с президентом, ее рецензировали разные знатные люди и в спешном порядке переводили на западноевропейские языки. Слава, как и беда, не ходит в одиночку. Знаки известности и успеха посыпались на Строба. Его решили повысить в должности и сделали шефом вашингтонского бюро, самого главного в нью-йоркском еженедельнике, с двумя десятками сотрудников. Бестселлер продавался во всех солидных книжных магазинах Нью-Йорка, Вашингтона и других городов. Впереди, как водится, было более дешевое и массовое издание в мягком переплете и включение в число книг, рекомендуемых читателям консультантами (и владельцами) популярного клуба «Книга месяца».

Строб раунд за раундом и едва ли не день за днем описывал ход американо-советских переговоров по ядерному оружию средней дальности и по стратегическим вооружениям. Ему помогли обширные связи и надежные источники информации, без чего невозможно взять на себя роль современного политического хроникера-летописца. При внешней объективности Строб не скрывал своего критического отношения к стратегии и тактике администрации. Содержанием книги он подводил читателя к выводу, что переговоры с самого начала были обречены на неудачу из-за позиции американской стороны. Вывод аргументировался так основательно, что его не брались опровергать даже те, кто хотел бы. И читатели, знакомясь с книгой Строба, могли убедиться, что трагические тревоги наших дней не в силах потеснить мелкое и жалкое в человеческой натуре, ничуть не отменяют интриги карьеристов и что тщеславные чиновники не прекращают свою возню даже при угрозе всеобщего уничтожения, небытия. Вселенский этот вопрос: быть или не быть — человечеству?! Но, с одной стороны, президент, доказывал Строб, не вникал в детали переговоров и не стремился всерьез к разумному компромиссу. С другой стороны, «война двух Ричардов» — помощника госсекретаря Ричарда Бэрта и помощника министра обороны Ричарда Перла. Двум чиновникам — честолюбцам, соперничавшим друг с другом, принадлежала главная роль в разработке американской линии на переговорах, и воевали они между собой, увы, лишь за то, как бы сорвать договоренность.

Нью-йоркские издатели не остались внакладе, выпустив хронику Строба в разгар предвыборной борьбы. Попали в яблочко, в

самый центр дискуссии об опасных раздорах и распрях внутри администрации и о ее возможных приоритетах в будущем...

Столичное бюро стробовского еженедельника успело переместиться с Шестнадцатой стрит в франтоватый дом па оживленном месте Коннектикут-авеню. Новенький дом сиял пе только стеклами, но даже и стенами. Внизу были открытые для всех помещения на перемежающихся уровнях, с лентами эскалаторов, зимними садами и оранжереями, магазинами, ресторанами и кафетериями, выше — деловые конторы. Часть одного из верхних этажей и занимало вашингтонское бюро, во главе которого ставили Строба.

Когда молодая модная негритянка-дежурная позвонила ему, извещая о приходе гостя, он вышел навстречу из внутренних помещений, такой же худой и легкий. Под мышкой у него торчал мягкий плотный пакет из-под фотонегативов, а в пакете приготовленные для подарка толстый бестселлер с ракетой на суперобложке и еще одна книжка, тоненькая, и толстенный сборник, где перу Строба принадлежала большая статья. «В этом году, как видишь, у меня богатый урожай»,— сказал он московскому знакомому шутливо, но и не без гордости. И Американист попросил еще и копии рецензий на популярную книгу. Строб, решил он, заслужил лестного упоминания в нашей прессе.

О нет, не заблуждайтесь, Строб не разделял советских позиций и конечно же пе защищал их,— у какого журналиста из американской большой прессы найдешь такое? — но позиции официального Вашингтона подвергал основательному критическому разбору.

Высокий ворот бежевой водолазки прикрывал его тонкую длинную шею, и в такой же водолазке, прислонившись не к ракете, а к дереву, он был на фото, помещенном на задней странице суперобложки. Американист отметил про себя поразительное фотографическое сходство двух невозможно далеких людей: делового, скрупулезного летописца ядерных реалий и прозрачного, как его стихи и как сентябрьское северное русское небо, рано умершего вологодского поэта Николая Рубцова — то же тонкое лицо на тонком стебле шеи и узкий высокий купол лба, шарф, закутавший шею, и даже лес как будто тот же на заднем плане.

Они вышли из здания, пересекли Коннектикут-авеню в оживленной толпе клерков, высыпавших из всех конч тор в час ленча. Строб шагал чуть впереди, указывая дорогу, одетый с сознательной небрежностью — в дождевике цвета хаки, в такого же цвета легкой шляпе с узкими опущенными полями, и, не теряя времени, рассказывал, что на выборах голосовал против Рейгана, за Мондейла, но — что делать? — Рейган неотразим для среднего американца, этакий феномен президента-монарха, интересно, как ты и твои коллеги объясняют этот феномен советскому читателю.

На выборах он голосовал за проигравшего, но по его настроению, небрежной одежде, быстрой походке и столь же быстрым словам, по упоминанию, что после ленча он сразу же вылетает в Миннеаполис, в край Мондейла, па встречу с читателями его книги,— по всему видно было, что стихия большого успеха несет и окрыляет его, дает ему новые силы.

И эта же стихия внесла его в ресторанчик, где официанты и посетители радостно раскланивались с ним,— хоть мимолетно прикоснувшись к знаменитости,— и где ой, похоже, не раз надписывал свою книгу, вот так же на виду у всех, сидя в излюбленном своем месте с другими своими гостями.

Конечно, важны надежные источники информации, и чем больше берешь из них, тем лучше, но прежде всего Строб был упорный работник, не терявший времени. Работая над книгой и не прекращая работать в журнале, он поднимался в три часа ночи и, заводя механизм, выпивал по две кружки крепкого кофе, днем без скидок выполнял обязанности дипломатического корреспондента.

— Строб, ты многого добился для своих тридцати восьми.

— Потому что рано начал...

Рано начал и с молодых лет брался за немалые дела. И пользовался поддержкой влиятельных менторов, которым не чужда забота о политических наследниках.

Они не виделись два года, по им было легко вместе, и не только потому, что успех помогал Стробу сходитья с людьми. Они перескакивали с одного на другое, зная, где у них точки соприкосновения взглядов, где они не сойдутся и как шуткой миновать зоны разногласий. Профессия по-своему образовала обоих, выпекла из журналистского теста, но состав теста да и выпечка были разными — не только от свойств характеров или особенностей жизненного пути, но и от коренных различий общественных систем, а также национальных психологий, так

или иначе преломляющихся в каждом человеке. И когда Строб великодушно, с вершин своего успеха спросил коллегу, о чем тот пишет, Американист ответил, что работает над книгой о прошлой поездке в Соединенные Штаты, по что ей еще далеко до прилавков книжных магазинов, и сообщил, как бы кстати, что там вкратце описывается и встреча с ним, Стробом. Заинтересовавшись, Строб спросил, о чем книга? О чем? По объяснишь в двух словах. О путешествии американиста. И Амери- капнет не удержался, процитировал строку из Афанасия Фета: «...стихии чуждой, запредельной стремясь хоть каплю зачерпнуть».

В свою очередь он спросил, что на очереди у Строба. Они уже вышли из ресторана, ноябрьский день был теплым, и улицы кишели народом, и, продолжая окунаться в блаженные воды успеха, Строб шутливо пожалел, что поэтического лейтмотива у него, увы, нет и потому он пишет всего лишь продолжение к своей книге, а назовет ее, быть может, без шуток: «Еще более смертельные гамбиты»...

Через два дня, когда Строб вернулся из Миннеаполиса, Американист заехал к нему домой. Дом стоял на тихой малоэтажной улице, летом очень зеленой, в ряду других частных домов. Все дома срослись друг с другом стенами, и у каждого был свой вход с улицы, три-четыре ступеньки к своей двери и дворик позади, так и называемый задним.

День был воскресный, жена и два сына Строба отсутствовали, а он сам работал на чердачном третьем этаже, куда вела крутая лесенка. Маленький кабинет был заставлен полками с книгами и увешан фотоснимками хозяина со всевозможными мировыми знаменитостями. Место обычного письменного стола занял электронный word processor — словообработчик. Строб объяснил, что эта штукавина обошлась ему в четырнадцать тысяч долларов, но более чем оправдывает себя, фантастически удобна и полезна, когда к ней привыкнешь, а привыкать легко, много легче, чем отвыкать. При помощи словообработчика он и писал свою ракетно-ядерную летопись, постепенно накапливая черновой материал, каждый вечер загоняя в электронную память добытые сведения, дополняя и обобщая их по мере получения сведений новых.

Фантастический кабинетный агрегат был универсальным. Подсоединив его к телефонному аппарату, Строб мог в мгновение ока переписать текст своей очередной статьи в нью-йоркскую штаб-квартиру еженедельника и также мгновенно

принять оттуда — и отовсюду — любой материал на экран дисплея. Словообработчик, по идее, можно было подсоединить напрямую к печатным машинам в типографии, находящейся за сотни и тысячи километров. В таких случаях он делает ненужными так много промежуточных звеньев, дает такую экономию, что некоторые издательства, к примеру известное «Макмиллан», уже предлагают эти словообработчики бесплатно самым знаменитым авторам, бывшим президентам и министрам, при условии, что они согласятся вступить в электронный век, работая над своими книгами о прошлом.

Американец с тонким ликом вологодского поэта сел за электронную чудо-машину. На экране светился черновик речи, которую он готовил для того дня, когда его торжественно введут в должность заведующего вашингтонским бюро. Он бесшумно постучал по клавишам, и текст на экране слегка пополз вниз, освободив место для новой заглавной строки: «Рад приветствовать советского коллегу у себя дома». Он еще что-то нажал, и текст на экране раздвинулся, дав место для приветственной строки в середине. Потом он прикоснулся к своему слово-обработчику, и приветствие исчезло с экрана.

Восемнадцать дней — не полтора месяца, пора было собираться в обратную дорогу, начинающуюся с Нью-Йорка, трамплина для двойного прыжка домой — через Монреаль в Москву. Но, разделив свой рассказ о новой поездке Американиста между двумя столицами Соединенных Штатов — финансовой Нью-Йорка и политической Вашингтона, мы забыли о его уходящей корнями в провинциальное детство тяге к глубинке, которую он каждый раз пытался удовлетворить, находясь в заокеанской державе. Между Вашингтоном с послевыборным политическим возбуждением и Нью-Йорком, где закручивались в воронку последние часы в песочных часах его командировки, он уместил полтора дня в городе Дикейтор (девяносто тысяч жителей), что центром фермерской округи сонливо лежит в штате Иллинойс, примерно в полутора часах автомобильной езды от грохочущего Чикаго, куда мы, кстати, так пока и не попали с нашим персонажем, путешествующим не столько по городам, сколько по годам и людям, от человека к человеку.

Дикейтор... Это название однажды мелькнуло в нашем рассказе — в связи с именем Дуэйна Андреаса, щуплого и энергичного человека с пигментными крапинками на загорелом выпуклом лбу, главы зерновой корпорации «Арчер Дэниэлс мидленд» (Эй-Ди-Эм) и сопредседателя Американско-Советского торгово-экономического совета (АСТЭС). Американист встретился с ним

в Нью-Йорк на сорок втором этаже отеля для знаменитостей, где держал постоянную квартиру. Но главная экономическая база Андреаса и его корпорации находилась именно в захолустном Дикейторе, посещение которого было вписано в планы Американиста еще в Москве, когда он готовился к поездке.*

О могущественные деловые круги — И советские, и американские! Несмотря на резкие перепады политической погоды, они поддерживают определенный уровень контактов ради текущих дел и в расчете на более благоприятное будущее. Для них совсем не проблема содействие журналисту в решении его скромных задач.

Свое расплывчатое пожелание относительно того, что неплохо было бы навестить какую-нибудь американскую глубинку, Американист передал одному доброму знакомому еще по Нью-Йорку, который в качестве старшего вице-президента представлял теперь советскую сторону в московском представительстве АСТЭС. Обязательнейший Борис Петрович из своего американизированного на вид офиса, что находится на московской набережной Тараса Шевченко, тут же отправил телекс (бумагу, переданную по телексу) в Нью-Йорк.

Ответный телекс на английском переводил расплывчатое пожелание Американиста на совершенно четкие деловые рельсы. Он гласил:

«Дорогой Борис, мы с удовольствием устроим для вашего знакомого журналиста поездку в Дикейтор, где он сможет встретиться с местными фермерами, с организациями производителей типа Американской соевой ассоциации и Национальной ассоциации производителей кукурузы и посетить фермы, зерновые элеваторы и перерабатывающие предприятия. Если он пожелает, мы также устроим ему встречи с аграрными специалистами из газет, радио и телевидения. Разумеется, мы пришлем наш самолет, чтобы забрать его в Дикейтор и вернуть затем в Вашингтон или Нью-Йорк. Если вы согласны, необходимые приготовления будут сделаны мистером Бэркетом из Эй-Ди-Эм и вы можете связаться с ним напрямую или через ваш нью-йоркский офис. С наилучшими пожеланиями. Дуэйн Андреас, председатель правления Эй-Ди-Эм. Дикейтор, штат Иллинойс, США, телекс 25-0121».

Так через своих знакомых в советских деловых кругах наш путешественник на короткое время попал гостем в мир крупного американского бизнеса, который в его случае представляла корпорация с оборотом в сотни миллионов долларов, имеющая ряд предприятий по изготовлению пищевых

продуктов, сбывающая тридцать миллионов тонн зерна и соевых бобов в год, преимущественно на внутреннем рынке, но осуществляющая также и международные операции, в частности только что продавшая полтора миллиона тонн зерна советским внешнеторговым организациям (и еще миллион тонн — через свой филиал в Гамбурге).

Тщеславен человек. Самолет, который специально за ним пришлют в Вашингтон, еще в Москве захватил воображение Американиста, и он то и дело вынимал бумажку с телексом, читая текст друзьям и приятелям.

В жизни все сработало так же четко, как было обещано.

Приготовления были сделаны через Нью-Йорк и мистера Бэркета в Дикейторе, и в назначенный день и час к отелю «Холидей Инн» на Висконсин-авеню подкатил черный лимузин, арендованный людьми Эй-Ди-Эм в одной из вашингтонских автопрокатных фирм, и, забрав Американиста вместе с его коллегой Виктором Александровичем, прилетевшим из Нью-Йорка, мягко шурша толстыми шинами, неспешно и важно доставил их в Национальный аэропорт, где в специальном здании, выделенном для обслуживания корпоративных и индивидуальных самолетов, в пустом зальчике, сидя за чашкой кофе, уже ждал немногословный летчик в темно-синем форменном костюме, и проблески седины в его волосах успокаивающе сверкнули как указание на число налетанных часов и необходимый профессиональный опыт. Только профессионалы высокого класса — и никакого любительства в авиации, обслуживающей корпорации и богатых людей. Третьим желанным гостем Эй-Ди-Эм был советский полпред в мире американского бизнеса Юрий Владимирович Л., тоже старший вице-президент АСТЭС, работающий в Нью-Йорке, сравнительно молодой, с привлекательной ямочкой на подбородке, спокойный и знающий, по-хорошему современный.

«Готовы?» — спросил их летчик. «Готовы».

Небольшой самолет с двумя реактивными двигателями, прилетевший из Дикейтора, тоже стоял наготове, у самого здания. Выдвижной трап па четыре ступеньки касался аэродромного бетона.

Без билетов и стюардесс, с двумя пилотами, спины которых видны были из салона иа восемь пассажиров самолет, подпрыгивая от собственной легкости, быстро и словно бы невсерьез разбежался, взлетел, пробил слой низких облаков и засиял в лучах солнца. Он был французского производства, марки «Фалкон-20», по скорости не уступал реактивным пассажирским

лайнерам. В Соединенных Штатах больше ста тысяч частных и корпоративных самолетов. У Эй-Ди-Эм их было три: два для внутренних развозов руководства корпорации, а на третьем, побольше размером и помощнее, с тремя турбинами, неутомимый мистер Андреас совершал свои частые заморские вояжи, лишь в Лондон и Париж предпочитая летать из Нью-Йорка рейсовым, сверхзвуковым «Конкордом».

За разговорами, кофе и напитками из мини-бара, без которого не обходится ни один такой служебный самолет, они провели полтора часа в солнечном сиянии под сплошными отарами облаков, прежде чем, пробив облака, увидеть под ними пасмурную равнинную землю, давно распаханную, плодоносные прерии чуть южнее Великих озер.

Земля лежала широко и пустынно оттого, что не было на ней гигантских людских скоплений, не скребла она небо частоклоком небоскребов, и лишь фермерские дома и постройки стояли поодаль друг от друга среди убранных полей, и в скупом свете ноябрьского дня кое-где влажно поблескивали металлические маковки силосных башен и шары водокачек.

Пустынным был и маленький аэропорт, куда по-хозяйски приземлился самолет. Усадив в автомобильный фургон с мягкими креслами и скользящей вдоль корпуса дверцей, их повезли в город, и все вокруг дышало холодом и предвестьями снега.

Из незнакомой фамилии в телексном сообщении мистер Бэркет воплотился в Дика Бэркета, провинциального джентльмена средних лет, вице-президента Эй-Ди-Эм, который ведал внешними сношениями.

Они прилетели в воскресный день. Совершенно вымершим казался центр города. В здании Дикейтор-клуба, где их разместили в гостевых номерах Эй-Ди-Эм, конторы на нижнем этаже тоже были закрыты по случаю выходного дня.

Гостевые комнаты были устланы толстыми коврами, краны рукомытника и ванны тускнели старомодной медью, ставшей новым знаком класса и шика, и лифт на четвертый этаж поднимался лишь с помощью специального ключа, исключая доступ посторонним. Но и эту меру по обеспечению покоя и безопасности редкостных гостей хозяева сочли недостаточной. В коридоре четвертого этажа сидел еще и детина в желтом кожаном пиджаке, и под пиджаком время от времени чьим-то отрывистым голосом напоминало о себе разговорное устройство

«уоки-токи» и наверняка скрывалось молчащее огнестрельное устройство.

Когда они спустились вниз прогуляться, детина сопровождал их, действуя в соответствии с полученными инструкциями, хотя получасовая прогулка выявила, что никто и ничто не угрожало трем русским в пустом и стандартно-скучном центре маленького города, продуваемого холодным ветром.

Он оказался городским полицейским, подрабатывающим в Эй-Ди-Эм в свободное время. Его «уоки-токи» было связано со службой безопасности корпорации, оператор корпорации отвечал, когда гости поднимали телефонную трубку в своих номерах, и служебным рекламным сувениром, опять же от корпорации Эй-Ди-Эм, стоял у каждого в номере картонный ящичек, набитый целлофановыми пакетиками с эрзац-орешками, эрзац-конфетами и эрзац-печеньями из соевых бобов — образцами продукции Эй-Ди-Эм.

Наряду с другой зерновой фирмой «Стейли» Эй-Ди-Эм была крупнейшим работодателем в Дикейторе и окружила своих гостей заботой и собственным всеприсутствием. Лишь телевидение в Дикейторе было не от Эй-Ди-Эм, а от трех всеамериканских телекорпораций — Эй-Би-Си, Си-Би-Эс и Эн-Би-Си, которые в воскресный вечер и удерживали по домам местных жителей.

Ужинали в безлюдном Кантри-клуб — Сельском клубе. Дик Бэркет, оторвав от воскресных телепередач, пригласил одного своего коллегу, ведающего в Эй-Ди-Эм продажей зерна, и трех фермеров средней руки, тоже связанных с корпорацией деловыми узами. Двое из фермеров были отец и сын. Сыну было уже двадцать девять лет, и сам он, как выяснилось, был отец трех мальчиков. Компания заняла отдельный кабинет, где ее старательно и неумело обслуживали белокурая девушка и чернявый паренек, подрабатывавшие официантами. Луковый суп именовался французским, стейк — нью-йоркским, но кухня была незамысловато дикейторской, и разговоры в Сельском клубе были сельские, фермерские.

Фермеры — не дипломаты, присутствие иностранцев не помешало их жалобам на жизнь и главным образом на низкие закупочные цены. В продмагах-супермаркетах цены на продукты в последние полтора десятка лет подскочили вдвое и втрое, но трех фермеров, сидевших за столом, тревожила другая часть экономической картины. Те цены, по которым они

продавали свое зерно и свой скот посредникам-оптовикам, были для них угнетающе, а то и разорительно низкими.

Три крепких середняка были из тех семейных, то есть полагающихся на собственный труд, американских фермеров, которых законы конкуренции вытесняют с земли.

Они добиваются на этой земле невиданной в мире производительности труда, рекордных урожаев, но чем выше урожай, тем ниже закупочные цены, тем тяжелее дается каждый доллар вознаграждения за высокопроизводительный труд. А между тем этот труд по самой своей природе требует предельной механизации, все новой и более эффективной техники, и на приобретение ее нужны кредиты в банке, и техника стоит все дороже, и проценты на кредиты — все выше. А не будешь поспевать за другими в вечном напряжении конкуренции, не будешь обзаводиться еще более современной техникой ради еще более высокой производительности,— сдавайся, выходи из дела, продавай свою ферму и ищи себе места в городе, куда к старости так или иначе перемещаются все семейные фермеры, так как труд на земле становится им физически и психически непосильным.

Поднимая голову от кормилицы-земли, эти прекрасные хозяева видят окрест враждебный мир, который, кажется им, объединился ради того, чтобы лишить их заслуженных плодов их труда. И трое за столом в Сельском клубе Дикейтора тоже были преисполнены подозрений.

Они считали, что цены на продовольственные продукты умышленно поддерживаются крупным бизнесом на таком уровне, чтобы американец в среднем тратил на еду не больше пятнадцати — семнадцати процентов своего бюджета и чтобы больше денег оставалось у него на цветной телевизор или автомашину новейшей марки, какой-нибудь персональный компьютер, видеосистему, модную одежду мало ли их, соблазнов развитого потребительского общества?

Они с завистью смотрели и на рабочих. У каждого из сидящих за столом были свои истории об этих, на их взгляд, счастливицах. Один с чувством обделенного жизнью человека рассказывал о родственнике, который двадцать лет проработал на компанию «Катерпиллер», производящую сельхозмашины, в пятьдесят семь лет вышел на пенсию и получает почти столько, сколько зарабатывал, да еще ему оплачивают медицинские счета. Другой жаловался на профсоюзы. Профсоюз рабочих, производящих сельскохозяйственное оборудование, и профсоюз автомобилестроителей добивались все более высоких зарплат, а предприниматели

возмещали свои потери тем, что взвинчивали цены на сельхозтехнику и грузовики. И снова выходило, что отдувались фермеры.

Слева от Американиста сидел фермер-сын, симпатичный малый в светлом замшевом пиджаке. Он походил скорее на выпускника провинциального колледжа, чем па земледельца. Фермерский труд не пригнул его к земле, не сплющил, руки его были без мозолей, хотя он говорил, что в страду вкалывает от зари до зари. Молодой человек рассказывал о своей поездке в штат Канзас, удивляясь тому, что тамошние средние фермы несравненно больше иллинойских, а у фермеров вроде него не два, а четыре-пять тракторов и вдвое больше другой техники. Кооперируясь с отцом, молодой человек получал примерно одну треть их общих доходов — тридцать пять тысяч долларов в год. По окончании сезона собирался отправиться с женой на отдых, еще не решив куда — в Майами или на Бермуды. Эти планы поездки на модные курорты, казалось бы, противоречили жалобам за столом, по фермерская жизнь в штате Иллинойс, видимо, включала и то и другое.

Между тем отец молодого фермера жаловался не только на цены, но и па президентов. На Никсона и Картера, потому что каждый из них на каком-то этапе своего президентства вводил эмбарго па продажу зерна Советскому Союзу. И иа Рейгана — тот хотя и отменил эмбарго, по проявлял полнейшее равнодушие к судьбе фермеров.

Первым дпкейторским утром, наскоро умывшись и одевшись, Американист выскочил из своего номера в коридор. Его появление не застало врасплох нового дюжего охранника. Нет, сидя за столиком, выдвинутым на лестничную площадку, охранник не спал в одиночестве и бездействии, бодрствовал внезапно появившегося русского.

Вместо восьми утра Американист выскочил в семь, упустив из виду разницу во времени с Вашингтоном.

Делать было нечего, он решил прогуляться по утреннему городу. Охранник не отпустил его одного, увязался следом. В начале новой рабочей недели Дикейтор не спешил просыпаться. Машины на улицах были редки, прохожих и вовсе ие было. Большой красный шар солнца, едва оторвавшись от горизонта, выглядывал на востоке в просветах улиц. Полная прозрачная луна еще стояла в зените среди чистого неба. Разгоравшийся день обещал быть холодным и ясным.

Стандартный американский город — бетонные стены и плоские

крыши, мостовые, пожарные гидранты, вывески, красный кирпич старых складов, скучный серый камень протестантского храма. Еще один, в общем-то случайный, город оказался па его пути, и Американист вдруг поймал себя на том, что ему здесь неинтересно. Он подумал об этом и про себя смутился от собственного снобизма, тем более что один из жителей Дикейтора, охраняя гостя, выжидающе шагал рядом упругими тяжкими шагами полицейского. Усталость от экстенсивного поверхностного знакомства с чужой жизнью? Вообще от чужой жизни? От профессии, которая накапливает такую усталость? Ему вспомнился старый фильм итальянца Антониони «Профессия — репортер». Репортер, случайно завладев документами погибшего человека, вдруг по какому-то внутреннему повелению начинает жить его жизнью, а это жизнь не репортера — наблюдателя, а участника разных дел, непонятных, таинственных и опасных. В фильме психологически достоверно было передано именно ощущение профессиональной усталости, неприкаянности, даже отчаяния. Репортера, взявшего себе чужую жизнь и судьбу, убивали под конец в номере отеля, где-то в глубинах Африки, на краю оазиса, который, как марево, возникал среди песков. И он был готов к смерти, он смирился с ней, и так хорошо все это было передало в фильме косые лучи южного солнца, садящегося среди песков, их красный свет, заливающий номер в отеле, и неприкаянный человек, исколесивший так много дорог и теперь лежащий на кровати в усталом ожидании последней минуты своей жизни, так и не ставшей оседлою...

Мимолетный наплыв в сознании.

Но в Дикейторе было утро. И в жизни, хотелось верить, еще не вечер. И здоровяк-охранник не располагал к философствованию. Он молча шел рядом.

Впервые видит человека из России — и никакого любопытства. Впрочем, большинство людей, как давно заметил Американист, то ли нелюбопытны, то ли считают невежливым, нетактичным задавать вопросы незнакомым людям. Посторонняя жизнь — не их дело. А у корреспондента — это работа, главное дело. По привычке он стал расспрашивать охранника. Служа в полиции, тот тоже подрабатывал в Эй-Ди-Эм. Американист узнал, что после двадцати лет работы в местной полиции, в пятьдесят лет можно уходить на пенсию — с половиной оклада. А если после двадцати лет остаешься, то за каждый лишний год службы тебе накинут к пенсии еще два процента. Охранник сообщил, что хочет выйти в отставку в возрасте пятидесяти двух лет, проработав в полиции тридцать лет, и что тогда его пенсия

будет равна семидесяти процентам оклада.

— Неплохо? — спросил оп. Вспомнив вчерашние фермерские жалобы, Американист согласился: неплохо.

День, как и обещал с утра, был ясным и холодным. Позавтракав в отеле «Амбассадор», где все знали Дика Бэркета и где он извинялся перед гостями за медлительность провинциального сервиса, они уселись в комфортабельный автофургон с затененными зеленоватыми стеклами и по добротным, вполне городским, фермерским дорогам, бежавшим вдоль лоснящихся черноземом убранных полей, предприняли стремительные вылазки в окрестности Дикейтора.

Их всюду ждали — на элеваторе, где со всей работой разгрузки машин и храпения зерна управлялся, сидя за пультом, единственный оператор, и на свиноводческой ферме, где хозяин вместе с женой и работником-свинарем на шестистах пятидесяти акрах выращивал кукурузу и соевые бобы на корм свиньям, которых у него была ровно одна тысяча, и каждый вторник, точно по расписанию, отправлял на бойню двенадцать-пятнадцать хрюшек, набравших нужный вес.

Они проехали через маленький, слившийся с сельской округой городок Блу-Маунд, где на каждую тысячу богопослушных жителей приходилось восемь церквей, строго соблюдался сухой закон и большинство жителей имело германские корни; там выяснилось, что Дик Бэркет - это преобразенный немец Бурхардт, и преобразование произошло не с ним, а с его дальним предком еще во время американской гражданской войны шестидесятых годов прошлого столетия.

И, вернувшись после этих вылазок в Дикейтор, они осмотрели на его окраине часть огромного комбината Эй-Ди-Эм — автоматизированный завод по выработке сиропа из кукурузы и большой, влажно дышащий парник, где методом гидропоники выращивали и каждый день отправляли на рынок двадцать тысяч пучков салата.

Рядом с комбинатом было здание главной конторы Эй-Ди-Эм, и там Дик Бэркет с трепетом, который принято называть благоговейным, приглушив голос и едва ли не на цыпочках, показал гостям одну пустую святыню - кабинет Дуэйна Андреаса. Над пустующим креслом и письменным столом витал дух Босса, Хозяина, Громовержца. Кабинет был обставлен с провинциальным изыском, как бы выделявшим его из окружающей простоты, даже с кокетством, а за его окном во всей своей безыскусной рабочей наготе вставали корпуса комбината. На стене кабинета висела картина, по манере

условная, по смыслу аллегорическая - пять босых мальчуганов в коротких штанишках и с нечесаными головами. Аллегория касалась пяти братьев Андреасов. Это их детство было босоногим, бедным, в семье амишей - людей из религиозной секты, живущей преимущественно в пенсильванских деревнях и не признающей электричества, водопровода, радио, телевизора и прочих атрибутов технической цивилизации. Оттуда и пошли они шагать, порвав с прошлым и, однако, сентиментально дорожа им в воспоминаниях, пять братьев, из которых один уже умер, трое — в правлении Эй-Ди-Эм, а главный — председатель правления, босс.

Дик Бэркет весь день не оставлял гостей и весь день волновался. Он был вдовец с тремя взрослыми дочерьми.

Одна из них ждала ребенка. Роды могли случиться с минуты на минуту. Сроки, предсказанные врачом, прошли.

Дик не утерпел, завез гостей и на свою ферму. Строго говоря, это была не ферма, которая дает средства к существованию, а загородный дом — старый, просторный, деревянный, посреди участка в полтора десятка акров с небольшим голым ноябрьским лесочком и стынущим прудом.

Он завел гостей в дом, и они увидели то, что все время стояло перед его отцовскими глазами: молодую смущенную женщину с большим животом и бледным лицом. На ее лице было выражение ожидания и вины от того, что назначенные сроки прошли, а она все еще не рождает и заставляет волноваться мужа, находившегося на работе, и отца. Она сидела у стола, и под рукой ее был телефон, чтобы сразу же позвонить мужу и врачу, и она смущенно посмотрела на неожиданных гостей, не переставая смотреть куда-то внутрь себя, вслушиваться в то, что было слышно ей одной — в тайную жизнь, которую она выносила в своем чреве и которая почему-то запаздывала первым криком возвестить о своем появлении на свет...

И еще отпечаталось в памяти Американиста.

Чистенький, беленький дом — как игрушка или выставочный экспонат, спущенный откуда-то сверху магической невидимой рукой на просторную, плоскую и тоже образцово обработанную землю. Ни комка грязи, ни единой ухабины или вырытой и забытой, заросшей ямы, или колеи, выдавленной в земле тяжелой техникой, или брошенного ржавеющего железа. Никаких заборов, изгородей, штакетников. Открытый всем ветрам и взглядам карточный дом и хозяйственный двор, аккуратно посыпанный гравием. И тоже подобием выставочного экспоната высокий сарай, где стояли — в чистоте и порядке

— трактора, грузовики, комбайны. И такая же, как все вокруг, чистенькая и ладная, круглая жестяная башня хранилище отборного кукурузного зерна; когда, поднявшись по металлической лестнице на верх башни, возьмешь его в ладонь, оно невесомым янтарем заструится между пальцев.

Но это был не выставочный павильон, а семейная ферма дяди и племянника Гуликов, которые обрабатывали три тысячи акров земли, своей и арендуемой, через дорогу. Может быть, это была своего рода образцовая ферма — ведь не станут же показывать иностранцам ферму никудышную? Но так или иначе Гулики явно не умели и не хотели хвастаться своим трудом, считая его вполне обычным, да и крестьянское суеверие удерживало их от хвастовства.

На своей земле, в своих стенах хозяева ощущали какую-то беспомощность перед гостями. Впервые наяву видели русских, которыми их постоянно пугали И которые в то же время покупали у них зерно. Впервые в жизни давали нечто вроде интервью корреспондентам (знали ли они эти мудреные слова — интервью и корреспонденты?). И к тому же незнакомые люди из непонятной страны озадачивали дядю и племянника своим нефермерским английским языком и упорными вопросами об урожаях и урожайности. Главное для них, двух американских фермеров, были не урожаи, пусть рекордные, не число бушелей с акра земли, а себестоимость продукта, соотношение в долларах между вложенным и вырученным. Самое главное состояло в том, чтобы удержаться хотя бы на четырех процентах прибыли на вложенный капитал, ибо даже над образцовой фермой постоянно висела угроза разорения, не позволявшая расслабиться и заставлявшая бежать и бежать в беспощадной гонке конкуренции, добиваясь, чтобы бушель зерна ни на цент не обходился тебе дороже, чем соседу. А как добьешься, если соседями становятся все чаще не семейные, а промышленные фермы, зерновые корпорации. Многих и многих конкуренция уже вытеснила с земли. «Девяносто процентов из них готовы были бы вернуться назад, на землю... Ведь это в крови... Это ни на что не променять», — повторял старший Гулик.

Дядю звали Ричард, племянника — Херберт. И корни их на этой земле в окрестностях Дикейтора уходили вглубь на полтора столетия, па пять поколений. Ферма была одна, обрабатывали одну землю, но жили на два дома — дядя с женой бездетные, а племянник, чтобы показать редких людей, привез в дом дяди и двух своих хорошеньких дочерей-старшекласниц.

И вот в гостиной чистенького беленького домика, из окон которого виднелась на все стороны кормилица-земля, нескладно

расселись два бизнесмена — американский и советский, два журналиста и два фермера, уже как переставшие чувствовать себя хозяевами и оттого знавшие, как рассадить гостей, а из соседней комнаты выглядывали жена Ричарда Гулика и две дочери Херберта.

Это было интервью как бы на дому — пришло в голову Американисту. В больших, да и малых городах работа отделена от дома, от семьи. А тут и дом, и работа рядом, вместе — вот какое открытие вдруг сделал он в гостиной фермерского дома, привыкши к разговорам в городах, в кабинетах чиновников, бизнесменов и журналистов. Тут чашкой кофе с домашним печеньем угощала не секретарша, а жена фермера. Тут, когда теряешь работу, теряешь и дом, потому что все это вместе и называется твоей фермой, твоей землей. Тут твои корни, и если тебя отсюда выдернут, то уж точно — с корнями.

Ричард Гулик сидел на стуле почему-то посредине комнаты — в своем собственном доме, как на допросе, позабыв снять красную кепочку с длинным козырьком, и время от времени поглядывал, как бы обращаясь за помощью, на Дика Бэркета. Племянник Херберт был жилист и долговяз, под два метра ростом. На нем была рабочая куртка, тяжелые желтые ботинки и та же красная фермерская каскетка на голове, и поза его тоже была скованно-принужденной.

В обветренных лицах дяди и племянника, в их длинных руках и неуклюжих сильных телах проступали десятилетия той работы, когда человек по-библейски, в поте лица своего, добывает хлеб свой, видя в этом свой долг перед близкими и предназначение на земле,— и этот пот не перестал катиться от того, что в придачу к двум парам собственных рук были трактора, комбайны, грузовики и прочая техника, не меньше, как сообщил старший, чем на полмиллиона долларов. Таких работяг, хлеборобов, людей от земли смешно было бы и спрашивать! хотят ли они мира с нами? Ответ был на их лицах, в их руках: а как же!

А из соседней комнаты выглядывали две молоденькие девчушки — беленькие, пушистые, кровь с молоком, расцветающие сельские красавицы, вполне пригодные на роль *cover girls*, то есть тех девушек, которых помещают на свои обложки вполне пристойные иллюстрированные журналы. Их щеки горели от молодости, здоровой жизни на воздухе и смущения, их глаза сияли от любопытства.

Но еще что-то такое проглядывало, проступало в выражении их лиц и глаз, что-то такое, что как будто мешало им верить глазам своим, видящим первых в жизни и вроде бы нормальных, мирно

настроенных и даже иногда улыбающихся людей из далекой России. Что же такое проступало в их свежих милых лицах и как бы даже искажало их, застилало открытую доверчивость и доброжелательность, свойственную юности, той поре, когда человек как чистая доска, на которой жизнь еще не успела написать свои предостережения, сомнения, подозрения и страхи? Что же это было?

Ах, знакомая пелена, знакомая гамма. На чистой доске уже постарались кое-что понаписать взрослые дяди и тети на школьных уроках обществоведения и политграмоты и, конечно, успел потрудиться телеэкран. Сквозь естественную доверчивость юности в выражениях их лиц проступали подозрения, предвзятость и предрассудки разделенного мира и века, и две девушки не знали, чему верить — предрассудкам или первому личному опыту.

В Нью-Йорк они улетели тоже самолетом Эй-Ди-Эм — и вместе с Дуэйном Андреасом. Он прилетел откуда-то накануне вечером и теперь снова покидал Дикейтор, отправляясь по делам в Париж. Он был свеж, деятелен и, по обыкновению, насмешлив. Сел на хозяйское место, в правом углу дивана, размещавшегося у задней стенки пассажирского салона, чтобы иметь под рукой упрятанную в обшивке трубку радиотелефона, по которому во время двухчасового перелета он раз пять разговаривал и с Нью-Йорком, и с Дикейтором, и еще с кем-то. С раннего утра он был снабжен свежими нью-йоркскими газетами и поделился ими с попутчиками, выбрав себе самую деловую и полезную — «Джорнэл оф коммерс». Эту газету, сообщил он, доставляет ему в Дикейтор частное почтовое агентство «Федерал экспресс», и каждый номер обходится в двадцать пять долларов. «Самая дорогая газета в мире», — заметил он с усмешкой человека, который отнюдь не бросает деньги на ветер даже тогда, когда платит девять тысяч долларов в год всего лишь за газету.

Они подошли к Нью-Йорку со стороны океана, приземлились в аэропорту Кеннеди, подрулив и там к зданию частной авиации, где уже ждал вызванный пилотом по радио маленький аэродромный автобус. Андреас спустился по трапу, пилот подал хозяину плащ и плоским кейс, а в руку водителя автобуса су пул зеленые бумажки чаевых. Попрошавшись с попутчиками, маленький щуплый человек уехал в аэровокзал компании «Эр Франс», чтобы через полтора часа сверхзвуковым «Конкордом» вылететь в Париж и прибыть туда еще через три с небольшим часа, поздним вечером. Он летел туда на два дня, для переговоров с французским министром торговли.

Французское правительство, рассказал он по дороге, платит своим крестьянам хорошие субсидии за выращивание сахара. И вот благодаря этому производство сахара во Франции чрезвычайно поднялось за последние годы, и французы, выбрасывая его по демпинговым ценам, лихорадят мировой рынок.

— Придется пригрозить министру,— посмеивался Андреас.— Если они не займутся этой проблемой, мы напустим на них американское правительство.

Против ожиданий рассмотрение трех точек, вылившееся в рассказ еще об одной поездке Американиста, затянулось. Сев за стол, автор, если можно не спешить, подчиняется ритму работы, а она невольно следует ритму описываемой им жизни. Взять хотя бы подробности, которые автор не хочет миновать, хотя их, быть может, и сочтет ненужными иной читатель. Их, эти подробности, легко сокращать, когда описываешь знакомую всем нам нашу жизнь,— читатель в таком случае восполнит их собственным знанием и воображением. Но как опишешь кратко впечатления о чужой жизни, где даже знакомые предметы не только называются, но и выглядят по-другому. А что уж говорить о людях? Как пропустишь подробности, если именно невысказанность движет твоим пером?

Тем не менее автор опускает многое из впечатлений новой поездки Американиста, не имея намерения писать еще одну книгу. По он просто должен рассказать о встрече с Томасом Пауэрсом, тем самым американским журналистом с холщовой сумой, который еще раз навел нашего путешественника на мысль о том, что мир тесен, наш расколотый и разделенный мир, где все мы — путники и все мы — спутники и где в роковом смысле все мы связаны одной судьбой, как одной веревочкой. Разве не эта встреча в конце концов помогла создать эмоциональную критическую массу, без которой не появилось бы статьи Американиста о тесном мире и, быть может, книги о его путешествии?

Опубликовав те свои сентиментальные заметки отес- пом мире, Американист втайне надеялся и па отклик оттуда, из-за океана, от человека, встречу с которым описал. Заметки его не были исповедью. Но искренность в них, несомненно, была, искренняя попытка пробиться к бородатому американцу с сумой, к одному из озабоченных американцев. И был еще, если потрезвее и понаучнее взглянуть, некий опыт: поймет ли он этот порыв? В сентиментальных — и субъективных — заметках был заложен

вопрос объективного порядка — о возможности понимания двух людей, двух журналистов из разных миров: дойдет ли до него в Америке большая статья, посвященная встрече с ним и опубликованная с добрыми намерениями в известной советской газете? Слышат ли они нас? Читают ли? Способны ли на контакт? Не пустые вопросы, потому что без контакта нет понимания, а без понимания не жди впереди ничего хорошего.

Вскоре после возвращения из писательского Дома творчества, где он сладостно создавал первый вариант своей книги, в суматошные часы предновогоднего дня, когда так убыстряется старое время, как будто завтра начнется совсем новое, Американист получил вдруг поздравительную открытку от Саши, своего коллеги из Вашингтона, и в том же конверте журнальную вырезку, на тридцать страниц, с новой большой статьей Томаса Пауэrsa, где тот описывал и впечатления своих московских встреч.

Американист спешно полистал статью и удостоверился: его опыт не удался! Американец не прочел и не услышал газетных излияний Американиста.

Это был чувствительный удар не только по самолюбию, но и по надежде. Говорят о контактах с внеземными цивилизациями. А есть ли между земными? Он отлично отдавал себе отчет в малости и частности своего опыта, но в то же время исключал случайность полученного результата. Так тесен ли мир? Находим ли мы друг друга? И если такой встревоженный американец не слышит тебя в такое опасное время, то что же паш в самом деле ждет?

От этих вопросов он не мог забыть и за городом, среди лечащих душу белых полей и в ту ночь, когда на берегу замерзшей Пахры вместе с Егором, Игорем и Виктором, с женами и друзьями они штурмом брали Новый год, жаря шашлыки на костре.

Издали, в пляшущих отблесках огня мужчины в зимних куртках и вязаных шапках создавали силуэты средневековых ратников. А вблизи вдруг лезли в голову видения ядерного аутодафа. Когда в костер летел еще один ящик, принесенный со свалки на хозяйственном дворе, его деревянные планки вспыхивали и огненно таяли, напоминая жуткие кадры из сенсационного американского телефильма о ядерной войне — «На следующий день». На этих кадрах, переносящих действие в город Лоуренс, штат Канзас, так же мгновенно, как легкие планки в костре, так же красно вспыхивали, просвечивая через испаряющуюся кожу, человеческие ребра, чтобы через

неуловимую долю секунды стать частью обуглившегося скелета, а через другое мгновение — бесследно исчезнуть.

Небо над веселящимися людьми было молчаливым и торжественным.

...Надмирно высились созвездья в холодной яме января.

Потом Американист внимательно и неспешно прочитал публикацию Томаса Пауэрса «Из-за чего?» и должен был, преодолев обиду, признать, что это было серьезное журналистское исследование, честное и отчаянное. Американец рыл, как крот, и в древнюю историю — до Перикла и Аристотеля, и в новейшую, пытаясь понять, из-за чего может возникнуть ядерная война, есть ли причины, которые могут оправдать ее. Он не нашел никаких разумных причин — в мире, разделенном пропастью двух систем, ни одна не выиграет и обе проиграют в результате ядерной катастрофы. Но воины, убеждал он читателя, никогда не были подвластны логике и здравому смыслу и начинались не потому, что для них находились рациональные основания, а потому, что существовали страх и подозрительность враждующих сторон и армии и оружие были готовы к войне. «Проблема не в злых умыслах той или иной из сторон,— писал он,— по в нашем удовлетворении состоянием враждебности, в нашей готовности идти не тем путем, в том, что мы полагаемся на угрозу истребления, чтобы спастись от истребления».

Томас Пауэрс писал в своей статье, что прежние его публикации вызвали интерес у публики и что он отказывается выступать в разных аудиториях, когда его приглашают. После каждого такого выступления следуют обычно вопросы, прежде всего о видах ядерного оружия- как выглядят, как действуют, верно ли, что они так точны, что могут попасть в футбольное поле на другой стороне земного шара? Да, верно. И при таких выступлениях, писал он, он отвечает, как может, на остальные вопросы. И постепенно слушатели расходятся.

Но остается один человек.

Он ждет, когда все уйдут, этот последний человек с последним вопросом.

Так же подходят к цыганкам-гадалкам, вроде бы лишь смеха ради, вроде бы без всякого суеверия, но с трепетом душевным, чтобы спросить самое заветное: а сколько мне жить осталось? Гадалки различают таких людей за версту, писал Томас Пауэрс, и он тоже научился сразу же распознавать своего последнего слушателя с его последним вопросом. Человек дожидался,

когда все уйдут, чтобы один на один, без утайки, получить доверительный и достоверный ответ.

— А война будет? — спрашивает этот человек. Но нет его, точного ответа, и человек слышит от журналиста: не знаю...

Через некоторое время в редакционной почте получил Американист письмо и от самого Томаса Пауэрса с ксерокопией его статьи и с просьбой сообщить мнение. Нет, американец все-таки не забыл об их летней встрече, о тревожном подтексте их беседы, об их попытке пробиться друг к другу кратчайшим путем — от сердца к сердцу.

Американист вкратце отвечал своему знакомому, что статья его сильная и, увы, мрачная. И направил ему две своих газетных статьи. В первой, в сентиментальных заметках, которые самотеком так и не дошли до американца, содержались знакомые нам рассуждения. Вторая статья касалась впечатлений от новой публикации Томаса Пауэрса. Такие люди, как он, писал Американист, понимают, что мы не можем перевоспитать или переделать друг друга при помощи ядерного оружия. И мы должны добиваться, чтобы понимающих людей становилось все больше, и это понимание превращать в орудие сохранения и укрепления мира.

Между ними наладилось подобие личной и крайне нерегулярной переписки.

Месяца через два или три пришло ответное письмо из маленького, гористого и лесистого штата Вермонт, где американец жил с женой и тремя дочерьми. Он писал, что долго не отвечал, так как искал переводчика, который перевел бы две статьи Американиста не приблизительно, а точным языком. Он сообщал, что теперь прочитал обе статьи в полном переводе и что ему было интересно взглянуть на себя глазами русского и увидеть путника ядерного века с холщовой сумой. Он сообщал также, что теперь занят темой ядерной зимы. И еще писал, что от издателей своих книг требует выпускать их на такой бумаге, которая не желтеет и не ветшает от времени — тогда его внуки и правнуки без помех смогут узнать, какие проблемы волновали нас в наши дни.

В отношении особо прочной, долговечной бумаги Американист подумал: этакий снобизм, с жиру бесятся. Но по крайней мере утешало, что его знакомый, несмотря на мрачные свои предощущения, надеется дожить до внуков и правнуков и, более того, считает, что им могут быть интересны наши книги.

Примерно через полтора года после первой встречи в Москве они снова встретились очно, когда Американист приехал на президентские выборы, в Нью-Йорке, на дружеской почве Шваб-хауза, у Виктора и Раи. Пауэрс специально прилетел из Вермонта, благо расстояние невелико.

В мыслях эта встреча представлялась Американисту как одна из главных в его новой поездке, как бы раздвигавшей ее журналистский и человеческий смысл. Но оказалась слишком короткой, зажатой в промежутке между двумя другими встречами того дня — с главным редактором влиятельного журнала и главным редактором не менее влиятельной газеты.

Американист узнавал и не узнавал американца, с которым ощущал странную, необходимую и, однако, непрочно-условную связь. Он был проще и как бы случайнее своих умных глубоких сочинений. Казался похудевшим, борода выглядела менее окладистой, чем в описании Американиста, а голубые щупкие глаза как бы невзначай приглядывались к трем русским и их неамериканской жизни в Америке.

Пауэрс, как выяснилось, сам был родом из Нью-Йорка, где до сих пор проживали его отец и брат. Переселился в штат Вермонт, потому что там дешевле было жить, лучше работалось в тиши и имелась возможность обзавестись собственным домом.

Виктор рассказал ему о Шваб-хаузе, где более двадцати лет сменяли друг друга в квартире на восьмом этаже советские корреспонденты. Краснокирпичный Шваб-хауз собирались превратить в кооперативный дом. Владельцы затеяли эту операцию, чтобы избавиться от действия закона, который не давал им бесконтрольно повышать квартплату жильцам, и получать как можно больше денег. Жильцам предлагалось выкупить квартиры или же покинуть дом к определенному сроку. За трехкомнатную, где когда-то с семьей провел свои нью-йоркские годы Американист, Виктор должен был выплатить двести пятьдесят тысяч долларов. Фантастика! Но это, конечно, окупилось бы лет за десять: в противном случае преемникам Виктора все равно придется снимать новую квартиру где-то в другом месте Манхэттена - за две или три тысячи долларов в месяц! Попробуйте посчитать. Однако редакционная бухгалтерия не заглядывает так далеко вперед и не планирует такой долговременной экономии.

Томас Пауэрс говорил, что на открытом рынке такая квартира с роскошным видом на Гудзон обойдется в четыреста пятьдесят тысяч долларов. Сумасшествие! Он объяснял сумасшествие

тем, что за последние два десятка лет шестьсот-семьсот тысяч «синих воротничков» покинули Манхэттен и взамен их поселились «белые воротнички», люди свободных профессий - они хотят жить на уровне «верхнего среднего класса» и именно в престижном Манхэттене, платя за престиж бешеные деньги.

Но не о сумасшедших ценах и бешеных деньгах писал американец в свежем номере своего журнала. Как новую визитную карточку он вручил Американисту новую статью - о ядерной зиме.

Знакомы ли вы с этой теорией, читатель? Ученые, наши и американские, выявили еще одно возможное последствие ядерной войны, которое, кратко говоря, будет состоять в том, что в результате множественных ядерных взрывов солнечным лучам будет перекрыт путь к земной поверхности, из-за чего повсюду на земном шаре произойдет резкое снижение температуры. Наступит ядерная зима. Уцелевшие от катастрофы живые существа и растения вымерзнут от вечной зимы даже в тропиках, будут обречены на холодную и голодную смерть. И с этим новым научно прогнозируемым тотальным ужасом в наш парадоксальный век связываются некоторые новые надежды на уменьшение ядерной угрозы, потому что картина самоубийственности ядерного конфликта становится еще более достоверно-безумной...

За беседой и обедом они провели в Шваб-хаузе два дружеских часа. Американец понравился и Виктору, который молодым связистом прошел войну, видел разные виды и понимал толк в людях. Он ушел с сувениром — баночкой зернистой икры и потом письмом из Вермонта благодарил Раю и Виктора за гостеприимство и шутливо сообщал, что дети его, никогда не видевшие русской икры, слава богу, принимают ее за тараканьи яйца, что дает ему возможность в одиночку наслаждаться знаменитым деликатесом.

Американист, вернувшись в середине ноября в Москву, также получил вскоре письмо от Томаса Пауэрса. Из письма он узнал, что зима уже пришла в Вермонт и что вермонтец на эту, к счастью обыкновенную, зиму предусмотрительно запасся дровами, купив семь больших вязанок и уложив их в погребе своего дома поленницей высотой и шириной в четыре фута и длиной в пятьдесят шесть футов.

«К весне все поленья до единого вылетят через трубу,— писал он,— К весне я также буду почти на половине своей новой книги».

Американист попытался представить, как выглядит этот вермонтский дом, и как в солнечный морозный день красиво поднимается в небеса дым из краснокирпичной трубы, и как знакомый американец, которого ему хотелось бы считать другом, пишет свою книгу о безумной ядерной зиме, мечтая о наступлении обыкновенной весны — и времени разума.

март — апрель 1985 г.

Они прошли Лафайет-сквер, где современные бездомные бродяги с пустыми взорами, сидящие на скамейках или бесцеремонно валяющиеся на траве, привычно соседствуют

с зеленоватым бронзовым героем - генералом конца XVIII века на заплесневевшем бронзовом коне и с такой же треуголкой в руке, поднятой в приветственном жесте. Они пересекли по зебре перехода Пенсильвания-авто в той части, где, разделяя ее вдоль, тянулись две линии монолитно-внушительных, бетонных надолбов высотой повыше колен - новая предусмотрительность секретной службы, преграда самоубийцам-террористам, которым взбрело бы в голову, разогнавшись на тяжелом грузовике, сокрушить железную решетку и, пренебрегая сохранностью идеально выстриженных газонов, напролом устремиться с грузом взрывчатки к белоколонному портику Белого дома.

Еще со стороны сквера, еще не ступив на зебру, они увидели на другой стороне полдюжину телеоператоров и догадались, что ждут именно их, и прибавили шагу, решительности, напора и такими подошли к будочке контрольно-пропускного пункта, и телеоператоры, дав навстречу почти беззвучные очереди из своих орудий производства, попятились перед ними. Щеколда в железной решетчатой калитке автоматически щелкнула, пропустив четверых, два стража тщательно проверили их по какому-то списку и по советским загранпаспортам и од- ного даже заставили вернуться и, выложив массивный ключ от номера в отеле «Медисон», снова пройти через чувствительные воротца, засекающие наличие металла в одежде и под одеждой. Когда и эта преграда осталась позади и четверо двинулись дальше скорым и еще более решительным шагом, грудь в грудь, не отставая и даже как бы пытаясь опередить друг друга, правую из двух дорожек, ведущих к служебному западному крылу Белого дома, примерно на половине пути загородила еще одна шумная, шевелящаяся, толкающаяся, живая баррикада из полусотни телевизионщиков, и из нее несколько голосов крикнули почти хором: «Какие вопросы вы зададите?», а известный своей настырностью корреспондент Эй-Би-Си крикнул еще и в одиночку, с насмешкой в голосе: «Спросите ли вы его об «империи зла»? Возбуждение росло вместо с сознанием того, что они стали знаменитостями на час, но шли они не сбавляя шага, не отвечая американским коллегам и лишь молча улыбались, и живая баррикада, щелкая, шаркая, толкаясь, подпустила их вплотную и попятилась, отступила, рассыпалась на том расстоянии от входа в западное крыло, на котором ей положено было исчезнуть, и у дверей их беспрепятственно пропустил одинокий церемониальный *marine* - солдат морской пехоты, в парадном глухом темно-синем мундире, короткая стрижка под фуражкой с белым верхом, грудь колесом над белым ремнем, длинные ноги в темно-синих

наглаженных брюках, слегка выгнутые от упругой силы и от особой парадной выправки, и покрытые лаком, черные, тяжелые ботинки с толстой бесшумной подошвой.

Внутри не было света дня, недалеко от входа сидела за столом ничем не запомнившаяся секретарша, но гренадерского роста, массивный негр-швейцар в светло-коричневом сюртуке запомнился, он принял плащи, повесив их в крохотной раздевалке, размер которой указывал, что посетители вряд ли бывают здесь большими группами и что важные люди, приезжающие сюда в теплых лимузинах, даже зимой обходятся без верхней одежды в южном городе Вашингтоне.

Они ждали возле большого овального стола для заседаний в сумеречной Рузвельтовской комнате, где на стенах висели портретные изображения двух президентов Рузвельтов-Франклина Делано, известного нам по боевому союзу военных лет, и Теодора, который президентствовал в начале века, был одним из провозвестников и первых практиков американского империализма и прославился среди прочего часто вспоминаемым и сейчас изречением: «Говори мягко, но носи большую дубинку». В Рузвельтовской комнате Рузвельт-ранний забивал Рузвельта-позднего и числом изображавших его живописных полотен, и комнатного масштаба воплощениями в бронзе; к тому же, узнали они, он был, оказывается, лауреатом Нобелевской премии мира – вряд ли за большую дубинку, скорее за умение мягко говорить.

Когда раздался не сразу услышанный ими сигнал, означая, что посетителей можно вводить, американцы, приставленные к четырем советским журналистам, метнулись было вправо, но дверь открылась другая, с противоположной стороны, и после слабо освещенной Рузвельтовской комнаты через открывшийся проем двери в глаза ударил ослепительный свет телевизионных ламп, направленных на стоящего у стены своего кабинета называемого Овальной комнатой, президента США Рональда Рейгана, и они гуськом двинулись в этот свет, один за другим подходя к президенту, который каждому протягивал руку с любезным выражением лица, и они тоже каждый в меру умения, любезно улыбаясь в ответ перед телевизионными камерами, хотя не могли с ходу сообразить, как повернуться при этом, чтобы наилучшим образом выглядеть на телеэкранах в выпусках вечерних новостей. В Овальной комнате было многолюдно не только от телевизионщиков и фоторепортеров, допущенных на несколько минут, но и от должностных лиц. Важные и даже очень важные сами по себе, должностные лица становились там менее важными и, казалось, почти неважными в присутствии

президента, и четверым некогда было рассматривать их в эти первые ослепительные мгновения.

Потом, по приглашению президента, они по двое уселись на два стоящих друг против друга мягких светлых домашнего типа дивана, которые разделял легкий полированный полускладной столик. Президент уселся в полукресло с высокой спинкой, закинув ногу на ногу и приподняв на уровень груди скрещенные в пальцах руки. За ним был неразожженный камин с начищенными до блеска медными приспособлениями для поддержания огня. Стены кабинета были светлыми, картины на стенах — не батального, а скорее помещичье-пейзажного типа, и было как-то не совсем вежливо, отведя взгляд от человека в полукресле, разглядывать другую, главную часть кабинета, где стоял небольшой и тоже как бы домашнего типа письменный стол, а за ним мягкое кресло и по бокам у стены, в специальных стойках, национальный флаг и президентский штандарт.

Рассевшись, они молчали еще с минуту, потому что съемка продолжалась, и президент привычно щурился и даже закрывал глаза, не меняя позы. Морщины шеи и пигментные пятна на тыльной стороне скрещенных ладоней выдавали возраст семидесяти четырехлетнего Рональда Рейгана, но сидел он не сутулясь, очень прямо, высоко держа маленькую голову, на которой черно и молодо поблескивали густые волосы. Выражение лица было ли приветливо-сдержанным, то ли приветливо-жестким. Одет он был солидно и щегольски, от полуботинок пряжкой до красного галстука в косую темно-синюю полоску, и, наблюдая его такого, вечно готового к съемкам и явлению публике на главных подмостках политической жизни, такого органически театрального, Американист вдруг вспомнил свою сестру, которая в подобных случаях, видя людей менее значительных, но таких же свеженарядных, говорила: как из подарочной коробки...

Да, и он был в Овальной комнате Белого дома, персонаж нашего документального повествования, которому — разве не предупреждали мы об этом? — никак не угнаться за движением жизни с ее фантастическим реализмом. И он был там, Американист, совершив еще один вояж за океан на границе октября и ноября (опять этот постоянно присутствующий на наших страницах поздний осенний сезон!) в компании давних коллег и знакомых — Геннадия, Всеволода и Генриха, и визу в американском посольстве в Москве они получили на этот раз не через три недели, а на следующий день, и под визой была приписка от руки, объясняющая цель поездки: «Интервьюировать мистера Рональда Рейгана, президента

Соединенных Штатов Америки».

И старшой в их маленькой временной группе был Геннадий, старинный друг, с которым последнее совместное интервью Американист брал, помните, у Германа Капа.

Они опять летели в Вашингтон на перекладных — через Монреаль и Нью-Йорк, но всюду их встречали коллеги и быстро перебрасывали с одного аэропорта в другой, и старшой в своем светло-желтом плаще и без какой-либо ручной клади, всегда сопровождающей нашим соотечественникам, шагал впереди быстрой, деловой и очень уверенной походкой, как будто не реже раза в месяц ему приходилось летать на другой континент брать интервью у руководителя другой ядерной державы и он прекрасно знал, как это делается, и нисколько не сомневался в успехе.

По официальному хронометражу Белого дома они провели в Овальной комнате всего сорок две минуты, не успев задать и трети подготовленных вопросов во время этого, всего лишь второго за историю, интервью советских журналистов с американским президентом. Сорок две минуты Американист ощущал за спиной затаенное дыхание собравшейся в помещении мужской американской артели, всей президентской рати, которая как бы из зрительного зала смотрела на сцену, и слышал, как облеченный верховной властью американец, сидевший перед ними в полукресле, положив ногу на ногу и скрестив пальцы рук, под которыми скрывался прицепленный к правому борту его пиджака крошечный микрофон (им всем прицепили микрофоны), говорил о необходимости мира и хороших отношений двух стран, говорил то, что хотелось бы от него услышать, и тут же говорил не совсем то — или совсем не то, что привыкла печатать газета Американиста на своих международных полосах...

Это интервью, которого добивался Белый дом, было штрихом в большой картине, одним из эпизодов обширнейшей подготовки к встрече высших руководителей двух держав, первой за шесть с лишним лет опасно ухудшавшихся отношений. Не прошло и двух недель со дня интервью, как Американист, вернувшись из Вашингтона в Москву, отправился специальным корреспондентом в Женеву и стал там одним из свидетелей встречи, за которой наблюдал весь мир.

Он попал в Женеве в разноязыкую орду из трех с лишним тысяч представителей мировой прессы, шумно обживших на несколько дней мрачноватое снаружи, но вполне удобное внутри здание Международного пресс- центра. Как советскому

журналисту, ему, однако, повезло больше, чем многим из его западных и восточных коллег. Не на гигантском телеэкране в главном зале пресс-центра, а воочию, своими глазами наблюдал он первый момент первой встречи советского и американского руководителей на трехэтажной, из серого камня вилле «Флер д О», построенной более ста лет назад французскими банкирами-протестантами в женевском предместье Версуа и временно арендованной американским правительством.

Было серое зябкое ноябрьское утро, низкая облачность закрывала небо. Метрах в полтораста от виллы Женевское озеро, куда-то припрятав все свои воспетые красоты, рябило свинцовыми волнами. С озера дул холодный ветер, который до костей пробирал репортеров и как будто обтекал стороной наотрез отказывавшихся мерзнуть телохранителей из обеих стран, заблаговременно взявших под свой жесткий контроль место встречи.

Тридцать самых допущенных журналистов ждали У правого крыла лестницы, поднимавшейся к высокой стеклянной двери виллы, за металлической рейкой, куда оттеснили их телохранители. Напротив тридцати по другую сторону посыпанной гравием подъездной дорожки, па специально сколоченном деревянном помосте, мерзло и волновалось еще одно пресс-воинство, па сто с лишним человек.

Все они были с синенькими бирками пропусков на плащах и пальто, все мимолетные гости на этой вилле, приехали и уехали, а могучее дерево платан — с обнаженным толстым стволом и без синенькой бирки — был местный старожил. Топырясь во все стороны ветвями перед фасадом дома, он выступал как свидетель от самой природы. На голых ветвях его трепетали остатки сморщенных желтых листьев. К берегу озера уходил пологий склон, на котором редко стояли мохнатые хвойные деревья с ветвями, свисавшими как у наших ив. На берегу перед холодной рябью воды ветер хлопал на флагштоках двумя полотнищами красных швейцарских флагов с белыми крестами и время от времени, как будто на учениях, пробегали по кромке берега потешные фигурки швейцарских солдат, напоминая о посильном участии маленькой нейтральной страны во встрече руководителей двух ракетно-ядерных гигантов.

Такой была подготовленная сцена, и представители средств массовой информации должны были молниями письменных сообщений и, главное, мгновенными телевизионными кадрами информировать мир о начале встречи. И ровно в десять часов утра — мягкое шуршание по гравию шин тяжелой машины, и она медленно выкатилась из-за угла виллы, большая, черная,

блестящая, с советским флагом, и остановилась напротив лестницы. Рейган, ждавший гостя за парадной дверью виллы, вышел и начал спускаться по лестнице, и дверца советского лимузина открылась, в сером пальто и шляпе показался М. С. Горбачев и, сдержанно улыбаясь, снимая шляпу, сделал несколько шагов навстречу американцу, и они встретились — встреча произошла! Их никто не представлял друг другу, они узнали друг друга и так и обменялись рукопожатием, два самых известных своим положением современника, и вместе пошли вверх по лестнице, и все было очень просто, неожиданно просто, так могли поздороваться любые два человека, по особая насыщенная тишина, стрекот и щелканье техники, напряженное дыхание свидетелей — летописцев современной эпохи выдавали важность тех секунд и часов, которые за секундами следовали...

Давая этот словесный набросок женевской встречи, автор на манер старых художников хотел бы мельком изобразить за металлической запретной рейкой слева основания лестницы, среди волнующихся собратьев-журналистов, тянущихся к двум лидерам глазами и объективами, и человека с блокнотом в руке, средних лет, с изыбшим лицом и нахлобученной а голову меховой шапкой, обозначив присутствие Американиста при этом примечательном событии. Но наш век не довольствуется приемами старых мастеров. Наш век требует не только нового мышления, но и нового воображения, и вот, набросав свой словесный эскиз, автор хотел бы отойти от виллы «Флер д'О» и как бы подняться над нею, и вот уже видны не только два самых известных землянина-современника, стоящие рядом, и не только гроздь репортеров-свидетелей, под зоркими взглядами телохранителей регистрирующих эту встречу, но и ноябрьские скудные лужайки и голые деревья видны, и знаменитое озеро, свинцовым провалом лежащее меж заснеженных гор, и все выше и выше, все меньше озеро и горы, уже возникли очертания морей и континентов, и еще выше, еще выше - и...

...открылась бездна звезд полна; звездам числа нет, бездне дна...

И мы видим бело-голубой, сказочно-прекрасный, хрустально-хрупкий земной шар. Мы видим эту новую землю с высоты нового неба, из бездны, которой нет дна, из космоса, который разверз теперь новую пропасть опасностей и разногласий, потому что там, по другую сторону, и космос хотят заселить оружием на случай грядущих войн...

Но это уже тема для новых путешествий и книг, которые напишет тот или иной американист, хотя и наш не хотел бы

совсем откладывать в сторону перо, тем более что начался новый диалог двух стран и после достигнутой договоренности о возобновлении прямых рейсов Аэрофлота летать в Америку снова становится легче.

Декабрь 1985 г.

Сконвертировано и опубликовано на <https://SamoLit.com/>